

Б. 55

Р 184267

Бекер, И.  
Прусские.

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

# ПРОЩАНИЕ

1900—1914

РОМАН

*Перевод с немецкого  
И. А. Горкиной и И. А. Горкина*

ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1944

JOHANNES R. BECHER

ABSCHIED

EINER DEUTSCHEN TRAGÖDIE

Erster Teil

1900—1914

*Roman*

*Звучит музыка прощанья. Торжество прощанья начинается. Мы все званы на него.*

*Нам предстоит проститься с людьми и временами. Со многим прощаемся мы, что было нам близко и дорого, и расставанье причиняет нам боль.*

*А порой мы прощаемся радостно, прощаемся, не сказав «до свиданья», не сказав «прости».*

*И с собой прощаемся мы в долгие, горестные часы прощанья, ибо, расставаясь с прошлым, надо расстаться с ним в самом себе.*

*Но многое из того, с чем, казалось, мы простились навеки, продолжает жить.*

*Поэтому не торопись со словами: «Прощай навсегда!»*

*Прощанье. И — да здравствует новая жизнь!*

*Так собирайся же в путь!*

*«Не забывай хорошего», — говорит в тебе голос, и он же предостерегает: «Будь на-чеку: проверь, что ты берёшь с собой!»*

*Час великого прощанья настал...*

## I

Уже с одиннадцати я начал приставать: — Мы, наверное, опоздаем, — но отец всё не отпирает балконную дверь, он зажигал ёлку, а мать на меня рассердилась: — Это просто на нервы действует. Ты, видно, непременно решил взять своё в старом году.

И волей-неволей я, ёрзая на стуле и не сводя глаз со стрелки больших столовых часов, положительно застывшей на месте, покорно сидел рядом с бабушкой, которая рассказывала о Дурлахе, об аптеке «Золотой лев», о Турнберге и, предаваясь воспоминаниям о добром старом времени, часто поглядывала на портрет дедушки, висевший над комодом. Овальная борода де-

душки и наглухо застёгнутый стоячий воротник воплощали, казалось, это доброе старое время, которое вот-вот канет в вечность. Отсвет зажжённой ёлки делал лицо деда тёплым и блестящим. Портрет, быть может, висит здесь сегодня последний день. Ведь наверное, как только забрезжит новый век, старые портреты уберут со стен. Поэтому взгляд у дедушки такой невесёлый, и мне странно, что никто не велит мне встать, протянуть ему руку и сказать: «Прощай!».

Наконец мне разрешили позвать Христину.

До двенадцати оставалось несколько минут.

Мы надели пальто и вышли на балкон, празднично убранный пёстрыми лампами.

Ночь была снежно-белая. Снег сиял. Небо искрилось звёздами.

Я торжественно стал рядом с отцом, потому что было совсем так, как недавно, когда мы, по желанию бабушки, снимались всей семьёй «последний раз в старом году». Мама тогда, как и сейчас, отогнула поднятый воротник моего пальто, каждый долго искал для себя подходящего места, Христину толкали то туда, то сюда, и, наконец, её загнали совсем назад, так что на фотографии получилась только бархатная лента, скреплявшая её волосы, да робкая улыбка.

Там, в комнате, горела ёлка. С балкона казалось, что ёлка живая. Орехи, яблоки и леденцовые сосульки, обсыпанные блёстками инея, словно прыгали с ветки на ветку. На верхушке качался ангел.

Отец налил и мне глоток пунша. Я стоял, как все остальные, выжидательно поднимая бокал, чтобы проститься со старым веком.

Сейчас начнётся...

То ли раздастся страшный треск вроде землетрясения, и балкон со всеми нами рухнет в сад,— вот будет работа денщику майора Бонне, Ксаверу, который живёт рядом с конюшней,— то ли небо разверзнется, внутри красное, всё в огне, и луна и звёзды закружатся вихрем.

Я весь насторожился, словно уже различая вдали злое раскачивание того, что там готовилось.

А вдруг это конец света! Мысль о конце света нагнала на меня такой страх, что я поклялся исправиться и зажечь по-новому. Ведь за концом света последует Страшный суд, на котором откроется всё моё враньё и все тайные проделки. На кого господь бог взглянет, тот становится виден насквозь, до самого дна души.

Часы стали бить двенадцать.

Я тоже решил не отставать от других.— Да здравствует ба-  
поднялся такой гул, что я испуганно съёжился и забыл про  
счёт. Колокола вызванивали новое столетие. Гулко и мощно гу-  
дели в новогоднем перезвоне колокола церкви Богоматери.

Балконы были усеяны ликующими людьми. Балконы плыли,  
ликуя, сквозь белую бесконечную ночь.

Взвилась ракета, лопнула с лёгким треском и рассыпалась  
золотым дождём. Точно из недр земли поднималось клокотанье:  
«С Новым годом!»

Я пришёл в себя только после того, как бабушка поцеловала  
меня. Щека у неё была влажная. И Христина, стоявшая в  
своём кухонном фартуке позади всех, плакала. Быть может, они  
горевали о том, что прекрасную австрийскую королеву Елиза-  
вету закололи насмерть или что умер Бисмарк. А может быть,  
из-за дедушки, ведь теперь уж он умер навсегда, раз время,  
в котором он жил, миновало.

Прощай, добрый старый век! Прощай!

Что это будет за новое время и что оно нам принесёт, кто  
знает?

Как бы мне хотелось утешить бабушку и сказать ей, что  
нам предстоят новые, чудесные времена. Я крепко сощурился:  
может быть, если я хорошенько всмотрюсь, мне удастся увидеть  
будущее. Но сколько я ни щурился, сколько ни моргал, я так  
ничего и не увидел.

Мы стояли неподвижно, как на фотографии, словно нас всё  
время снимали.

Никто не чувствовал холода. Всех согревало чувство бли-  
зости друг к другу.

Гул на мгновенье приутих. Мать заметила, что на Христине  
фартук, и сделала ей знак. Христина быстро сняла фартук.

Там, внизу, люди танцевали на снегу. Кругом опять раздава-  
лось: «Ура!» «Да здравствует!» Трезвон нарастал. Лишь когда  
он несколько отодвинулся вдаль, я расслышал, как отец кри-  
чит: — Да здравствует! — Он перегнулся через перила.

— Да здравствует! — заорал кто-то из сада. Денщик майора  
Бошнэ тоже праздновал Новый год. Вдруг снизу, сквозь хохот,  
затрещали выстрелы. Много раз подряд. Мы вздрогнули. Каж-  
дому почудилось, что в него попало. — Новогодние шутки! —  
успокоил нас отец и нерешительно оглянулся, точно в поисках  
того, чему бы ещё пожелать здравствовать. Я испугался, как бы  
там, на улице, люди под смех, поздравления и колокольный  
трезвон не перестреляли друг друга.

— Да здравствует принц-регент! Да здравствует кайзер! Герма-  
ния! Наш чудесный Мюнхен! Да здравствует отец! мать! Ура!

Я тоже решил не отставать от других.— Да здравствует бабушка! Ура!— Все кричали наперебой.— Да здравствует наш мюнхенский баловень!— Это было про меня. Мне польстило, что и меня вспомнили, и я крикнул:— Да здравствует Христина! Ура!— Ну, что ж, давайте, Христина!— Отец пожал Христине руку, все чокнулись и с Христиной.

Бабушка обняла меня за плечи.

— Ну, а что ты пожелал себе в новом веке?

Я задумался. Я забыл, что надо пожелать себе что-нибудь, пока часы не пробили двенадцать. Строительный набор и железную дорогу с паровичком я получил к рождеству. Оловянных солдатиков у меня была целая армия, новой крепости мне тоже не нужно было, а «Германскую молодёжь» мне каждое воскресенье присылал из Берлина весёлый «Дядюшка-почтарь».

Так я ничего и не придумал. В эту минуту у меня не было никаких желаний.

Бабушка прошептала:— Пожелай, чтобы наступила новая жизнь...

И оттого, что всё было так необычайно и торжественно, я опять дал себе слово исправиться и стать хорошим. Я решил больше никогда не врать и поклялся приносить домой самые лучшие отметки, когда кончатся каникулы. И ещё я твёрдо решил никогда больше не доставать мамиными ножницами из копилки монеты в пять и десять пфеннигов; вот каким хорошим и послушным я хотел стать! Эти добрые намерения так развеселили меня, что я запрыгал.

Отец постучал о свой бокал:— Внимание!

Все хором поддержали его тост: «Да здравствует двадцатый век! Ура!»

Отец опять оглянулся с таким видом, словно ему чего-то не хватало. Быть может, он искал, что бы такое из старого года захватить с собой в новый? Мне захотелось помочь ему и напомнить о чём-нибудь хорошем из того, что было. Скажем, о войне буров,— на Шлейсгеймерштрассе я даже видел такой ресторан: «У храброго бурского генерала»,— или же о поездке кайзера в Палестину. И тут я вспомнил, что надо было пожелать себе. Я совсем забыл про множество сражений, вроде Лейпцигской битвы народов, или осады Дюпельских укреплений, или битвы у Мар-ла-Тура и под Седаном,— как ужасно, что меня при этом не было. Я всегда мечтал о большой войне, когда я вырасту. Мне захотелось немедленно спросить у отца, как он думает, будет ли и в новом столетии война, и когда она начнётся. Вместо этого я спросил:— Ты ищешь «Мировые загадки», папа?— Книжку с таким названием я видел недавно в отцовском порт-

феле, когда украдкой в нём рылся. Я испугался — вот и втиш! Отец ничего не ответил. Он витал где-то далеко.

Отец и мать, взявшись за руки, любовались волшебной ночью. Бабушка знаком подозвала меня к себе, чтобы я оставил родителей одних. Словно в порыве любви и нежности, они говорили друг другу: «Генрих!» «Бетти!» Я часто видел такие нежные пары в Английском парке, у водопада. «Вот такие, наверное, и бывают хорошие люди», — подумал я и, забыв о всяких сражениях, в третий раз дал себе слово: «Я буду хорошим человеком». Я крепко прижался к матери, мне очень хотелось увести её.

В комнате, между тем, свечи на ёлке догорели. Исчез мерцающий хоровод. Мы плотнее запахнули на себе пальто. Бабушка послала Христину за шалью. Ничто не согревало нас больше. Всем было холодно.

Двадцатый век наступил.

Мне уже надоело это долгое топтание на балконе. Разве ещё что-нибудь будет? Чего мы, собственно, ждём? Старое время кончилось, а новое ещё спит, оно только завтра настанет по-настоящему.

Мы спели: «Тихая ночь, святая ночь» и гимн «Германия, Германия». Я смотрел в рот отцу и старался петь так же, как и он, солидным басом.

Густые, мощные удары колокола церкви Богородицы долго ещё, затихая, гудели в воздухе.

## II

Каждую новогоднюю ночь встречал я приход двадцатого века. Быть может, он запаздывал или ждал, чтобы кончились каникулы, или же у него находилась ещё какая-нибудь причина не наступать; но попрежнему ничто не говорило о том, что новый век наступил...

И снова стояли мы в новогоднюю ночь на празднично убранном пёстрыми лампами балконе: опять я, когда прозвучало «С Новым годом», провозгласил тост за двадцатый век и крикнул: «Да здравствует Христина!» — «Ну, что ж, давайте, Христина!» И отец опять пожал Христине руку, и из сада вперемежку с хохотом донеслись выстрелы, и бабушка прошептала: «Пусть наступит новая жизнь!» И я дал троекратную клятву.

Итак, опять наступил двадцатый век...

\* \* \*

— Ну, можно ли быть таким любопытным?! — кричала Христина, выпроваживая меня из кухни, потому что я заглядывал во все горшки и приставал с расспросами, какие такие особенные вещи готовятся в день Нового года.

Я едва дождался утра, чтобы повсюду поглядеть, что принесло с собой новое время; я не забыл своей трехкратной клятвы: исправиться и начать новую жизнь.

Когда Христина крикнула мне вдогонку: «Ох, эти дети, нет спасения!» — я удивился, что слышу это старое выражение, которое Христина употребляла всегда, когда мне, наконец, удавалось вывести её из себя.

Портрет дедушки висел в столовой над буфетом. На лице дедушки уже не было того тёплого отблеска, который согревал его вчера; дедушка равнодушно смотрел прямо перед собой, словно новое время ничем ему не угрожало. Золотая рама, в которую заключён был портрет, вызывающе поблёскивала. Комнату успели прибрать и проветрить, дверь на балкон была чуть-чуть приоткрыта. На балконе, уносившем нас в волшебную ночь, стояли в боевом порядке совки и щётки, а на перилах висел ковёр в ожидании чистки. На улице густо падал снег.

— Завтракать! — зазвонила в колокольчик мать.

Я сразу же почувствовал, что сегодня, так же, как и всегда, опасно спрашивать о чём-нибудь во время еды. Я повязал вокруг шеи салфетку и получил свою чашку какао. Мать опасно покосилась на отца, который надбивал яйцо: яйцо опять оказалось недоваренным, и мать сама встала, чтобы второе яйцо ещё раз опустить в горячую воду. Так мы завтракали каждый день. Мать, вернувшись из кухни, только сказала:— Ешь осторожней! На столе чистая скатерть. Не посади мне сразу же пятна, ради Нового года.

Снег между тем перестал падать, и мне разрешили погулять до обеда.

Денщик майора Бонне пользовался у нас, мальчиков, большой любовью, потому что он замечательно ругался. Он изобретал всё новые ругательства, да и любое слово умел произнести так свирепо, что оно звучало как бранное. Он давал нам надевать длинную саблю, а иногда катал верхом по конюшне. Моим родителям не нравилось, что я подолгу у него пропадаю, тем более, что к нему часто заглядывала кухарка обер-пострата Нейберта. Из каморки денщика, которого звали просто Ксавер, шёл крепкий дух, уже издали неодолимо притягивавший нас. От лошадей, соломы, кожи и сырых стен исходил смешанный запах, какой бывал на нашей Гессштрассе, когда по ней проходил полк солдат, или возле казарм в Обервизенфельде; так, наверное, пахла и война, нехватало только запаха пороха.

Мне знакомы были три обличья Ксавера. Первое, когда он, раздетый, в нижней рубашке и кальсонах, умывался у колодца во дворе. Тут Ксавер ничем особенным не отличался, даже

ростом был невелик, скорее мал и тщедушен. Скрывшись на некоторое время в своей каморке, Ксавер появлялся преображённый и значительно выросший, в мундире и каске, сабля со звоном тащилась по земле. Выпятив грудь, Ксавер проходил богатырским шагом в конюшню, выводил коня, одним взмахом, сверкнув шпорами, садился в седло, и тут Ксавер, в своём третьем обличьи, являлся мне героем, как те, что красуются для общего обозрения на памятниках. А когда он по праздникам надевал каску с красным султаном, я только тем и умерял свой восторг, что вспоминал про его ругань и кальсоны.

Будь я верен своему слову стать благонравным и послушным мальчиком «в новом столетии», я бы прошёл мимо ксаверовой каморки, даже не глядя в ту сторону. Я так и хотел поступить: отвернувшись, я сделал уже несколько нерешительных шагов в сторону, но сегодня каморка Ксавера неотразимо влекла меня. Отчаянный храп, проникавший сквозь все щели, невольно вызывал опасение, не случилось ли какого-нибудь несчастья и не нуждается ли Ксавер в моей помощи. Я не мог оставить Ксавера на произвол судьбы. Как часто он веселил мне душу своей руганью и смешными прибаутками, когда я возвращался из школы, до смерти угнетённый плохими отметками, да и, наконец, разве Ксавер не солдат, не канонир Второго баварского королевского артиллерийского полка, уж не подстрелили ли его, чего доброго, в новогоднюю ночь, и он лежит теперь при смерти, истекая кровью из многочисленных ран?

Я снова успокоил свою совесть тем, что ведь Христина ворчит по-старому, и вообще я нигде не замечал какой-либо перемены. И родители не называли больше друг друга «Генрих» и «Бетти», а говорили, как обычно, — «отец» и «мать». Сверху доносились игра отца на рояле и пение матери, значит, мне нечего было опасаться, что меня увидят. Я подошёл к створожке и заглянул в окно.

На столе, посреди комнаты, в страшном беспорядке, стояло множество пивных бутылок и только один стакан. Стул был опрокинут, на кровати, изголовье которой заслонял стол, торчали огромные солдатские сапожищи.

Слегка толкнув раму, я открыл окно и, чуть подтянувшись вверх, с ужасом увидел, какие перемены натворил новый век в каморке Ксавера.

Ксавер, в полной форме, лежал на кровати; голова его, багровый, храпящий котёл, свешивалась чуть не до самого пола. Приятного запаха каморки как не бывало, его начисто смыл остывший табачный дым, смешанный с пивными испарения-

ми и кисловатым душком, исходившим от блевотины на полу.

Чудовищным, чуть ли не преступным показалось мне то, что Ксавер, видно, учинил здесь в новогоднюю ночь.

Даже железная печурка была не истоплена!

— Ах, Ксавер, и не стыдно тебе в таком виде встречать-новый век, ведь всё теперь пойдёт по-новому, и скоро будет большая война! Встань сейчас же, умойся и убери комнату, а то я всё расскажу господину майору, как только он вернётся из новогоднего отпуска.

— Что там ещё за война?— прогудел Ксавер, сонно перекачивая голову и приоткрыв опухшие, мутные глаза.

— Пусть война поцелует меня в...

Он повернулся к стене и пальцем показал на свой зад.

За этим последовал такой храп, что я, потрясённый, отступил и побежал на улицу. В мундире валяться на постели!

— Чего уж тут ждать! — повторил я любимое словечко мамы.

### III

Вероятно, из-за праздничных дней, но я нигде не мог обнаружить чего-либо нового. Магазины были закрыты, люди шли в церковь или, собравшись с духом, отваживались в этот звонкий морозный день на короткую прогулку. После обеда, который опять-таки ничем особенным не ознаменовался, мы, закутавшись потеплее, отправились на Клейнгесселоэское озеро, где сегодня были конькобежные состязания.

— Хорошее начало для Нового года, нечего сказать! — воскликнула мать, когда мне понадобилось высморкаться и у меня не оказалось носового платка.

— Он, видно, не желает исправиться и не способен начать новую жизнь. Как было, так всё и осталось! — поддержал маму отец. Мне хотелось сказать ему, что в этом виноват Ксавер, да и не один он, а и Христина: зачем она первое же новогоднее утро начинает со своей старой воркотни; и дедушка, ведь его портрет как ни в чём не бывало висит в столовой над комодом, и балкон с его совками, щётками и ковром; да и сами они, отец с матерью, тоже виноваты: они не стоят уже, обнявшись, как в новогоднюю ночь, и не говорят друг другу «Генрих» и «Бетти». Весь мир виноват в том, что я не изменился; как в самом деле мог я исправиться и начать новую жизнь, раз даже случая к этому не представлялось и всё осталось по-старому. Но я ещё надеялся, — пусть только пройдут праздники.

История с Ксавером вызвала у меня опасение, не наступили ли совсем уж скверные времена. Если бы майор знал про Ксавера, он, наверное, строго наказал бы его. Ксавер сам рассказывал мне, как он однажды сутки просидел на гауптвахте за оскорбление офицера. Лечь в постель в мундире, когда и в обычном-то платье этого не полагается делать, представлялось мне тяжким преступлением, которым Ксавер опозорил всю Германию. А что, если бы началась война! Вот ужас! Никакие трубы и барабаны не заставили бы Ксавера прервать свой храп. Может быть, из-за Ксавера война была бы проиграна! Теперь я уж не смогу, любуясь Ксавером, когда он, сверкая шпорами, с развевающимся огненно-красным султаном, гордо скачет на своей лошадке, отделаться от страшного видения: конь со всадником клонятся вбок и погружаются всё глубже и глубже в бездонный храп. Да, и благородного рыжего скакуна Ксавер увлѣк с собой в своём постыдном падении!

Между тем мы добрались до озера, где под звуки духового оркестра кружилось бесчисленное множество конькобежцев, и я прежде всего стал искать чего-то невиданного.

Здесь мы встретили знакомых.

Господин, которого отец приветствовал уже издали, был в цилиндре; важный, грудь колесом, он словно тащил на верёвочке свою маленькую, кругленькую супругу. Встреча была такой сердечной, что обе пары чуть ли не приплясывали друг перед другом. Сразу же затараторили о Новом годе: Новый год так, и Новый год сяк, и все это, стоя посреди дороги и мешая гуляющим, которые всё время толкали нас. Меня заставили подать руку и поздравить с Новым годом.

— Ах,— вздохнула мама,— опять он так подаёт руку. Он никогда не научится как следует здороваться.

Тут же ей пришла мысль, что я сегодня ещё должен зайти к обер-пострату Нейбергу и передать ему наши новогодние поздравления. Я наострил уши, стараясь понять, кто же этот господин, который всё посмеивался «хе-хе» и после каждого смешка поглаживал усы, как будто вытирал рот салфеткой. Обе пары никак не могли расстаться. Отец и господин в цилиндре беседовали о каком-то процессе, я уловил фамилию Кнейзель, это был, по их общему мнению, «отпетый негодяй»; мать и маленькая круглая дама болтали о выставке; обе они находили, что в картине Штука изумительно много фантазии и что она прелестна по колориту. Они уже несколько раз прощались и долго трясли друг другу руки, но затем вспоминали ещё какую-нибудь новость, и всё начиналось сначала. Вокруг постепенно скоплялась публика, так как гуляющих становилось

всё больше, а мимо нас можно было протиснуться только с трудом. Я чувствовал себя неловко, потому что многие обращались и отпускали на наш счёт замечания. Я отошёл на несколько шагов и остановился, теребя на себе пуговицы. Наконец расстались. Мать дернула меня за рукав: — Видно, и Новый год на тебя не действует, ты совершенно не умеешь себя вести. Когда, наконец, ты выучишься говорить с людьми почтительно? — Я взял отца под руку и спросил: — Кто этот господин и что это за процесс, про который вы говорили? — Но мать не дала ему ответить. — Это ещё что за любопытство? Нельзя ли хотя бы ради Нового года обойтись без вечных вопросов! — Из разговора родителей я понял, что встреченный нами незнакомый господин, судья Мауэрмейер, был с отцом в одной студенческой корпорации; к Новому году его из Бамберга перевели в Мюнхен.

Я убедился, что в моём намерении исправиться и начать новую жизнь самое трудное для меня — победить любопытство. Легче уж, пожалуй, не врать и покончить с плохими отметками. Но отказаться от привычки шарить в погребе и в кладовой, рыться в отцовском портфеле и заглядывать в приходо-расходную книжку Христины было бы для меня слишком трудно. Сегодня утром, например, пока родители ещё спали, я успел просмотреть новогодние поздравительные карточки и, выбрав из корзины для бумаг все обрывки, сложить их один к одному, — хотя разобраться в них я всё равно был не в силах. Я не мог видеть ни одного шкафа, ни одной шкатулки, чтобы не исследовать их до самых потаённых уголков. Если сквозь решётку в почтовом ящике белел конверт, меня это до того мучило, что я бежал за маминими ножницами, чтобы выковырять письмо, как я это делал с пфеннигами в копилке. Вот это и были мои тайные проделки; относительно них-то я и опасался, что все они раскроются на Страшном суде. А ну как обнаружится, что мне совершенно точно известно, куда отец прячет ключи от письменного стола! Я отпирал все ящики, как только меня оставляли дома одного, я передержал в руках каждую бумажку. Нет, в новом веке не было бы для меня ничего привлекательного, если бы мне пришлось проститься с любопытством и отказаться от моих тайн; чем бы эти тайны мне ни грозили, они были моей собственностью, которой я распоряжался как хотел, которая принадлежала мне одному...

Я прикинулся усталым, чтобы заставить родителей поскорее вернуться домой, — мне не терпелось узнать, что там с Ксавером, его храп, словно издеваясь, неотступно преследовал меня.

Услышав, как мать вздохнула, заворчал и отец:

— И в Новом году всё то же! Как только гулять с родителями,— ты устал, а бегать целыми днями по улице или без конца шалить — тут ты неутомим. Удивительно, а?

И верно, это повторялось каждое воскресенье: только мы уходили из дому на нашу послеобеденную прогулку, как на меня нападала неудержимая зевота, и я, размеренно шагая рядом с родителями, еле волючил ноги.

Мы миновали Китайскую башню, которая тоже не сдвинулась со своего старого места, постояли наверху у Моноптероса, глядя, как салазки съезжают с невысокого склона, и все трое пожалели о том, что не поехали в Эбенгаузен покататься с гор.

Во дворе я отстал от родителей, чтобы узнать, не проснулся ли тем временем Ксавер.

Сторожка Ксавера уже не сотрясалась от храпа.

В комнате было темно.

Я вздохнул с облегчением, когда увидел, что Ксавер по крайней мере мундир с себя снял. Мундир висел на спинке стула, а сапоги стояли рядом. Пуговицы на мундире сверкали, отражая свет уличного фонаря, проникавший в каморку.

#### IV

Мне приснился мундир Ксавера. Он был весь в пятнах. Я чистил его щёткой. Но чем больше я чистил, тем безобразней выступали пятна, чёрный воротник и манжеты становились всё грязнее, а сукно от усиленной чистки начинало уже просвечивать. И пуговицы, сколько я ни тёр их носовым платком, ни за что не хотели блестеть. «Ты мне весь мундир испакостил», — плакался Ксавер. Лошадь, грустно кивая, выглядывала из конюшни, султан на шкафу топорщился, а сабля на стене задумчиво качалась. Тут я увидел старинный бабушкин шкафчик. Шкафчик открылся, и что же? — он был доверху наполнен блестящими десятимарковыми золотыми. И я купил самых дорогих синих чернил, а для воротника и манжет — густой чёрной туши, и выкрасил мундир Ксавера, а пуговицы отполировал знаменитым средством «сидоль» так, что они блестели даже ярче, чем вчера вечером при свете уличного фонаря. Лошадь в конюшне ржала от радости, султан на шкафу развевался, сабля на стене весело побрякивала. Ксавер смеялся во весь рот; он немедленно облачился в свой чудесный мундир и обещал мне больше никогда не пачкать его и носить с честью.

О ты, старинный бабушкин шкафчик!

Праздники кончились. Настал первый школьный день. Отец перевязал стопку протоколов и собрался в суд. На девять утра было назначено дело, которое слушалось в большом зале суда присяжных. Ксавер, в до блеска начищенных сапогах, в аккуратном мундире, поскакал за майором Бонне, сопровождая его в Обервизенфельде, на учебный плац.

Гартингер ждал меня на углу Луизен- и Терезиенштрассе; уже возле Луизенбадского бассейна я увидел его: размахивая ранцем, который он держал в руках, Гартингер шагал назад и вперёд между цветочным магазином и луизенским почтовым отделением.

Я отковырял ему, он сказал просто:— Здравствуй!

— Как ты встречал Новый год?

И тут же я спохватился, что у Гартингеров не было балкона, празднично освещённого лампами, балкона, который бы нёс и баюкал их, с которого так хорошо было любоваться волшебной ночью,— у них, понятно, Новый год был не такой, как у нас.

— Да так...— ответил Гартингер.

Я уже осмотрел Гартингера со всех сторон и не заметил в нём никаких перемен.

— И ты ничего не пожелал себе к Новому году?

— Нет, отчего же? Пожелал.

Больше я ничего не мог из него вытянуть. И меня злило, что он не спрашивает меня про мой Новый год.

У Зейдельбека в витрине попрежнему лежали пфенниговые прянички, и стояли они столько же, сколько и в прошлом году. Леденцы «сахарная соломка», «медвежки орешки», «турецкий мёд», карамель — все сладости старого года не потеряли своей сладости и в новом году, и так же обстояло дело с солёными крендельками и хворостом — солёное в новом году было таким же солёным, как и в старом.

— Что же ты всё-таки себе пожелал?

— Ну, что обычно желают в таких случаях.

Вилла Ленбаха и галлерейя Шака стояли на том же месте, что и в прошлом столетии, да и Пропилеи несколько не изменились на вид.

— А что желают себе обычно?

— Отстань! Какой ты любопытный! Ведь я к тебе не пристаю, хотя и ты, верно, что-нибудь себе пожелал.

— А я не помню, я ничего себе не пожелал.

О том, что я пожелал себе в наступающем веке войну, я забыл.

Гартингер удивлённо посмотрел на меня.

— Ничего не пожелал! Ничего не пожелал! — повторил он несколько раз.

Длинное здание Базилики тянулось, как всегда, от Карштрассе на целый квартал. К чему же был весь этот трезвон, все поздравления и пожелания, раз всё оставалось по-старому?!

Звонок затрещал. Мы бросились по партам. На учителя Голе был тот же мундир с клеёнчатыми нарукавниками, что и в прошлом столетии. На уроке арифметики я исчертил всю парту бесчисленными «1900», потом меня вызвали к доске, и если бы Гартингер не подсказывал мне, я точно так же не решил бы задачи, как и в прошлом году. Я получил своё «как всегда, плохо». После первого же урока Голь, «чтобы не отвыкали», одних оставил без обеда, других наградил шлепками, третьих записал в журнал.

На перемене Фек подставил ножку Гартингеру, тот грохнулся, и я сцепился с Феком: то же было и до наступления нового столетия, для этого незачем было зажигать лампы.

После занятий мы помчались в Глиптотеку и там, как обычно, играли в пятнашки и развязывали сзади фартуки нянькам, возившим детские коляски.

Это тоже было не очень благонаравно и благовоспитанно.

Когда мы, как всегда, шли домой с Гартингером, я пристал к нему:

— Послушай, не лмайся и скажи, что ты пожелал себе. Честное слово, я никому не расскажу.

Теперь Гартингер был как будто сговорчивее, потому что я и в новом году помог ему справиться с Феком; он завёл меня в ближайшие ворота, придвинулся ко мне вплотную и сказал:

— Чтобы наступила новая жизнь.

Я испугался, услышав здесь, в воротах, те самые слова, которые в новогоднюю ночь на празднично убранном балконе прошептала мне бабушка.

— А тебе-то что, у тебя и так хорошие отметки, ты и так никогда не врешь.

Мне стыдно было рассказать ему, какое я дал себе обещание.

— Всё должно быть по-другому.

— Как, всё на свете?

— Да, всё на свете.

— Но ведь той булочной, напротив, незачем становиться другой?

— Нет, и ей, обязательно.

— А почему и булочной?

— Да так.

Больше мне ничего не удастся вытянуть из Гартингера. На углу Луизен- и Терезенштрассе мы расстались.

«Всё... всё на свете...»

Ведь и я этого хотел, почему же это звучало совсем по-другому, так что даже страх разбирал, когда об этом говорил Гартингер?

\* \* \*

Ксавер как раз вводил лошадей в конюшню.

А не простить ли мне Ксаверу, как я простил себе нарушение троекратной клятвы?! Быть может, и он под Новый год дал себе обещание исправиться и зажить по-новому и с ним произошло то же самое, что и со мной?! И потом мне не терпелось рассказать ему, как сняли пуговицы при свете уличного фонаря, и еще про свой сон; ему это, наверное, понравится.

— Как вы провели день Нового года, Ксавер?

— Осыпался после выпивки. — Он ухмыльнулся, словно ещё хвалился этим.

— Разве вы так много выпили?

— Ровно столько, чтобы свалиться.

— Вы, кажется, и стреляли в новогоднюю ночь, мы слышали. Папа всё расскажет господину майору.

— Тебе приснилось. Это хлопали ваши пробки от шампанского.

Ксавер сердито отставил ведро, взял метлу и принялся сметать в кучку конский навоз.

— А если бы как раз началась война?!

— Тыфу, пропасть! Надоел ты мне со своей войной. На что она мне. Ведь я Ксавер, я не из тех франтов...

Он сунул мне в руки совок, сказал: «Держи», — и стал накладывать в него навоз.

— Что стоишь дурак-дураком? Даже совок держать не умеешь. И куда ты только годишься! А треплешься, словно свинья-пруссак... Ну, неси! Ничего, тебе это не повредит. Эх ты, голова баранья!

Опростав совок в помойку, я сразу же убежал. Ксавер крикнул мне вслед:

— На здоровье, господин генерал!

Он харкнул, как будто собираясь плюнуть мне вдогонку.

Я вихрем понёсся вверх по лестнице.

Пришлось что-то наврать отцу, когда он спросил меня об отметке по арифметике. Теперь мне уж всё было нипочём, раз я мог послушно отнести навоз на помойку. Я тихонько прокрался на балкон, чтобы посмотреть, не осталось ли там каких-нибудь следов волшебной ночи. Но уже и лампочки были сняты. Ветер

с такой силой хлопнул дверью, что чуть не разбил стекло. Балкону не было до меня никакого дела. Новогодняя ночь отодвинулась далеко, как будто в другой мир.

Значит, двадцатое столетие попросту не хотело наступать, так-таки не хотело. А может быть, оно наступило, но только ~~так~~ про себя всё то чудесное, что принесло с собой...

Наступило? Или только наступит? И наступит ли вообще? И почему оно должно наступить именно в тот день, который мы определили? А может быть, новому веку вовсе дела нет до наших расчётов и время творит с нами всё, что хочет...

А по-моему, пусть уж двадцатое столетие наступит завтра же, среди года... Раз навсегда... Или же давайте решим, что оно наступило, и дело с концом. Тогда, значит, мы живём в новом столетии, оно стремительно проносится над нами, и ничего уже не поделаешь...

Ночь счастливых надежд навсегда миновала. Теперь нечего надеяться на скорое исполнение желаний. Что пользы давать клятвы и обеты? Я упустил случай начать новую жизнь...

А ведь я хотел исправиться, хотел начать новую жизнь!  
Ведь я, Ганс Петер Гастль, хотел стать хорошим человеком.

## V

Голос у неё был не такой нежный и звучный, как у мамы, и она всегда фальшивила. Руки у неё были не такие узкие и белые, как у мамы; у Христины руки были широкие и шершавые, настоящие руки кухарки. Но больше всего на свете я любил, когда Христина перед сном присаживалась к моей кровати и, ласково поглаживая меня, напевала мне свои песни.

Руки её гладили меня так, словно видели там, глубоко внутри, все те места, которые у меня болели. Она знала столько чудесных песен, что я мог бы слушать её без конца.

Часто мать или отец, войдя в комнату, говорили:

— Ну, а теперь гасить свет и спать!

В ту минуту я ненавидел их обоих, я садился в темноте на кровати и, всхлипывая, посылая Христине в её каморку много-много воздушных поцелуев.

Спокойной ночи, Христина! Спи спокойно, Христина... Милая, милая Христина.

Она держала мою руку в своей, и мне казалось, что песня, которую она поёт, тепло струится в меня через её руку.

«Если я, если я уйду в городок...» — пела она, и: «Поджидай меня здесь, мой дружок».

— Я не хочу, Христина, оставаться здесь, я хочу с тобой.

— Ах, ты...

«Ах, ты...» — она произносила это порой с такой нежностью, что я жалел: почему я не её сын.

Она раскачивала мою руку в такт песне, и мне казалось, что мы идём с Христиной по широким дорогам, всё дальше и дальше — до самого Букстегуде.

— Где это Букстегуде, Христина?

— Далеко-далеко.

И она глубоко вздыхала, словно дороге в Букстегуде нет конца и края.

— А хорошо там, в Букстегуде, Христина?

— Хорошо... Хорошо.

Она произносила это так благоговейно, словно Букстегуде было в небесах и там обитал сам господь бог.

Когда она кончала песню, я просил её «ещё разочек» рассказать о Бреттене, баденской деревне, где она родилась.

Мне никогда не надоедало снова и снова слушать о том, как Христина пасла коз, когда была ещё совсем маленькой. — Нет, волков не было, только сорванцы вроде тебя прятались в кустах и оттуда кричали бу-бу. — У Христины было много братьев и много сестёр: дети, дети, нет спасения! — как она говорила. Детишки с малых лет помогали родителям в поле, много их перемерло; отец был бедняк, он и оставшихся не мог прокормить, и Христину отослали в город Дурлах, где она поступила служанкой к моей бабушке. Христина уже служила у бабушки, когда родилась мама. Она возила «их милость», как она называла теперь маму, в коляске. Она присутствовала на обручении «их милости барыни» с «их милостью баринём», незадолго до смерти деда.

— А фельдфебеля ты забыла, Христина?

Фельдфебель был убит при Мар-ла-Туре в войну семьдесят второго года.

При упоминании о фельдфебеле у Христины увлажнялись глаза, вот и теперь она вытерла слезинку.

— Забыла, говоришь? Давай-ка я лучше опять спою тебе ту песенку.

На этот раз я тихоночко ей подпевал.

Как хорошо было вдвоём с ней петь песни! Гораздо лучше, чем мурлыкать их себе под нос в одиночку. Радостно было, что ты не один, что ты слышишь, как согласно звучат два человеческих голоса. Но так я думал только, когда пел с Христиной. Почему-то, когда отец или мать заставляли меня петь с ними или когда я должен был под аккомпанемент отца показывать при гостях своё искусство, это было совсем не то!

Через год, через год, как созреет виноград,  
Созреет виноград,  
Я опять вернусь сюда,  
Если ты, если ты вновь дружком назовёшь,  
Справим свадьбу мы тогда...

Христина помолчала мгновенье.

Опять на глазах у неё блеснули слёзы.

— Всё точка в точку, как с моим фельдфебелем. Вот так оно и было!

Затем мы поиграли в «А что, если бы...»

— А что, Христина, если бы сейчас объявили войну?.. А что бы ты сказала, Христина, если бы я вдруг стал генералом? А что бы ты сделала, Христина, если бы ты была кайзером?

Христина терпеливо ответила на два-три «а что, если бы», но я так упорно засыпал её всё новыми и новыми вопросами, что она рассердилась.

— Да отвяжись ты от меня. С ума сойдёшь от твоих вечных «а что, если бы...»

Я нарочно сказал гадкое слово, потому что мне нравилось, когда Христина приходила в ужас:— Что за гадости ты говоришь, дрянной поросёнок!

Схватив её за руку, я заявил, что не отпущу её «ни за что», пока она не расскажет «ещё разочек», как я появился на свет.

По Гессштрассе как раз проходил с музыкой эскадрон кавалерии, во главе с принцем Альфонсом, когда я, тёплым майским утром, ровно в восемь часов, словно по школьному звонку, появился на свет божий. Христина и меня возила гулять в коляске. А в Обершау, где мы однажды проводили лето, нас с ней застигла страшная гроза. Христина движением руки изображала молнии, как они зигзагами бороздили тучи, густо обложившие горы, и гудела, подражая грому.

В еловом лесу над нами ударила молния.

Я заставлял Христину изображать далёкий колокольный звон, возвещавший о грозе. Как тогда, в грозу, Христина читала молитву. Я был милосердным богом, который услышал её молитвы, разогнал злые тучи, и солнышко снова засияло в синем ясном небе.

Я был «барыней» и хорошенько распёк Христину, когда она вернулась со мной, промокшая до нитки, и пригрозил в следующий раз рассчитать её за такую неосмотрительность. Христине полагалось плакать и обещать, что такой грозы с градом никогда больше не будет,— теперь я был уже «баринном»; я вышел, успокоил «барыню», которая страшно сердилась, и ото-

слал Христину на кухню со словами: «Ладно, Христина, в следующий раз будьте осторожнее, а теперь ступайте, займитесь своим делом».

Христина оставалась Христиной, она изображала молнию, стук града, грохот грома, она молилась и звонила в колокол,— я же был милосердным богом, «барьшей», «баршном» и злым волком, который проглотил маленькую Христину, потому что я так любил Христину, что готов был её съесть. Неужели и меня Христина будет звать когда-нибудь «ваша милость»?

Христина ржала, она была лошадьё, впряжённой в дрожки, а я был кучером, я взбирался на лошадь верхом и кричал «ню-ню» и «тпр-р», я мог всласть обнимать и гладить Христину, и колотить её ногами.

— Что ты себе пожелала в Новом году, Христина?— спросил я среди игры.

— Что пожелала? Что уж наш брат может пожелать себе!

— Наш брат? Что это значит, скажи, моя лошадка.

Я посмотрел на Христину с таким же удивлением, с каким Гартингер тогда посмотрел на меня. О войне мне теперь не хотелось вспоминать, на душе у меня было как-то особенно мирно.

— Да ничего. Человек должен быть всем доволен.

— Но почему нельзя желать чего-нибудь? Ведь мы же молимся.

— Да будет воля божья.

— Но, боже ты мой, должна же наступить другая жизнь. Разве ты не видишь, как мама трясётся над каждым пфеннигом, не ездит на трамвае, всюду пешком ходит? Ведь есть люди гораздо богаче нас.

— Но есть и бедняки, и им тоже хочется жить.

— А вот я хотел исправиться и начать новую жизнь, но у меня ничего не выходит. Только когда мы с тобой поём, мне кажется, что ещё выйдет.

— Вырастешь — поумнеешь. У кого бог на уме, тот не строит на песке.

— Скажи, Христина, верно это, что я вырасту плохим человеком, если буду приносить плохие отметки, как папа говорит?

— Ну, если их милость так говорит... Но всё ещё уладится, потерпи.

— Скажи, Христина, стыдно это, — подбирать конский навоз и бросать его в мусорный ящик?

— Вовсе нет. Что тебе взбрело в голову, ничего стыдного тут нет.

— В самом деле? Ничего стыдного?

— Нет, нет!

— Но если бы настала другая жизнь, Христина, ты ещё, может быть, вышла бы замуж и народила детей...

— А тогда я не сидела бы здесь с тобой.

— Ну, ты взяла бы меня к себе.

Она приложила палец к губам.

— Тс! Тс!

Христине полагалось поцеловать меня на сон грядущий по разу: за Ганса-рогозю, за Ганса, что пострел везде поспел, за Ганса-дурачка, Ганса-счастливица, и как бы много ни было этих Гансов, я каждый раз придумывал новых и новых...

Потом она складывала мои руки поверх одеяла и тела:

Как сладко ночью спится!

Спит лес, и зверь, и птица,

И люди, и поля!

Вот звёздочка, блистая,

Сверкнула золотая,

Уснула вся земля!

У меня смыкались веки.

— Ах, ты...

Спокойной ночи, Христина! Спи спокойно, Христина, милая, милая Христина...

## VI

Весна пришла бурная, стремительная. Вода в Изаре сразу поднялась. Народ стоял на набережной у электрической станции и на Богенгаузеровском мосту и смотрел на вздувшиеся воды, жёлтые и бурливые. Гонимые течением брёвна и трупы животных были вестниками сграшных наводнений, учинённых Изаром в Оберланде.

Железо на крышах грохотало. Шляпы волчком катились посреди мостовой. Прохожие повёртывались спиной к ветру. Зонты выворачивало наизнанку, юбки вздувало. Бешено дул ветер, временами налетал косой пронизывающий дождик, — его можно было переждать в воротах или на крытой трамвайной остановке. Потом вдруг облака рвались, и в вымытой синей чаше небес расцветало солнце.

Слепя глаза, поплыл снег. Деревянные щиты, под которыми зимовали фонтаны, исчезли. Скамьи на скверах заблестели свежей зелёной краской. На эстраде музыкального павильона в Дворцовом парке появились пульта; кафе у Китайской башни вышло со всеми столиками и стульями под открытое небо.

На когда-то празднично убранном балконе Христина выбивала матрацы, с подоконников свисали краснопузыре перины; Христине то и дело приходилось выбегать на звонок «понапрасну», так как зачистили нищие.

Голоса со двора беспрепятственно проникали в комнаты.

Появились подснежники и ландыши, и, значит, настала пора вместо прогулок на Клейнгесселоэское озеро забраться куда-нибудь в Пуллах или в Вольфратсгаузен, бродить по лесам, или же, выйдя на Ментершвайге, стоять на Гроссгесселоэском мосту, радуясь тому, что горы так близко, и что всё так меняется с весной, и что весна победно шествует по всей стране.

С тех пор как Христина уверила меня, что это нисколько не стыдно, я помогал Ксаверу убирать конский навоз. Я бегал с кружкой за пивом для Ксавера. По дороге покупал в зеленой редьку к пиву. Я спрашивал Ксавера, не возьмёт ли он меня к себе в денщики.

Всё это надо было делать с умом, осторожно и крадучись, чтобы родители не узнали о нашей дружбе. Я научился, проходя по улице, жаться поближе к домам и, как только отец высовывался в окно, приникать к стене; я научился проползать на четвереньках сквозь кусты в саду и знал все лазейки в дырявом дощатом заборе.

В награду за мои услуги Ксавер учил меня у себя в каморке, как обращаться с саблей. Ксавер командовал. Когда я принимался вытаскивать саблю из ножен, этой саблище, казалось, конца не было, она всё удлинялась и удлинялась, пока Ксавер не приходил мне на помощь. Со всего размаха я разрубал «француза» надвое, так что направо и налево из седла вываливалось по полфранцуза.— Командуйте, Ксавер, командуйте!— И Ксавер волей-неволей продолжал войну, а я гордился тем, что выполняю его команду.

На стене висела фотография — группа солдат той батареи, в которой служил Ксавер. Справа и слева стояли орудия. Ксавер обещал взять меня как-нибудь на учебную стрельбу в Обервизенфельде. Мне очень хотелось рассказать ему о христинином фельдфебеле, убитом в семьдесят втором году при Мар-ла-Туре; ведь мы же обязаны отомстить за него французам. Но кто знает, может быть, это тайна Христины, которую она доверила только мне одному.

Настали весенние вечера; улизнув под каким-нибудь предлогом из дому, я пробирался в каморку к Ксаверу. Садился на низенькую скамеечку, почти вровень с полом, и, задрав голову, восторженно смотрел вверх. Ксавер нарезал хлеб и сало и время от времени протягивал ломоть мне, и я набрасывался на него,

как будто век не ел, хотя я приходил сразу же после ужина. Мне даже разрешалось отхлебнуть глоток-другой из кружки Ксавера. Пиво было ужасно противное, но, чтобы доставить удовольствие Ксаверу, я говорил:— Вот это вкусно! Ваше здоровье, господин Ксавер!

С едой было то же, что с пением и воскресными прогулками. Самые прекрасные вещи дома вызывали во мне тошноту. Казалось, всё, что происходило вокруг, сообщало пище свой привкус. Суп для меня был заправлен страхом, что отец спросит об отметке, жаркое нашпиговано подозрительными взглядами, а к яблочному муссу примешивалась тревога, что сейчас придётся соврать и не покраснеть при этом. Голос у меня сразу пропадал,— «ты совсем охрип», говорила мама,—когда отец спрашивал о Гартингере; либо я долго жевал и обстоятельно проглатывал пищу, чтобы оттянуть ответ. Пока сидели за столом, мне отовсюду грозили строгие запреты: «Не чавкать! Хорошенько прожёвывать пищу! Не оставлять пятен на скатерти! Рот вытирать салфеткой! С полным ртом не разговаривают!»

Ксавер закуривал трубку. Я участливо следил за тем, как он подносит зажжённую спичку к трубке, словно мог своим участливым взглядом помочь ему. Если спичка гасла раньше времени, я ругал её: «Ах ты, глупая спичка, как ты смеешь так вести себя! Изволь гореть, пока Ксавер не закурит! А то смотри у меня!» Я радовался, когда Ксавер делал первую затяжку и дым проплывал в воздухе. И я тоже вдыхал глоточек дыма, дыма из трубки Ксавера. Вдыхал и, конечно, закашливался.

—Что, не нравится?—шутливо говорил Ксавер и клетчатым носовым платком разгонял дым.

Он сидел в нижней сорочке, подтяжки болтались сзади. Отлично, Ксавер, только бы тебе было удобно.— Ну, уж ладно, тащи её сюда!— говорил он, подмигнув мне; он прекрасно понимал, что я только этого и жду. Я бросался к шкафу, вытаскивал гармонию,— она лежала внизу справа, рядом с узлом грязного белья. По дороге от шкафа к Ксаверу я успевал выжать один звук.— Ай-ай!— морщился Ксавер, до того противно пицала гармонию. О, мне, наверное, никогда не играть на гармонии, как Ксавер, никогда.

Стоило Ксаверу взять её в руки, как она чудесно оживала. Он растягивал и вновь сжимал её, он извлекал из неё такие прекрасные звуки, что я замирал в благоговейном восхищении. Ксавер покачивался из стороны в сторону, как будто кто-то невидимый баюкал и качал его, он то устремлял взор на гармонию, то задумчиво смотрел куда-то вдаль, точно пронизывая взором весь мир, то взглядывал на меня и, счастливо улыбаясь, кивал мне, потом поворачивал голову к окну, в котором сиял весен-

ний вечер, и, зачерпнув там горсть ярких звуков, рассыпал их по комнате. Он ласкал живое существо, и оно отвечало ему множеством голосов, которые, переплетаясь, согласно пели.

Передо мной сидел герр Ксавер, родом из Унтерпрейсенберга, тот самый, у которого отец содержал трактир под названием «Лизль-стрелок». Герр Ксавер обещал как-нибудь пригласить меня к себе на лето, когда он отслужит свой срок.

— Как вас зовут по-настоящему, герр Ксавер? Ксавер?...  
— А мне его и даром не надо, этого Зедльмайера... Я про него и слышать не хочу. Как будто мало одного имени... К чему все эти имена да титулы? Только чтоб нос задирать друг перед другом... Ксавер --- этого вполне хватит...

Взгляд герра Ксавера порой затуманивался, как у Христины, когда она заговаривала о Бреттене. Быть может, Ксавер тосковал по родным местам. — Хорошо у вас там в Унтерпрейсенберге? — спрашивал я его. Герр Ксавер ещё нежней прижимал к себе гармонию и запевал вполголоса песню о родимом крае; мелодия была такая грустная, такая жалостная, что на сердце у меня становилось тяжело.

Играй, Ксавер, играй. В камерке темнеет. Темнота хочет напугать нас. Темнота — это «чёрный человек», которым пугала меня мать, он похож на отца. Темнота и днём не уходила из комнаты; она забиралась под столы и укрывалась в шкафах, дожидаясь, чтобы пришёл вечер и с ним её царство. Тогда темнота вышолзала, чтобы поиздеваться над крошечной каплей света: ведь он был бессилён прогнать её, необъятную, огромную, всё заплотонившую. Огни гасли, а темнота росла и росла. Она дышала, потому что была живым существом, чёрным было её дыхание, оно проникало повсюду. Иногда она принимала образ — у неё были закрученные вверх усы и пенсне на носу, она лишь обманывала меня храпом, доносившимся из соседней спальни: сумрачный стоял отец передо мной в темноте, сумрачная гора в ночной тиши...

— Так... Однако надо кончать концерт, не то твой папаша опять нажалуетя.

Мне разрешалось отнести гармонию обратно в шкаф; я гладил её, потому что я любил её и Ксавера и ничего больше не боялся. Я мог бы теперь громко крикнуть родителям, учителям, всему свету: «Да, я дружу с Ксавером и убираю за него в мусорный ящик конский навоз. Делайте со мной, что хотите!»

— Да-да, наш брат не смей шевельнуться, не смей пикнуть, а они наверху тарабанят на рояле, когда им вздумается и сколько вздумается... Народ — не играй и не пой...

И Ксавер сказал «наш брат»...

— Это так не останется, герр Ксавер. Скоро наступит новая жизнь. Не обращайтесь внимания,— утешал я его.

— Наступит, обязательно наступит.— Не зажигая света, он выпустил меня через окно, выходящее на задний двор. Когда я был уже внизу, он протянул мне руку.

— Можешь говорить мне «ты». Ступай с богом.

С приходом весны поёт гармонь. Ксаверова гармонь.

\* \* \*

Мой отец, доктор Генрих Гастль, был прокурором.

Как-то он проснулся очень рано. Заверещал будильник. Христина постучала в дверь, отец быстро откликнулся:

— Да-да-да!

В открытое окно залетел одинокий удар колокола, звонили в церкви святого Иосифа.

Вместе с нами, казалось, тихо просыпался весь дом. Этажом выше, у обер-пострата Нейберта, скрипнуло окно; этажом ниже, у майора Бонне, передвинулась на плите кастрюля, а напротив, в сторожке Ксавера, ведро уже готовилось к утренней уборке.

В ветвях каштана что-то потрескивало; видно, тяжёлый снежный покров мнувшей зимы надломил дерево.

Я посмотрел через замочную скважину в переднюю. Там горел свет. Глаз мой пучился на отца. Отец, в цилиндре, закручивал усы перед зеркалом. Там, в передней, перед зеркалом, стоял всемогущий отец, два отца — один перед зеркалом, другой — в зеркале. Отец о двух головах, а в боковой створке трельяжа появился третий; отцы, отцы — куда ни глянь. Все, будто покрытые чёрным лаком, и все с закрученными вверх усами.

В замочную скважину вдруг потянуло сквозняком. И вдруг многоликий отец протянул целый пучок рук в глубь передней, как будто собираясь вырвать мой глаз из замочной скважины, — он искал перчатки. Дверь осторожно вытолкнула отца из дому.

Глаз мой точно прирос к замочной скважине. Я всматривался, не осталось ли что-нибудь отповское на вешалке, не спрятался ли один из отцов где-нибудь в углу.

Передняя погрузилась во мрак. В спальне мать ворочалась в постели, плотнее кутаясь в одеяло. Я смотрел на неё сквозь стену.

Я думал о том, что сказал вчера отец, узнав от учителя о моих плохих отметках. «Человек, который получает плохие отметки, да вдобавок ещё так бессовестно лжёт, как ты... Который, с позволения сказать, таскает конский навоз на помойку и во-

дится со всяким сбродом! Ведь ты же, наконец, не в конюшне родился, кто, по-твоему, твои родители, ты...» Я даже мысленно не решался повторить это слово. Я проглатывал его. «...На то и существует государство, а я, твой отец,— государственный прокурор». Ноги отца тискалами сжимали мне голову, между тем как новая камышевая трость, которую мне самому пришлось выбрать в магазине на Терезиенштрассе, со свистом ложилась на мой зад. Носки у отца спустились, они пахли сеном; чтоб не выть, я высунул язык, и мне казалось, что часть меня, выскользнув из этих клещей, парит на свободе.

— Достаньте сюртук и новые ботинки, Христина! Мужу завтра нужно рано встать! — сказала мать вчера вечером, войдя после ужина в кухню. Я был наказан, и мне принесли ужин в мою комнату...

Я старался не дышать, чтобы получше расслышать всё об отце. Я шмыгнул в постель и спрятался под одеялом так, чтобы меня не было видно. Отец скосил глаза в мою сторону, когда, доставая трость, он сказал матери: «Завтра мне надо встать очень рано». Но в такой ранний час судебные заседания не начинаются. Похороны и другие торжества, когда надевают цилиндр и сюртук, тоже не бывают рано утром... Отцу, верно, предстоит что-то очень страшное... Конечно, из-за меня... Тут кашлянула в спальне мать. И я кашлянул. Кашлянул ей в ответ.

Портьеры колыхались; они колыхались вслед ушедшему отцу.

## VII

Это был гвардейский пехотный полк, он выступил из казарм на Тюркенштрассе, свернул на Барерштрассе и теперь поднимался по Гессштрассе, направляясь в Обервизенфельде. По обеим сторонам улицы, заливая тротуары, шагая в ногу и держа равнение, двигалась густая толпа. Музыка гремела, мерный шаг солдат разметал по земле мой страх. Сиянье наполнило улицу: штыки, шлемы,— всё вокруг сверкало. Знамя, белое с голубым, увенчанное золотым львом, несли впереди, как хоругвь в церковной процессии. Я приветствовал знамя:— Жить по-новому! Жить по-новому! Война! Пусть грянет война, но, бога ради, не раньше, чем я вырасту...— Я смеялся над собой, над своим страхом. Грозил отцу: «Погоди ты у меня!» Вскочил на стул и крикнул:— Ура! Я дружу с Ксавером! Наш брат... Делайте со мной, что хотите!

Я уговорился с Гартингером, с Францлем Гартингером, прогулять школу.

В кармане у меня лежали десять марок. Я не решался ни на

минуту расстаться с моим золотым. На ночь я заворачивал его в носовой платок и клал под подушку. Отец-прокурор мог обнаружить, где я прячу монету, поэтому я глубже зарывался головой в подушку.

Я чувствовал монету сквозь подушку, ведь я украл её у бабушки в прошлое воскресенье, стащил её из старинного шкафика, когда бабушка ушла на кухню варить шоколад.

Ночью, во сне, золотой расцветал подо мной, как солнце, или, наоборот, сжимался в точку и колот, как иголка...

Это началось ровно в восемь утра, с ударом колокола.

Все башенные часы, словно куранты, отзванивали восемь. Между ударами стлалась сосущая тишина. Мы боялись, как бы колокольный звон не загнал нас в школу. Вот он посыпался на нас, как град. Казалось, сейчас случится что-то необычайное. Воздух поредел, всё было полно напряжённого ожидания. Извозчичья лошадь пугливо отпрянула, круглая медная вывеска на парикмахерской завертелась, хотя никакого ветра не было. Около Базилики Гартингер незаметно свернул на Луизенштрассе, к школе. Я дёрнул его за рукав, он молча пошёл за мной. Теперь удары колокола падали, словно капли, тягуче и медлительно. Город снова закружился в шумной скачке, большая стрелка на башенных часах пошла вниз.

Ранцы мы спрятали дома в погребе. Но это не мешало нам то и дело пропускать друг друга вперёд, чтобы поглядеть, не торчит ли всё-таки за спиной проклятый ранец. Нам всё ещё казалось, что каждый шаг может стоить нам жизни. Пожалуй, не следовало оставлять ранцы дома, в погребе их могут найти, к тому же без ранцев мы рискуем привлечь излишнее внимание.

Мы прошли мимо фонтана Вительсбахов. Белые водяные бороды кипели и пенились. Все прохожие были похожи на учителей, справа и слева у них болтались руки, чтобы было чем схватить нас. Напротив грозно высилось здание суда, где распорядился мой отец. Подглядывая за нами всеми своими окнами, каменное здание напоздало на тротуар. Лишь на Нейгаузенштрассе мы с Францлем решились взглянуть друг на друга. Несколько раз мы останавливались, чтобы убедиться, нет ли за нами слежки. Долго осматривали какую-то витрину и вдруг увидели себя в ней, — маленьких мальчиков, за которыми следит, за которыми гонится вся улица. То, что Гартингер ковырял в носу, меня успокоило; я почесал коленку и с удовольствием плюнул бы в витрину.

Мы сосчитались, кому менять золотой: вышло мне.

Вход в Папоруamu стоил десять пфеннигов. Кассир урюмо

кивнул, когда я подал ему золотой. У кассира были прыщеватые щёки и острый нос, у нашего же учителя Голя, наоборот, — лицо багровое, в веснушках.

Кассир сидел у кассы, словно на кафедре. Я пристально наблюдал за ним, не пажмёт ли он какую-нибудь кнопку, чтобы вызвать полицию.

Он застегнул куртку и досадливо ругнул карандаш, упавший на пол. Он долго отсчитывал сдачу, одними десяти- и пятипфениговыми монетами. Я стоял у кассы на цыпочках. Пришлось обеими руками сгребать деньги в карман, кошелька у меня не было. Монеты тяжёлым грузом оттягивали штанину.

Гартингер сказал: — Сегодня Кнейзель распростился с своей головой.

Я порылся в куче денег и быстро протянул монетку Гартингеру, ведь он ел на переменах один сухой хлеб, тогда как мы обжирались булочками с колбасой или ветчиной.

Гартингер ни за что не хотел спрятать деньги, он тёр и тёр монетку о брюки, пока она не заблестела. Я грубо толкнул его, — разве он не видит, что этим обращает на себя внимание.

Мы сидели, вытянувшись, каждый у своего глазка.

Такое же точно чувство было у нас и перед витринами магазинов и в аквариуме: отделённые одним только стеклом, мы переносились в неведомый, изумительный мир. Лакомства, игрушки, рыбы, морские коньки, медузы, всякие морские диковины и вот эти картины, которые сменяли одна другую с тихим «дзинь», были между собой связаны чем-то неуловимым и жили общей жизнью. Вещи и живые существа лежали или двигались у нас перед самыми глазами и вместе с тем были где-то очень далеко.

Дзинь! — и перед нами, опершись рукой о спинку стула, стоит господин, серьёзный и важный, в длинном чёрном сюртуке с наглухо застёгнутым воротником. У господина бородатое лицо и благочестивый вид, как будто он произносит проповедь. А между тем, его, без его ведома, обвели широкой траурной каймой, и подпись над ним гласит: «Германский посланник фон Кетелер, убитый боксёрами».

Дзинь! — и, дрогнув, всплывает новая картинка: наш кайзер в адмиральской форме держит в Вильгельмсгафене речь перед войсками, которые отправляются в Китай.

Дзинь! — прозвенел сигнал к осаде Пекина, и союзные войска, предводительствуемые немцами, бросились со штыками наперевес на штурм городских стен.

Дзинь! — нежно зазвенели на башнях многочисленные колокольчики, и вдруг — короткий и резкий звонок: палач на лобном месте огромным кривым мечом отрубил голову боксёру.

Гартингер возбуждённо заёрзал на своём кресле:— Кнейзель! Кнейзель! — сказал он и отодвинулся от меня.

— Ну и что ж такого! — вызывающе и хвастливо откликнулся я и стал искать на картинке отца, этого любителя вставать спозаранку.

Я увидел в глазок себя самого, я стою на лобном месте среди офицеров, с сигарой во рту, в пробковом шлеме. Я тоже поднимаю за косу окровавленную голову и выдыхаю ей прямо в глаза сигарный дым. Но глаза остаются открытыми и смотрят на меня сквозь дым.

Мы осторожно слезли с наших кресел.

Во мне ещё долго звенело: «дзинь!»

Дзинь! — звонили в церкви Богоматери, — в одном из приделов шла служба. Глядя на Гартингера, я вслед за ним перекрестился и стал на одно колено.

Дзинь! — звонили на главном вокзале к отправлению поезда. Точно выброшенные из жизни, сидели в залах ожидания пассажиры, они вскакивали, как заводные, спешили на перрон, держа в руках чемоданы, наполненные, конечно, бог весть какими сокровищами, и исчезали в купе, словно залезали в коробки.

Для похорон было ещё слишком рано, поэтому мы удовольствовались моргом. У каждого покойника на мизинце была накручена проволока: если мертвец проснётся, раздастся звонок.

Дзинь! — Ни один мертвец не встал, — это прозвонило полдень.

Мы поплелись домой обедать. Я незаметно пробрался в погреб за ранцем. Топая изо всех сил, чтобы придать себе храбрости, поднялся по лестнице. Я только чуть нажал кнопку звонка, но он взвизгнул пронзительно...

### VIII

Из комнат не доносилось ни звука. Я положил ладонь на медную табличку «Д-р Генрих Гастль», как будто мог этим закрыть рот отцу. Потом быстро задышал на табличку и стал начищать её, как начищал тогда, во сне, пуговицы на мундире Ксавера, чтобы она меня не выдала. Наконец я услышал шарканье Христины. Я пожелал ей, чтобы она хорошенько ушиблась о шкаф. Она бесшумно отперла мне дверь.

У неё были грустные-грустные глаза, как у лошадей на извозничьих стоянках, бархатная ленточка скрепляла сетку на её волосах. Чтобы скрыть смущение, которое во мне вызывал её взгляд, я решил созорничать и задрал ей юбку.

— Тс! Тс! — шикнула она. — И их милость... — Христина показывала на столовую, где, видимо, находился отец.

Я отпустил её юбку, швырнул в угол ранец и пошёл на кухню мыть руки. Я сильно отвернул кран, пусть хоть вода шумит, но Христина посмотрела на меня с мольбой, голова у неё тряслась.

Я подкрался к двери столовой.

Дверная ручка как будто задвигалась. Может быть, отец взялся за неё с той стороны? Но шопот доносился издалека. Значит, отец сидел за письменным столом. (Отдельного кабинета у него не было.) По дверной ручке отец легко мог догадаться, что я подслушиваю, так как ручка была сквозная. Правда, отец мог появиться и за моей спиной, если он с утра остался в зеркале, этот любитель вставать спозаранку.

— Из-за каких-то десяти марок... Да и теми он тоже не пользовался. Ведь приятель сразу же его и выдал... Нет, я против.

Что-то тихо позванивало. Мать, которая была «против», накрывала на стол к обеду.

Отец откашлялся.

— Когда жандармы задержали его, он стал стрелять. Одного жандарма убил. К первому убийству прибавилось второе. Убийство есть убийство.

— Его и самого ранили в живот. И вы же его вылечили...

— Правильно... А сегодня ему сняли голову...

— Я против...

— Ты сама не понимаешь, что говоришь...

Дзинь! — Я чуть не упал головой вперёд.

Это был звонок к обеду...

Я шумно глотал праздничный суп из цветной капусты, но сегодня моё чавканье не вызывало никаких замечаний. Тарелка моя не пустела и не пустела. Сколько я ни черпал ложкой, этого проклятого супа становилось всё больше, он снова и снова поднимался до краёв. И родители не могли справиться с супом, словно мы должны были расхлебать целое море супа. Мы отставили его, так и не доев. Христина внесла жаркое из свинины. — Какой вкусный обед сегодня, — попытался я нарушить молчание; родители многозначительно переглянулись, и в комнате ещё долго отдавалось эхом: «Сегодня, сегодня, сегодня...»

Я сидел против отца. Отец вправил манжеты в рукава. На нём была домашняя куртка. Удивительно, до чего чисты были эти манжеты. Отец выглядел по-воскресному. Большой салфеткой, обвязанной вокруг шеи, он вытирал с усов жир.

Отец ел сегодня торжественно. Мать, которая была «против», провожала любовными взглядами каждый кусок, исчезающий у

него во рту. Сама она почти ничего не ела. На тарелке у неё темнело немножко гарнира. Она сидела за столом для того, чтобы кормить отца. И по воскресеньям, когда подавали суп с лапшой, отец вычерпывал к себе в тарелку весь жир, глазки жира густо плавали поверх целой горы лапши.

Я внимательно рассматривал руки отца. Они были слегка волосатые, в один из пальцев врезалось обручальное кольцо. Снять кольца отец не мог бы, даже если бы захотел: палец стал очень толстый. Я содрогнулся при мысли, что когда-нибудь и мои руки могут стать такими же.

Дзинь! — звякнули монеты у меня в кармане.

Вилка отца резко стукнула о тарелку. Рот мой судорожно открылся, и я, давась картофелем, начал рассказывать о школе. Меня вызвали показать на карте Тирольские горы, а Гартингера поставили в угол. Я знал, что отцу доставляет удовольствие, когда у Гартингера неприятности в школе.

Кучка монет у меня в кармане утомилась и больше не звякала.

Бывают вопросы, которые льстят тому, к кому они обращены, и приводят его в приятное настроение: «спасительные» вопросы.

Над панелью в столовой, на полке, стояла огромная чаша. Я спросил, что это за чаша. Отец поднял на неё глаза, усмехнулся и мысленно одним глотком осушил пенящуюся через край чашу.

Я спросил про Пегниц. Словно увиденное в глазок, предстало перед отцом его детство. Покачиваясь на возу с сеном, подъехал он к околице. Он родился в крестьянской семье. Священник выхлопотал ему стипендию. Отец поступил в гимназию в городе Эрлангене. Чтобы платить за учение, ему пришлось давать уроки. Стипендии едва хватало на пропитание и квартиру. В университете стипендии уже не было, и он зарабатывал на жизнь тем, что готовил студентов к экзаменам. Оттого отец и любил вспоминать детство, что он «собственными силами» выбился в люди.

Отец гордился своими шрамами, особенно заплатанным носом.— Какая чудесная рапира на стене, папа! — И отец снова погружается в воспоминания,— он видит себя в Гейдельберге, в фехтовальном зале, он напекает: «О наш славный, старей Гейдельберг...»

И матери можно было задавать такие вопросы.

Стоило мне спросить её об аптеке «Золотой лев» в Дурлахе, как она тотчас же съела свою крошечку гарнира и начала смеяться журчащим смехом, который мягко притягивал меня к ней. Волосы её, уложенные в узел на затылке, отсвечивали

медью. За её спиной выросал пейзаж: церковные купола и дуги мостов или источник и цепи холмов на горизонте.

«Спасительные вопросы» возымели своё действие. Отец и мать далеко унеслись в своих мыслях.

Кучка монет в моём кармане была спасена.

Я попросил отца показать мне терц.

Отец выбросил руку вперёд и внезапно резко опустил, точно рубнул топором. Некоторое время рука, словно в раздумьи, лежала на столе. На всех пяти пальцах она подползла ко мне и стала меня гладить. Она словно жила сама по себе, независимой жизнью.

Рука отца лежала предо мной, точно прося приласкать её. Она казалась утомлённой, но моя рука была слишком мала, чтобы прикрыть её.

Я посмотрел на мать, которая была «против».

Она всё ещё была «против»,— она задумчиво, едва заметно покачивала головой...

Отец, отец, любитель вставать спозаранку...

Я быстро проглотил свой пудинг.

## IX

Гартингер встретил меня после обеда насторожённо, взглядом исподлобья. Взгляд этот прикип к моему карману, оттопыренному грудой монет.

Мы пошли смотреть панораму «Бой под Седаном».

Я всё время думал, как бы мне поскорее избавиться от денег. Шишка, оттопыривавшая мои штаны, никак не становилась меньше. Я купил у Зейдельбека огромный кусок варшавского торта. Всё на свете, казалось, стоило десять пфеннигов. Жаль, что это не пришлось на осеннюю ярмарку, тогда вся эта противная куча денег исчезла бы в два счёта. У меня уже замирало под ложечкой от высоко взлетающих качелей, американские горки швыряли меня вверх и вниз, пронося вдоль зубчатых кулис. Я отхватил бы для Гартингера славный кусок жарящегося на вертеле быка. Теперь мне было досадно, что мы не подождали до осени. Я хотел, чтобы это было в первый и последний раз. Ну, ещё разок осенью — куда ни шло.

«Битва под Седаном» стоила двадцать пфеннигов, дети и военные — от чина фельдфебеля и ниже — платили половину.

Только теперь, при взгляде на колоссальную панораму, я понял стихотворение, которое мне пришлось продекламировать в прошлом году на нашей майской экскурсии в Нимфенбург.

Передо мной в каске с султаном стоял баварец и пронзал штыком тюркоса, спрятавшегося среди виноградных лоз. Всадник на рослом коне, вооружённый пикой с бело-голубым флажком, гнал кучку пленных зуавов. Генерал фон-дер-Танн в полной парадной форме, в каске с пышным султаном, в брюках с широкими лампасами, перепоясанный шарфом, стоял на холме среди знамён и приветственных кликов, похожий на раскрашенный памятник.

Пороховым дымом веяло от картины, даже запах пожарища чувствовался в ней. Перед зрелищем этой славной битвы я, в своём штатском платье, казался себе жалким. Даже с ранеными поменялся бы я участью, только бы на мне был мундир.

Я презирал Гартингера за то, что он рассеянно смотрел на картину, за то, что битва под Седаном для него не существовала.

Когда мы покинули поле боя, я заставил Гартингера промаршировать передо мной. Гартингер стоял навытяжку, заряжал ружьё, ложился на живот, атаковал вражеские позиции, был ранен и умер геройской смертью. В честь его был дан салют.

Вдруг Гартингер заявил, что он не желает больше играть, ему скучно.

Я побренчал деньгами в кармане, чтобы показать ему, с кем он имеет дело, и не дал ему ни гроша.

Мне захотелось затеять с ним ссору. Я дал ему монетку и сейчас же потребовал её обратно. Он мне тут же её вернул. Я сказал, что он её не отдал, и назвал его вором. Пригрозил привязать его к дереву и высечь крапивой — оба мы были в носках и штанах до колен. Я с удовольствием смотрел, как у него сначала задрожали губы, потом дрожь побежала по всему телу и засела где-то глубоко-глубоко. Я довёл Францля до того, что он признался, будто вытащил монетку у меня из кармана. Я заставил его попросить прощения. После этого он получил пять пфеннигов; я высоко подбросил монетку и велел ему поймать её ртом.

Отец считал, что Гартингеры для меня неподходящая компания.

Такие люди, как эти Гартингеры, виновны в том, что на кайзера вот уж второй раз за этот год совершается покушение. У них на совести также итальянский король, а теперь укокошили и американского президента. Повсюду убийство и смерть. — Эти социалисты до тех пор не дадут нам покоя... — И почти просящим голосом отец добавлял: — Не водись ты с Гартингером, это добром не кончится.

Между тем, именно у Гартингеров я бывал с удовольствием. Старик Гартингер сидел на столе в столовой, которая служила ему также и мастерской, и шил военный мундир. Рядом лежала офицерская фуражка с кокардой. Я поглаживал кокарду.

Меня поражало огромное сходство между отцом и сыном. У обоих были тонкие губы и короткий вздернутый нос с широкими ноздрями, редкие волосы ёжиком и мочки, словно бесформенные куски мяса. Ногти на руках приплюснутые, квадратные.

У Гартингеров всегда пахло жареным картофелем и старым платьем, которое заказчики приносили в починку. Мать Гартингера я никогда не видел без компресса на шее, она часто останавливалась и долго, вся изгорбившись, кашляла. Но окна открывать не разрешалось.

Зато в этой комнате не было камышевой трости, ничто не напоминало о затрещинах. Не было гвоздящего страха. Ни передней с зеркалом. Ни картин на стенах, юхотящихся за человеком ночью. Ни ковра, заглушающего отцовские шаги. Ни пианино, под звуки которого надо петь «Германия, Германия».

— Вы бывали когда-нибудь на Кохельзее?—спросил я в этой комнате у старика Гартингера.

Все трое Гартингеров с горьким изумлением поглядели на меня, бывавшего на Кохельзее.

— Нам это не по карману,—сердито оборвала меня мать Гартингера,—с нас и Английского парка хватит, а если уж очень раскутимся, мы едем в Пуллах... Нашему брату...

— В этом Кохельзее ничего особенного нет. Пуллах ничуть не хуже, а может, даже лучше,—пробовал я утешить Францля, повисшего на плече отца.

— Поедем в будущем году на Кохельзее, ладно?

Эта комната у Гартингеров никогда не знала покоя, в ней жили и работали круглый год. У нас же, по крайней мере раз в году, мебель могла хорошенько отдохнуть, и стульев было гораздо больше, так что каждому из них гораздо меньше доставалось от тяжести сидевших на нём людей.

Обычно, после каникул, собираясь на переменах во дворе школы, мы рассказывали друг другу о наших приключениях. Гартингер слушал так, словно это были вести с того света. Тут мы начинали расписывать во-всю,— пусть, мол, он лопнет от зависти, этот домосед несчастный. Но по дороге домой я утешал Францля:— Не верь ты им, Францль, ничего этого не было. Без конца лил дождь. Противно, скучно, гадость одна.— И я, чтобы сделать Францлю приятное, на все лады заверял его, что это просто счастье куда-то не ездить на летние каникулы.— Самое лучшее всё-таки дома... Часами торчать в поезде... А потом как зарядят дожди... А у нас здесь рукой подать до Английского парка... Тебе можно только прозавидовать... Что может быть лучше Обервизенфельде!

Старик Гартингер спросил, что было сегодня в школе. Я ответил: — Мы прогуляли.

— А где вы шатались?

— Сначала были в Панораме, а потом смотрели «Битву под Седаном» и играли в войну.

— И вам не совестно?

Потом старик Гартингер спросил:

— А где вы взяли деньги?

Я с облегчением ответил:

— В прошлое воскресенье я украл у бабушки золотой.

Старик Гартингер сказал только:

— Ну и фруктец!

Я побренчал кучкой монет.

— И тебе не стыдно? Ну, да ладно, всё это когда-нибудь будет по-другому. Такому, как ты, трудно, конечно, вырасти порядочным человеком...

От его слов «всё будет по-другому» я испуганно вздрогнул, но ответил упрямо:

— В конце концов, мой отец важный государственственный чиновник, с правом на пенсию. Мне не о чем беспокоиться. Наш брат...

— Так-так... Ну-ну... — насмешливо произнёс старик Гартингер, **шурясь** на меня с удивлением.

**Я** с наслаждением оставил бы старику все свои деньги, но я **уже** сказал «наш брат» — теперь ничего не поделаешь. Я сразу же попрощался.

По дороге домой я соображал, куда мне спрятать на ночь всю эту кучу денег. Перед Ксавером совесть у меня была нечиста; во сне я истратил все деньги на его мундир, а на самом деле поступил совсем не так. Я не мог придумать никакого укромного местечка. А что если ночью все эти монеты забренчат. Это поднимется такой сумасшедший трезвон, что весь дом всползёт.

## Х

Вечером играло трио.

Трио играло каждую пятницу. Оно состояло из обер-пострага Нейберта, майора Бонне и отца.

Обер-пострага Нейберта я про себя звал «перуанским верблюдом». Он брызгал слюной, когда говорил. Стоять к нему близко было невозможно, его смрадное дыхание буквально захлёстывало собеседника. Поэтому, когда собиралось трио, мать всегда чуть приоткрывала окно в гостиной.

Мать готовила бутерброды. Но есть их полагалось только в перерыве. Она охраняла их. Она сидела у письменного стола и вязала.

Трио занимало гостиную.

Там стоял мольберт с портретом матери, обрамлённый зелёным тюлем.

Когда раздавались звуки трио, тюль словно отступал, и портрет просыхался: мать стояла в низко вырезанном платье и в высокой причёске, увенчанной янтарным гребнем.

Трио играло.

Моток шерсти, лежавший на полу возле матери, с каждым движением спиц откатывался всё дальше к гостиной. Спицы в руках у матери вздрагивали.

Мне разрешалось, пока не наступит время идти спать, тихо сидеть в уголке и слушать трио.

Казалось, каждый из этих трёх человек изливал себя, играя на своём инструменте. Каждый играл про то, что у него болело и что его радовало. Я заметил, что люди, когда они играют, совершенно меняются, они как бы отделяются от себя и становятся, каждый на свой лад, портретом, который можно было бы написать и поставить на мольберт. Быть может, в каждом из этих троих жил другой человек, но он редко выходил наружу, потому что ему не представлялось случая. Вот и я тоже: у Гартингеров я бывал один, дома — другой, ну просто совершенно разные люди. Тот человек, каким я бывал у Гартингеров, вытеснялся из меня дома, и я устраивал всякие пакости Христине, — Христине, которая никогда сама не съедала своего пудинга, а украдкой подсовывала его мне. А ведь Христине скоро минет пятьдесят лет. Нет, не в Христине было дело, когда я озорничал и безобразничал. В ком же тогда? К кому это относилось? Кого касалось? Кто отвечал за это?

Трио повторяло какой-то пассаж.

Обер-пострат Нейберт, глубоко уйдя в кресло, водил смычком по виолончели. Густое облако звуков окутало его. Должно быть, красивая фрейлейн Фальк впервые увидела «верблюда» в ореоле этого облака, потому-то она, верно, и решилась выйти за него замуж. Обер-пострат раскрыл рот, виолончель была его голосом, он весь был этим голосом. Руки отца колдовали на клавиатуре рояля, они всхлипывали и заливались трелями, распластывались, перекидывали дуги звуков, ударяли одним пальцем где-то там, внизу, и один этот палец поднимал глубокий рокот, пока майор Бонне не рассекал своей скрипкой весь этот массив звуков.

Трио перешло в столовую и принялось за бутерброды. Разговор зашёл о книге под названием «Йёрн Уль», все читали

её и единодушно хвалили. Но зато другая книга, названия которой я не расслышал, была расценена как просто-таки «опасная дрянь». Мне страшно хотелось, чтобы кто-нибудь подробнее рассказал об этой «дряни». Я навострил уши, но, к сожалению, о «дряни» больше не упоминалось.

— Это было бы смешно! — гремел отец. — Недаром же мы говорим: Германия завоеует мир! Багдадская железная дорога — всего лишь шаг на пути к мировому господству.

— Главное, не увлекаться! Нельзя недооценивать Англию. Нам прежде всего необходимо у себя навести порядок. Что вы скажете, например, по поводу пресловутого «культа наготы»?

Обер-пострат Нейберт тут же попытался замять свою оплошность — он упустил из виду моё присутствие — и заговорил об англо-французском союзе и об открытии Сибирской железной дороги.

— Французы ввели у себя двухгодичный срок военной службы, — попробовал было прервать этот поток красноречия майор Боннэ, но обер-пострат добрался уже до землетрясения на острове Мартинике и до восстания гереро.

— Ну и дела! — вставила, наконец, мать одну из своих любимых поговорок. У неё их была целая коллекция, вроде: «В том-то и беда!», «Хочешь не хочешь, а приходится», «Кому смех — кому слёзы» — и я всегда гадал про себя, какое из этих словечек у неё на очереди.

Я тихо спросил её из своего угла, что это за «культ наготы»?

— О таких вещах не говорят! — резко оборвала она меня.

Обер-пострат Нейберт прочёл вслух письмо, полученное им от знакомого из Юго-западной Африки.

Гереро были, видимо, ужасные люди, форменные дикари, не признававшие никакого международного права. Они устраивали засады на высоких густых деревьях и стреляли оттуда отравленными стрелами в безобидных усердных фермеров, которые только и хотят, что мирно трудиться.

«В Виндгуже десятки немецких фермеров, чьи героизм и преданность отечеству поистине изумительны, подверглись ночью нападению; гереро поджигали их дома, уводили скот, женщин... — обер-пострат запнулся, затем продолжал: — бесчеловечно истязали... Не пощадили даже бедных невинных детей. Их уволокли в качестве заложников в горы. Передо мной донесение одного купца из Свакопмунда; купца этого доставили в шатёр вождя одного из племён, якобы для допроса. Там его скальпировали, а затем поджарили на костре».

Зажаренный, да ещё предварительно скальпированный человек написал донесение: именно потому, что эти ужасы были так

неправдоподобны, я особенно охотно им поверил; я повторял про себя эту историю, словно хотел заучить её наизусть, и мало-помалу она превратилась для меня в неопровержимую действительность.

Отец ударил кулаком по столу, майор взмахнул рукой, точно выхватывая из ножен саблю.

— Наши школы по всей Германии производят сбор фольги, чтобы одеть и обратить в христианство несчастных, голых детей этих язычников, а те в благодарность убивают наших миссионеров! А всё наше проклятое немецкое добродушие...

Я правильно угадал:

— В том-то и беда! Хочешь не хочешь, а приходится,—поддержала отца мать со своего места у письменного стола.

Обер-пострат вдруг спросил меня, не отпустили ли нас сегодня из школы для сбора фольги. Он встретил на Нейгаузерштрассе двух таких сборщиков.

Руки мои показались мне вдруг лишними. Куда их девать? Я совал их то в один карман, то в другой, они нигде не находили покоя. Я складывал их на молитву, но они не слушались меня. Тогда я стал пересчитывать пуговицы: снимут мне голову или не снимут. Выходило то да, то нет,—смотря по тому, как считать. За руками и ноги — и они уже не знали, где им уместиться, а там и голова: я весь дёргался, не зная, куда девать себя.

Я наклонился, как будто затем, чтобы поднять матери её клубок шерсти, а сам закатил его под диван и полез за ним на четвереньках.

Надо мной всё стихло. Отец зашептал:

— В этом-то и сказывается плохое влияние, он потерял всякое чувство сословной чести. Как это ни непонятно и ни прискорбно, а закон отменили, социалистам вернули их партию, и в благодарность эти люди портят нам наших детей...

Голова у меня горела, как в лихорадке.

— Ты что там ищешь под диваном?

— Я ищу свою пуговицу. Она закатилась под диван,—с трудом выдавил я из себя ответ.

— Ему стыдно. Совесть, видно, не чиста,—вдохнул со струёй испорченного воздуха обер-пострат, а майор Боннэ стал рассказывать, что на полигоне в Обервизенфельде взрывом учебной гранаты ранило солдата его батареи. Я лежал ни жив, ни мёртв, но тут я пошевелился: майор Боннэ хочет помочь мне и переводит разговор на другое.

— На кого ты похож! — мать за руку вытащила меня из-под дивана. — Да-да, вот что значит не слушаться!

Обер-пострат и майор Боннэ почти одновременно повернулись к отцу:

— Ах, верно... ведь это было сегодня... «Сегодня, сегодня»,— поднялся общий гомон. Верно, это было «сегодня»,— содрогнулся я, и «сегодня» мурашками побежало у меня по телу.

Обер-пострат Нейберт встал и подошёл к отцу:

— По вас, однако, ничего не скажешь. Видно, вам это только на пользу. Поздравляю!

Майор Бонне отвёл глаза в угол.

Мать подтвердила со своего места у письменного стола:

— Да, сегодня в пять часов он уже был на ногах!

Я стоял в смущении посреди комнаты и стряхивал пыль со штанов и куртки. Потом стал вертеть пуговицу, пока совсем не оторвал.

Майор повернулся ко мне:

— Выше голову! Мужайся!

Он сказал это так, точно перед ним был обезглавленный.

Как сделать, чтобы это стало вчера или позавчера? Завтра?.. Послезавтра?.. Лишь бы не было этого «сегодня»! Как избавиться от этого «сегодня»?

— Что? Так поздно и ты ещё не спишь?— Мать посмотрела на часы. Я мог, наконец, сказать «спокойной ночи».

## XI

Глубокая ночь. Кучка монет выросла в целую гору, в касках с султанами неслись по ней баварцы. И снова монеты плясали вокруг меня в мерцающем хороводе... Висели на ёлке. Ангелом сверкал на верхушке десятимарковый золотой... Сначала звенели в лад, как куранты, а потом залязгали и задрезжали так, что хоть вон беги. Окна распахнулись. Все показывали на меня. Я стоял посреди кружащегося роя монет. Опять играло трио.

Отец ударял по клавишам. Я был под его ударами. Передавал эти удары Гартингеру. У Гартингера они так и оставались. Он не мог никому передать их...

Мать со спицами в руках стояла тут же и жаловалась:

— Когда я рожала его, по Гессштрассе проходил эскадрон с прищем Альфонсом во главе... А ведь ему скоро восемь лет... Одно лишь горе и заботы... Стыд, да и только...

Что это, Страшный суд? Секреты мои разложены передо мной, на каждое моё враньё заведено юсобое дело, и папка раскрылась, и теперь весь мир её видит.

Мимо меня, прощаясь со мной, тянулось целое шествие. Весь наш класс с учителем Голем впереди. Ученики одеты, как для конфирмации, у некоторых в руках свечи. Голы в сюртуке и цилиндре, с тростью на плече. Фек и Фрейшлаг радовались, плевали в меня и показывали язык. Гартингер прошмыгнул мимо,

не оглядываясь, до того он боялся: «ничего не поделаешь...» Едва я увидел Францля, как рот мой судорожно раскрылся, словно на Страшном суде меня обрекли до скончания веков ловить ртом все монеты, которые посятся по вселенной. За Гартингером прошёл Ксавер со своей гармонью. Но как он ни растягивал её, как ни нажимал на клавиши, гармонь не издавала ни звука.

Я попробовал выхватить огромную саблю Ксавера, тащу её из ножен, тащу, смотрю, а в руках у меня изломанная молния,— вспыхнув, она, под громовые раскаты, словно по громоотводу, скользнула назад в ножны.

Мать, та, что на мольберте, показалась из гостиной, подошла к матери со спицами, обе матери были «против», они сговорились и пошли к отцу.

Отец сказал только: — Я свой долг выполню.

Обе матери были «против» и плакали.

Жучки и бабочки, которых я накальвал на булавки или сжигал, и оловянные солдатки, которых я убивал, когда играл в войну, закивали отцу, отец перешагнул через обеих матерей, стоявших перед ним на коленях:

— Я всегда на страже закона!

Старик Гартингер хотел что-то сказать, но рот у него не открывался. Суровый взгляд отца накрепко закрыл ему рот.

Бабушка ушла на кухню варить шоколад. Шоколад распространял чудесный запах.

— Ну, какое у тебя последнее желание?—спросила она.— Ты имеешь право пожелать себе что-нибудь... Может быть, суп с гренками или голубцы...

Передо мной опять промелькнули пуговицы на мундире Ксавера; они поблескивали в бабушкином старинном шкафчике,— а не золотые ли это?!

Христина, под руку со своим фельдфебелем, стояла на балконе, празднично убранном лампами, посреди гигантской панорамы «Битва под Седаном»; оба они смотрели на Страшный суд. Я попросил Христину сесть возле меня. Но она не сошла со своего балкона. Она ничего не могла поделать. «Наш брат...»

Прискакал майор Бонне и отдал команду.

Батарей дала залп. Мы в церкви Богоматери под колокольный звон и мощные звуки органа пропели хорал: «Господи, пошли нам новую жизнь!»

Потом меня заставили прочитать стихотворение «Луч солнца вывел всё на свет».

Кружит над плахой вороньё,  
Чтоб справить пиршество своё.  
Кто вздёрнут здесь и отчего?

И кто открыл вину его?  
Луч солнца вывел всё на свет.

Я лежал на доске связанный. Я был грабитель Кнейзель. Вокруг меня со всех сторон стоял отец. Голова моя свесилась вниз.

Обер-пострат Нейберт, «перуанский верблюд», схватил топор и давай рубить. Ледяная струя воздуха резнула меня по затылку. Учитель Голь велел всему классу в такт хлопать в ладоши.

С каждым ударом раздавалось «дзинь!», и непрерывно дребезжало вдали «дзинь» поминального колокольчика. Чьи-то взгляды устремились на меня из глазков, у меня была сзади коса, и кто-то дымил мне в лицо сигарой. А на ютце был пробковый шлем...

Обер-пострат Нейберт, палач, уже обливался потом, он снял сюртук и рубил в юдной сорочке, обдавая меня смрадным дыханием.

Казнь тянулась долгие часы...

У меня болел затылок. Сидя на кровати с низко опущенной головой, я сжимал в руке монеты, которые я в забытьи выгреб из-под подушки...

Теперь я знал всё.

Отец, этот любитель вставать спозаранку, отрубил голову Кнейзелю. «Верблюд» накрыл нас, когда мы шатались по улицам в часы школьных занятий. Теперь все это знают. Знают всё. И то, что я обокрал бабушку.

Всё дело в отметке.

«Человек, который получает плохие отметки...»

До ужаса непреклонно стоял передо мной отец.

Я смотрел сквозь отца. Встер шевелил его усы, как сухой кустарник на широкой равнине, а там, на краю света, стены, стены, стены, и в них ряды зарешёченных окон.

Я молил из тьмы:

— Избави нас от лукавого. Пошли нам новую жизнь! Амины!

## XII

Одним движением учитель Голь положил его.

Это была первая парта, чернильница стояла открытой. Феку и Фрейшлагу пришлось встать и выйти из-за парты, чтобы держать Гартингера за ноги. Он не сопротивлялся больше. Мне велено было держать его голову и пригибать её книзу.

Штаны у Гартингера были спущены до колен.

Класс замер. Все смотрели в одну точку. Руки, с опущенными

вниз большими пальцами, лежали на партах попарно, как приклеенные.

Географическая карта натянулась и плотно прилипла к стене. На дворе блистала весна.

Окна были закрыты. Их матовые нижние стёкла вместе с голыми серыми стенами создавали впечатление подземного каземата, и от этого перехватывало дыхание и в страхе замирало сердце.

— Ну-с, долго ещё ты будешь упорствовать?

Голь с треском распахнул шкаф и стал шумно искать камышевую трость.

Я чуть отпустил голову Гартингера, которую мне полагалось гнуть книзу. Гартингер поднял голову. Глаза у него помутнели и выкатились. Я видел такие глаза на рынке у уснувших рыб.

В животе у него урчало.

Сорочка, завёрнутая на спине, была из суровой, грубой ткани, похожей на отсыревшую обёрточную бумагу. Быть может, большее всяких ударов было то, что весь класс видел, какая на нём дешёвая, плохая сорочка.

— Скажешь ты или не скажешь?

Голь подошёл ко мне и приказал ещё ниже пригнуть голову Гартингера, свисавшую за край парты. Феку и Фрейшлагу он сделал знак тростью — крепче держать ноги. — Как в тисках!

Камышевая трость согнулась дугой так, что оба конца её сошлись, и распрямилась со свистом.

Я ещё не проснулся, я всё ещё грезил ужасами минувшей ночи. После собственной казни меня заставили присутствовать на этой новой казни, и мне казалось, что эта казнь — сон, а та, что была во сне, совершена на самом деле.

Вдруг я заметил, что на куртке у меня нехватает пуговицы, которую я накануне своей казни оторвал. Пуговица лежала в кармане штанов. Я быстро ощупал её, и то, что это была настоящая пуговица, круглая и гладкая, в какой-то мере вернуло мне ощущение того, что я не умер.

— Признаёшься ли ты, Гартингер, что именно ты задумал прогул и что именно ты научил Гастля украсть деньги?

Этот вопрос, заданный с яростью, ещё больше вернул меня к действительности, я только теперь почувствовал, что держу голову Гартингера и что она холодная и липкая.

В животе у Гартингера заурчало, и это было как бы ответом на вопрос Голя.

— Раз! Два! — Голь поднял трость, словно дирижёр, и все раскрыли рот, как на уроке пения.

Голь отступил на шаг.

— Это я подговорил его, господин учитель, я, я, я! — На этом «я» голос у меня сорвался, и получилась какая-то икота,

«Мужайся,— уговаривал я себя,— ведь ты хочешь стать генералом!»

Трость повисла в воздухе.

В классе стало ещё тише. Мне показалось, что в животе у Гартингера заурчало веселее. Я выпустил голову Гартингера, Фек и Фрейшлаг отпустили ноги Францля, ноги дёрнулись вбок и подскочили вверх.

— Молчать! Держать ноги! Голову вниз!

Было уже так тихо, что становилось невмоготу. Прав был Голь, scomандовав «молчать!»,— тишина эта страшно кричала.

Мы подступили к Гартингеру, точно прислуга к своему орудию.

— Твоя готовность вступить за товарища, Гастль, делает тебе честь, но ему ничего не поможет, нас не проведёшь.

Кто эти «мы», которых не проведёшь? О ком это говорит Голь?

Посыпались первые удары.

— Виноват я, я один! — крикнул я ещё раз при виде полос, которые трость оставляла на теле Гартингера.

— Молчать! Считайте хором!

Класс считал:

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать.

Голь всех вовлёл в это дело, я оказался один против всего класса, и это парализовало моё сопротивление.

Одна половина моего существа отпускала голову Гартингера, другая крепко держала. Что-то во мне говорило: «Свинство!» Что-то: «Ты должен! Ничего не поделаешь!»

Удары хлопали. Как во сне, во время казни, когда ученики в такт ударам топора хлопали в ладоши.

— Гуль-гуль,— клокотало что-то в горле у Гартингера, словно он вот-вот харкнет кровью.

— Обелиск! Пропилен! — зашептал я, наклонившись к его уху, и снова пригнул ему голову, наощупь похожую на примятый резиновый мяч.

С некоторых пор мне казалось, что есть слова, способные делать человека нечувствительным. Их нужно лишь повторять про себя несколько раз подряд. И чем они бессмысленнее, чем неуместнее, тем скорее и лучше они оглушают, вызывают в человеке оцепенение, полное безразличие.

— Обелиск! Пропилен!

А может быть подёргать его за уши, и боль, сосредоточенная в одном месте, равномернее распределится по всему телу?

Чернила в чернильнице колыхались.

— Двадцать пять!

Часть класса пропела это, точно ликуя, точно готовая захлопать в ладоши, другая же часть к концу всё замедляла счёт,

а «двадцать пять» и вовсе не сказала, словно хотела бы растянуть наказание навеки.

— Двадцать пять! Францль, двадцать пять! — обрадованно шептал я ему на ухо, он, наверное, позабыл считать, как это было со мной под Новый год, когда я, испуганный поднявшимся трезвоном, забыл считать удары башенных часов.

Я потирал руки, они были липкие и влажные.

Мне очень хотелось осмотреть трость, такая же ли она, какая была до порки, не нужно ли ей, прежде чем её снова пустят в дело, сначала поправиться. Вид у трости был больной и утомлённый, она явно осунулась и похудела.

Гартингер застегнул штаны. Я помог ему заправить в них сорочку.

Его лицо, помятое и испачканное, носило на себе следы ударов, от которых тело его вздулось полосами. Я хотел обмыть ему лицо губкой, которой стирают мел с доски, но учитель не позволил: — Пускай все видят, что его высекли.

— Я не сержусь на тебя, — сказал Гартингер, когда мы возвращались домой. — Так уж оно водится.

— Что так водится?

— Сам знаешь.

Больше он ничего не сказал. Я осмотрел его сзади, хорошо ли заправлена в штаны рубашка.

— Ты всё-таки сердисься?!

— Нет, оставь меня!

Он так и не умыл лица. У него был неприличный вид, — «неаппетитный», — сказала бы мама, но он не заслонял лицо руками и открыто нёс его через весь город.

Что-то встало между нами. Что-то неотступно следовало за нами и мешало нашим взорам встретиться, мешало нам прикасаться друг к другу. Когда я взглядывал на Гартингера, он отворачивал голову. Я старался коснуться его локтем, но он во-время отстранялся. Быть может, я стал ему противен, оттого что видел его голый зад.

— Тебе ещё больно?

Гартингер отвернулся.

— Оставь меня! Слышишь?

— Я хотел только знать... Ах, Францль, какая страшная ночь... Мне это приснилось, а с побой сбылось...

Гартингер остановился. Мы были далеко друг от друга, словно стояли на отдалённых горных вершинах. У Гартингера просилось на язык какое-то слово, но он проглотил его. Он перешёл на другую сторону. Я побежал за ним.

— Ты что, собака?

Я не обиделся.

— Не можешь один ходить?

— Ты не желаешь больше со мной дружить, Францль?

Нужен разве он мне? Да, он мне нужен. Не найду я себе разве другого товарища? Нет, лучшего мне не найти... Пара он мне разве? В один миг я сравнил его отца со своим. Ну, и дурак же я! Пусть будет благодарен, что я вожусь с ним. Дурак я, что бегаю за ним!

— Дурак я, что бегаю за тобой! Наш брат... — Я выпрямился и выпятил грудь.

Опять он что-то проглотил.

Поколотить его, что ли, а то он сейчас убежит?! Надо вытащить из него то, что он проглотил.

— Вот погоди! — пригрозил я.

Он вдруг заговорил: — Ты... ты...

Как привязанный, шёл я за ним до самого его дома.

— Ну, скажи же, если не трусишь, скажи! Эх, ты... недокормыш!

Гартингер посмотрел на меня, словно мерил меня взглядом.

Далеко ли я стою и какого я роста, — вероятно, он и ещё что-то во мне мерил, — его взгляд был холоден и пристален.

Я открыл рот, чтобы схватить на лету это слово.

— Ты... Ты...

Всё во мне раскрылось, чтобы схватить его на лету.

«Хотя бы руками заслониться! Прикрой лицо», — хотел я сказать ему, но он уже плюнул в меня этим словом.

— Палач...

Я захлопнул рот.

Францль исчез в полумраке подъезда.

### XIII

Отец сидел за письменным столом. Он сделал матери знак выйти из комнаты. Мать закрыла дверь в гостиную и осталась.

Отец сидел согнувшись, словно опираясь на костыли.

— Почему ты всё убегаешь от нас? — сказала мать, она сделала шаг ко мне.

— Не убегай от нас! — сказал отец и тотчас же замолк. И мать молчала. У обоих словно сдавило горло.

«Обелиск... Пропилеи!.. Картофельно-капустно-огуречный салат».

Я весь напряжился, теперь я не почувствовал бы удара. Мне даже хотелось, чтобы меня ударили.

История с Кнейзелем была уже известна всему классу. Каж-

дый считал своим долгом расспросить меня; но я был слишком расстроен, чтобы сочинить великолепное описание казни; в другое время это, конечно, не составило бы для меня труда. Я, что ли, отрубил голову Кнейзелю? Я, что ли, отец? Какое мне до него дело! Но все толпились вокруг меня, почтительно и в то же время робко, словно отец, любитель вставать спозаранку — это я. Фек и Фрейшлаг даже завидовали мне. Фек хвастал, будто бы его дядя тоже спровадил одного человека на тот свет. Но этого дядюшку оправдали, так как он своевременно раздобыл себе охотничье свидетельство... Меня наградили кличкой, от которой мне так скоро не избавиться. Хорошо бы рассказать всё отцу и спрятать голову у него на груди.

— Вернись к нам! — молила мать.

Но губы мои были точно скованы, я не мог пошевелиться.

Отец сдвинулся почти на самый край кресла, точно собирался опуститься передо мной на колени. Он казался стареньким и слабым.

Я готов был уже подойти и поцеловать его, но он вдруг выпрямился в своём кресле и стал перебирать какие-то бумаги. В то самое мгновение, когда я, смягчённый, потянулся к нему, он возьми да и скажи: — Добром тут ничего не сделаешь.

Мать положила мне руку на голову.

— Десять марок — это много, много денег. Чтобы их заработать, отцу нужно бог знает сколько трудиться, а я не позволяю себе даже в трамвай сесть.

Я посмотрел в сторону гостиной, где стоял на мольберте портрет матери. Дверь была закрыта.

Смеркалось. Никому не хотелось зажигать лампу. Мать притаилась в углу, отец продолжал в темноте перебирать бумаги.

— С этого начинается. Сперва приносят домой плохие отметки, обворовывают бабушку, пропускают уроки, а кончается всё это эшафотом... Скандал!.. Не думай, что я шучу. Я своими глазами видел, что переживают приговорённые к смерти... Мне не до шуток... До казни я каждый день захожу к ним в камеру. К ним приставляют надзирателя, чтобы они в последнюю минуту не покончили самоубийством. И я должен сказать тебе, что даже самый крепкий из них — и тот ревёт, как маленький ребёнок. Их трясёт от страха, от совершенно безумного страха, и в день казни ни один не может сам взойти на эшафот... Если ты и впредь будешь себя так вести, ты всё это на собственной шкуре испытаешь... Смотри ж, я тебя предостерёг, ты докатишься до этого, если немедленно не порвёшь с Гартингером. Скандал!.. В последний раз дружески советую тебе: одумайся, пока не поздно...

Всё время, пока отец говорил, мне казалось, как будто он щеко́чет меня в темноте своими закрученными вверх усами. Я вспомнил про наусники, которые он носил по утрам до самого ухода из дому. Подумав о наусниках, я невольно вспомнил лицо его, когда он брился. Он долго и тщательно мылил щёки, прополаскивал кисточку и вторично мылил, до тех пор, пока щёки не покрывались ровным слоем пены. Тогда он поджимал губы, склонял голову набок и подносил к лицу бритву, благоговейно смотря в зеркало. Потом снимал пенсне и шёл умываться; в эту минуту лицо его казалось кротким, почти беспомощным. Было время, когда я с восторгом следил за тем, как ловко отец орудует острым лезвием, ухитряясь ни разу не порезаться, а теперь я внутренне потешался, когда мать поднимала вокруг этого столько шума. «Тише, отец бреется... Христина, закройте кухонную дверь, мой муж бреется... Ах, кто это там звонит, когда мой муж бреется...»

Я живо припомнил всё, что делало отца смешным.

Вот, в длинной ночной сорочке с разрезами по бокам, в ночных туфлях и с газетой в руке отец отправляется утром в уборную. Мысленно я ещё напялил на него ночной чепец матери.

Вот, подталкивая велосипед и подпрыгивая на ходу, отец силится забраться в седло, и даже прохожие смеются и останавливаются поглазеть на это зрелище.

Раз в неделю отец отправлялся поплавать в Луизенбадский бассейн. Сначала он принимал «комнатный» душ, затем осторожно переводил его на «холодный», после этого отправлялся в мелкий бассейн, плескал себе воду на грудь и на голову и нырял, заткнув уши пальцами. Четыре раза он проплывал вокруг большого бассейна, потом, отдуваясь и стряхивая с себя воду, вылезал, ещё раз становился под холодный душ и, наконец, подставлял спину банщику, ожидавшему его с большой купальной простыней.

Совсем стемнело, в комнате ни шороха. Все спрятались друг от друга в темноту. Но тебе не запугать меня, Чёрный человек! Вот захотел я, и по улице уже проходит гвардейский пехотный полк, гремит военный марш, впереди реет светлое знамя...

— Можно зажечь лампу? — решаюсь я, наконец, нарушить молчанье. В душе у меня что-то хихикало: скандал!..

Мать зашуршала у себя в углу.

— Сначала ты попросишь прощенья.

— Прошу прощенья! — сказал я так, как говорят «приятного аппетита», и зажёл лампу.

Родители молчали. Лицо у матери было заплаканное. «Видно, и руки у матери плакали», подумал я,—такие они были красные.

За столом сидели в полном безмолвии. Ножи и вилки скрещивались в воздухе. Тарелки, казалось, сделаны были из воздуха. Стулья парили в воздухе. Молчанье проникало и в кухню. Христина молчала.

— Ты разве не придёшь ко мне сегодня посидеть перед сном у постели? — Тс! Тс! — шикала она и прикладывала палец к губам. Я заглядывал в её каморку, уж не забыла ли она вставить свою искусственную челюсть. Нет, стакан на её ночном столике стоял пустой. Что бы я ни делал, я натыкался на молчанье. Я до крови расшибался о молчанье, расшибался до крови и молчал.

Крадучись, шёл я в гостиную, чтобы проведать портрет матери, стоявший на мольберте. Бережно отодвигал зелёный тюль, обрамлявший портрет венком. Я молча ждал. Но и портрет матери, этой девушки из дурлахской аптеки молчал. Длинные ресницы у моей мамы, и взгляд её из-под этих ресниц вопрошающе устремлён вдаль. Тихонько провёл я пальцем по её губам, словно хотел открыть их.

— Не молчи,—молил я.—Ведь ты против.

Тюль опустился на портрет и закрыл его. Окутал светозелёным облаком.

— Ты что тут делаешь? — Мать со спицами стояла на пороге.— Забыл, что в гостиную входить нельзя?

Дни молчали.. Я топал ногами, опрокидывал стулья, хлопал дверьми. Молчание сгущалось. Все словно ходили на цыпочках.

Как-то ночью я услышал, как мать крикнула:

— Это у него не от меня!

Чья-то рука зажала ей рот.

Наутро, перед тем как мне итти в школу, мать заперлась со мной в моей комнате.

— Теперь-то я тебе покажу!

.Она ударила меня по щеке.

— Отец вне себя...

Она растерянно озиралась по сторонам. «Ведь я знаю, мама, что ты против...» — но я молчал, я не хотел выдать свою тайну. — Я тоже против,—безудержно разрыдался я. Её губы расцвели, глаза засветились, она поцеловала меня в ту щёку, которая ещё горела от пощёчины. Я прикрыл щёку рукой, точно мог удержать на ней мамин поцелуй. Она быстро вышла из комнаты. За завтраком она сидела возле меня и мазала мне масло на хлеб.

Я долго кружил вокруг старого дома на Галернштрассе, где жила бабушка, прежде чем подняться по лестнице. В руках у меня был букетик незабудок,—мать сама дала мне на него денег.

Опустив цветы в стакан с водой, я поставил их на старинный шкафчик, а рядом пристроил свою картинку, нарисованную специально для бабушки. Я долго думал, чем бы мне порадовать бабушку, и решил нарисовать картину, потому что бабушка сама рисовала. Она копировала картины старых мастеров в Пинакотеке, выставляла эти копии в Зеркальном дворце, и время от времени у неё покупали их богатые американцы, проездом останавливавшиеся в Мюнхене.

Чтобы радовать, картина должна быть прежде всего яркой, все краски из ящика надо пустить в дело. Сияет солнце, и луна и звёзды проглядывают на густосинем небе. Холмы и луга надо щедро осыпать цветами; тут же — река, мост и радуга. Само собой разумеется, что на горизонте высятся горы. — Как живописно! — похвалялся я сам себя. И вдруг спохватился, что позабыл представить животный мир: лошадь, корову, слона, лебедя и свернувшуюся кольцом змею. Сбоку напрашивался дом с балконом, ах, я чуть было не забыл на дороге, которая по цветущему лугу вела к мосту, нарисовать людей, гуляющих в одиночку или группами, в высоких или круглых шляпах, с зонтиками или палками в руках. Картина, изображавшая радость, требовала всё новых добавлений. Мне хотелось прибавить ещё гармонь Ксавера, но получилась бесформенная клякса, — все краски слились в одну. Картинка была бы не закончена, не будь на ней нескольких солдат с пушками. А не поджечь ли мне дом с балконом, — прикидывал я, — тогда получилось бы как будто сражение. На всякий случай я на мосту уложил одного убитого.

«А иначе никто не поверит — слишком уж много радости!» — и в последнюю минуту я решил стереть падающий с горы поезд.

Внизу я подписал: «Радость», а в углу нацарапал: «Воровать больше не буду. Прости меня».

Полуоткрытый старинный шкафчик подмигнул мне блеском своих золотых. Я с большим трудом удержался, чтобы не потянуться за монетой.

Когда бабушка вернулась из кухни с шоколадом, она очень обрадовалась, увидав на шкафчике незабудки и картинку.

— Вот как: «Радость»? — сказала бабушка, остановившись перед картинкой. Я растолковал ей, какие радостные вещи здесь изображены. — Но война сюда никак не подходит, — заметила бабушка; прочитав каракули в уголке, она сказала: — Ну, конечно, ну, конечно...

Я положил на стол остаток украденных денег,— так велела мама. Несколько монеток я все-таки оставил себе, но с намерением не тратить.

Как только бабушка за чем-то вышла, я опять стал быстро забирать со стола монеты, пока там не осталось всего несколько пфеннигов. Потом снова нерешительно вытащил из кармана сначала пять пфеннигов, затем десять и ещё монету, и ещё, и стал класть их обратно. Кучка монет таяла то на столе, то в кармане. Меня мучило это непрерывное даю-беру, деньги как будто играли со мною. Я пересчитал их и половину оставил на столе. Половину, это правильно. Почему правильно, ведь половина — это не всё, много денег уже истрачено. Но я всё-таки порешил на половине.

Эти монеты, которые я чувствовал у себя в кармане и нежно прижимал к ноге, были точно револьвер в кармане у майора Боннэ. «Револьвером,— думалось мне,— можно, если хочешь, проложить себе дорогу в мир. Монетки в пять и десять пфеннигов, на которые можно купить, что хочешь, и никого это не касается,— тоже делают человека независимым».

Я сидел на мягком бабушкином диване и пил шоколад. Бабушка, не считая, сунула деньги в портмоне.

— Как это можно, взять и обезобразить красивую картинку, намалевав на ней войну! Ведь война — это нечто отвратительное, ужасное...

— Я же хочу быть генералом, бабушка, и папа согласен.

Ну-ка, что скажет на это бабушка?

— Лучше бы люди научились мирно разрешать свои споры.

— Но это ужасно скучно. Ведь самое интересное — драка.

— Уж не твой ли приятель Гартингер учит тебя таким вещам? — сердито спросила бабушка.

Я промолчал.

Бабушка взяла кисточку, смыла с моста убитого и покрыла яркой синей краской солдат и пушки. Синее небо опустилось на землю и расцвело на ней полем, усеянным васильками.

— Прежде всего брось эти опасные прогулки. Успеется. К хорошему они сейчас не приведут.

— Я больше не буду затевать опасные прогулки, бабушка, — обещал я, хоть мы с ней и говорили на разных языках: ведь она так же не любила войну, как и Гартингер.

Так спокойно мне было здесь, такое всё было здесь ладное и уютное, что моя дружба с Гартингером представилась мне полнейшей нелепостью. Теперь я уже был твёрдо убеждён, что Гартингер меня всему научил. Конечно, он виноват, он зачинщик. Почему Голь сказал: «Нас не проведёшь»? Он, наверное, вместе с отцом и полицией собрал точные сведения. Скандаль..

Так ему и надо! Я вытер руки, словно к ним прилипли волосы Гартингера. Пусть, пусть ловит открытым ртом монеты... Всю свою жизнь... Я стою на страже закона... Да и что я в нём нашёл такого? Этот его потёртый ранец, сухой хлеб, который он ест на большой перемене, дешёвый костюм, плохонькое зимнее пальтишко... Он лежал передо мной с задранной сверху рубашкой, и в животе у него урчало... То ли дело я! Чем плохи мои родители?! Отец у меня важный государственный чиновник с правом на пенсию. Мне не о чем беспокоиться... Я погладил плюшевый диван. Не бойся, нет, «он» на тебя не сядет! И кружевную салфеточку я бережно расправил, точно одной своей мыслью о «нем» я привёл её в смятенье.

Вдруг старинный шкафчик отодвинулся от стены и стал передо мной посреди комнаты, овеянный тайным вожделением.

Я закрыл глаза.

Шкафчик был прозрачным.

В хрустальном ящичке плавали блестящие золотые.

## XV

«Палач» — прозвали меня.

Это произносили шопотом, шушукаясь, никто ещё не решался вымолвить это вслух. «Палач» — вырезано было на моей парте. «Палач» — доносилось из-за угла, когда я бродил по коридору. «Палач» — красовалось на доске большими буквами. «Палач» — хихикнуло за моей спиной, когда я хотел стереть это слово с доски. Я повернулся и почувствовал, что класс, хотя он и сидел на партах, точно пригвождённый, в страхе отпрянул назад. Я оставил на доске это слово: «Палач».

Я подружился с Феком и Фрейшлагом — каждый из них, так же, как и я, хотел стать генералом.

Коренастый, приземистый Фек был завзятым драчуном, — его все боялись. Глаза навывкате и широкий расплзающийся рот, — у Фека пасть, как студень, говорили мы, — придавали ему сходство с лягушкой. Он не носил ранца, ходил с портфелем, уверял, что бреется, и хвастался папиросами в золотом портсигаре. В субботу под вечер он встречался с девочками в Английском парке, говорил об этом намёками и напускал на себя важность. Он носил кольцо и, пока ему не запретили, ходил по воскресеньям в церковь с тросточкой. Он с матерью лишь в прошлом учебном году переехал в Мюнхен из Кельна. Мать его развелась с мужем. «Несолидная особа», — отзывался о ней отец, познакомившись с ней как-то на приёме у Голя. На Фека трудно было угодить, он встретил гримасой мой матросский костюм, и даже моё новое

драповое пальто, купленное у Фрея на Мафейштрассе, ему не понравилось.

Фрейшлаг, барон фон Фрейшлаг, был на голову выше меня. Самый сильный в классе, он был первым на уроках гимнастики. Как и Фек, он помадил волосы и душился. Его отец был ротмистром и командиром кавалерийского эскадрона.

Неразлучные приятели, Фек и Фрейшлаг, так обработали часть класса, что мальчики безропотно подчинялись им. Фек открыто бахвалился своей грубостью и коварством. Кто не выполнял его приказа, состоявшего большей частью в том, чтобы напакостить кому-нибудь из «непокорных», тот «привлекался к ответственности». Прежде всего, Фек читал своей жертве «проповедь». Затем долго выбирал способ, как помучить провинившегося да подольше растянуть эти муки. Прищурившись и облизывая уголки рта, он изливал на голову своей жертвы потоки бранных слов, в изобретении и подборе которых не знал себе равных.

Фрейшлаг, наоборот, был скор на руку и ставил себе это в заслугу: — Я этих штук не люблю. У меня расправа короткая.

Друг другу они старались не мешать. Достаточно было кивка: «Не суйся не в своё дело!» — и один из приятелей немедленно отступал. Если на них жаловались учителю, оба упорно отрицали свою вину. Фрейшлаг шумно возмущался, Фек изображал невшанность, возводил глаза к небу и в ужасе мотал головой. Незаметно перемигнувшись, приятели сваливали вину на третьего, причём Фек с такими подробностями, так красочно и точно описывал сочинённый им тут же случай, что учитель начинал ему верить, — так выдумать, казалось, невозможно. Достигнув своей цели, Фек открыто хвастал тем, как он ловко солгал; если же учитель уличал его во лжи, он снова отпирался. Чтобы выведать чей-нибудь секрет, он давал честное слово, что будет молчать. Но стоило мальчику проговориться, как он поднимал его насмех: — Стану я молчать, как бы не так! — Мальчики без конца попадались на его хитрости, — очень уж он ловко умел подъехать, рассказать кучу анекдотов, показать фокус, выкинуть сносшибательный номер, скорчить гримасу, а многим к тому же нравился его неместный акцент.

Родители мои неоднократно требовали, чтобы я дружил с Фрейшлагом. Против Фека они тоже ничего не имели, несмотря на впечатление «несолидности», которое производила его мать. По сведениям отца, Фек принадлежал к богатой купеческой семье.

Для «непокорной» части класса признанными главарями были Гартингер и я. Мой разрыв с Гартингером и дружба, заключённая с Фрейшлагом и Феком, положили этому конец. «Тройка» не терпела ни малейшего сопротивления, она неограниченно вла-

ствовала в классе. С несколькими особенно безропотными приверженцами мы образовали шайку душ в двенадцать, но именовались попрежнему «тройка». С Гартингером никто не дружил, ни один человек не осмеливался заговорить с ним в школе или вместе пойти домой. Фек и Фрейшлаг склонны были не трогать его, но я изо всех сил натравливал их на него и советовал как следует взять в работу. Так как я хорошо знал Гартингера, то дело это мне и поручили.

Прежде всего я от имени тройки приказал Гартингеру ежедневно, ровно в половине восьмого, ждать нас за Глиптотекой: он обязан был помогать нам готовить уроки. Мы изобрели целую систему жестов, чтобы Гартингер мог подсказывать нам, когда нас вызывали. Теперь он отвечал за наши отметки. Для того чтобы он не отбился от рук, мы на уроке гимнастики, когда очередь на турнике доходила до него, убирали подстилку, и он каждый раз кренко шлёпался на пол. Однажды мы рассыпали по полу пистоны-хлопушки. Учитель требовал, чтобы виновный сознался. Мы взглядами заставили Гартингера выступить вперёд и взять вину на себя.

Почти ежедневно о Гартингере сочинялась в классе какая-нибудь новая басня. Сегодня — будто отец у него пьяница и бьёт свою жену, — скандал! Завтра — будто от Гартингера воняет, нет сил стоять с ним рядом, — безобразие! — У нас были и другие неимущие ученики, но, стараясь выслужиться перед нами, они больше нашего допекали «медокормыша».

Отец и мать радовались хорошим отметкам, которые я теперь приносил домой, и приписывали это, главным образом, тому обстоятельству, что я порвал с Гартингером и не нахожусь более «в дурном обществе». Мать по секрету сообщила мне, что если я выдержу экзамен в гимназию, отец сделает мне на каникулы сюрприз. Христина назвала меня однажды «ваша милость».

В эту пору произошло событие — чудовищный скандал! — взбудоражившее не только нашу школу, но и общественное мнение всего города. Ученик одного из младших классов покончил самоубийством, бросившись с Гроссгесселюэского моста. Прохожие останавливали нас на улице: «Скажите, вы не из той школы, где учился Доминик Газенэрль, который бросился с моста? Вы его знали?» Нет, лично мы его не знали, но это не умаляло нашей гордости от того, что мы учимся в такой знаменитой школе. Газеты помещали целые статьи о самоубийствах среди школьников и, в частности, сообщали, что покончивший с собой ученик, сын неимущих родителей, был доведен до самоубийства возмутительной травлей, которой он подвергался в классе. Началось расследование. В похоронах должен был принять участие

весь класс, и самоубийце не было отказано даже в церковном отпевании.

Хоронили мальчика на старом Швабингском кладбище. Под зауспокойный звон шестеро учеников старших классов на руках вынесли из морга небольшой гроб, и вся школа, по классам, двинулась за ним. Фек, Фрейшлаг и я шли рядом, Гартингер шёл последним. Перед нами плыл венок, и на развевавшейся на ветру ленте красовалась надпись: «Нашему незабвенному школьному товарищу Доминику Газенэрлю».

Когда запели хорал, Фек ущипнул меня за ногу и вместо молитвы стал распевать ругательства и сальности, на все лады коверкая имя «Доминик Газенэрль». Каждый должен был бросить на гроб лопату земли. Когда очередь дошла до Гартингера, Фек, стоявший за ним, незаметно толкнул его, и от испуга Гартингер выронил лопату. Фек возмущённо оглянулся, словно это его самого толкнули. Мы с трудом удержались, чтобы не прыснуть со смеху.

По дороге домой мы повели на Гартингера атаку. По знаку Фека все трое начали хохотать: — Ха-ха-ха! — Умрёшь со смеху! — кривлялся Фек, приплясывая перед Гартингером. Гартингер затыкал уши и пытался убежать от нас. Тут Фрейшлаг поднял его и понёс, как гроб. Это была игра в похороны. Я в роли священника шёл впереди и бубнил молитвы. Фек следовал за гробом, изображая траурную процессию. Только на Терезиенштрассе, перед домом, в котором жил Гартингер, Фрейшлаг торжественно опустил его, а Фек дал «гробу» такого пинка, что тот живо вскочил на ноги и понёсся вверх по лестнице.

## XVI

У отца с матерью завелась тайна. С тех пор как бабушка вернулась из Лейпцига, куда она ездила к дяде Карлу, не проходило дня, чтобы у нас не собирался семейный совет. Дядя Оскар, лейб-врач принца Альфонса, чуть не каждый день приходил с бабушкой к обеду.

В эти дни Христина подавала мне обед в мою комнату, а я пальцем о палец не ударял при этом. — Так оно полагается, — говорил я себе, развалиясь в кресле, словно между Христиной и Гартингером было что-то общее и словно они заключили против меня союз.

Иногда же, наоборот, я старался помочь ей и всячески лебезил перед ней, чтобы выведать у неё то, что все от меня скрывали, но она только прикладывала палец к губам: — Тс! Тс! — и сокрушённо вздыхала: — Господи Иисусе... Бедный господин Карл... Ох-хо-хо!

Дядю Карла я знал хорошо. Он служил адвокатом в имперском суде. Однажды он подрался на дуэли и потом целый год просидел в крепости Пассау. Дуэль произошла из-за какой-то любовной истории, героиней которой была танцовщица, по имени Мария Ирбер. Когда я был маленьким мальчиком, дядя Карл катал меня верхом у себя на коленях, он знал множество неприличных слов. Они с отцом были членами одной и той же студенческой корпорации. Отец подготовил дядю к государственным экзаменам, а другие корпоранты исхлопотали ему службу в Лейпциге. Не так давно он женился; меня тоже взяли на свадьбу и по этому случаю купили мне новый матросский костюм. Венчание было назначено в церкви Габельсбергов. По дороге в церковь отец и мать говорили о том, что дяде Карлу действительно повезло: он «сделал хорошую партию». Но дядя Карл опоздал на венчание, мы ждали его в ризнице целый час, отец тщетно справлялся по телефону, священник в полном облачении утешал невесту, мою новую тётю Гертруду, которая занимала у всех носовые платки, чтобы дать волю слезам. Дядя Карл появился в то самое мгновение, когда уже решено было отложить свадьбу на следующий день. Он извинился, сказав, что провёл ужасную ночь, что у него была мигрень. Ужасная ночь наполнила маленькую ризницу такими пронзительными виновными парами, что отец попросил священника ускорить процедуру венчания, так как дамы и без того устали... На свадебном обеде в ресторане «Четыре времени года» на десерт подавали пломбир.

Чтобы проникнуть в тайну взрослых, я экстренно заболел ангиной. Я лежал в постели, дядя Оскар пришёл меня проведать. Он прописал мне компресс и порцию малинового мороженого. Я постарался задать ему несколько «спасительных» вопросов, он размяк и выдал мне семейную тайну.

На второй день после приезда бабушки в Лейпциг, дядя Карл, не закрыв душа в ванной, выбежал нагишом на улицу и, схватив чей-то велосипед, покатил в суд. Велосипед, которым дядя Карл воспользовался для своего путешествия в голом виде, принадлежал рассыльному из соседней булочной; в поднявшейся суматохе велосипед исчез, и потом пришлось возместить его стоимость. Дяде Карлу удалось ворваться нагишом в зал заседаний, откуда, воспользовавшись переполохом, чуть не сбежал обвиняемый. Дядю Карла связали и отправили в психиатрическую больницу. Болезнь, которая привела к этому припадку, началась, в сущности, много лет назад, но её во-время не захватили и не лечили как следует. Подробнее распространяться на этот счёт дядя Оскар не пожелал. На днях дядю Карла перевезли из Лейпцига в Эгельфинг, в большую казённую больницу под Мюнхеном.

Кстати, я узнал, что есть у меня ещё дядя, имени которого

мои родители никогда не упоминали. Только очень редко в семье у нас заговаривали об «эмигранте». Он жил на Яве. Этот дядя, как выразился дядя Оскар, не сумел сохранить в порядке доверенную ему кассу и, в день, когда к нему явились для ревизии, постарался скрыться. Семья помогла ему перебраться за границу.

— В ближайшее воскресенье мы поедem в Эгельфинг навестить дядю Карла. Если ты выздоровеешь, мы тебя возьмём с собой: бывали случаи, что один вид детей оказывал на такого рода больных благотворное действие.

Боль в горле у меня мгновенно прошла, и на следующий день мне разрешили встать.

Отец сказал нам, что дядя Карл заболел от переутомления, усиленная работа повлияла на его мозг, он ужасно страдает.

У Христины дрожали руки.— Вот до чего люди доводят себя!— бормотала она себе под нос и роняла из рук посуду. В кухне всё пошло вверх дном. Полотенца тряпками висели на стульях, чашки кувыркались на плите, вилки спихивали на пол грязные тарелки.

Отец и мать без конца толковали о предстоящих расходах. Дядю Карла следовало поместить в больницу сообразно его общественному положению. Дядя Оскар принёс книгу профессора Крепелина о душевных болезнях. Отец отыскал в ней описание болезни дяди Карла и прочитал его матери. С такой болезнью можно прожить и десять лет, если не вмешается, скажем, воспаление лёгких. Отец стал высчитывать. Умопомешательство дяди Карла грозило поглотить целое состояние.

В школе я с гордостью рассказал, что у меня дядя сошёл с ума. На меня устремилось внимание всего класса. Фек стал нагло врать, будто бы и у него двоюродный брат... Но я объявил, что в воскресенье мы поедem навестить больного дядю, и хватушка прикусил язык...

Эта наша воскресная прогулка отличалась от всех других воскресных прогулок прежде всего тем, что она заранее имела определённую цель: дом умалишённых. Обычно же, собираясь на прогулку, мы никогда не знали, куда мы, собственно, направляемся. Пока одевались, предполагалось: «Сегодня мы поедem к Аумейстеру». Затем, в ожидании, когда мать будет готова,— а собиралась она бесконечно и в последний момент обязательно спохватывалась, что всё-таки ещё что-то позабыла,— отец предлагал: «А не прогуляться ли нам сегодня по берегу Изара?» Когда мы, наконец, втроём спускались с лестницы, мать спрашивала: «Так ты не возражаешь, чтобы мы зашли за бабушкой и вместе

выпить кофе в Гофгартене?» Выйдя на улицу, отец выносил решение: «Пойдёмте к Китайской башне». Родители вступали в пререканья и, в конце концов, спрашивали у меня. «Мне очень хотелось бы в Мильбертсгофен: там сегодня велосипедные гонки на общегерманское первенство. Дистанция — сто метров... Участвует Тадеус Робль». — Меня не утомляли ответом. Ещё несколько раз меня по дороге направление, мы попадали, наконец, в Выставочный павильон, где отец заказывал на всех юдну бутылку лимонада, и мы съедали принесённые с собой бутерброды...

На этот раз я безропотно сносил все муки продолжительных сборов. Мать долго чистила на мне костюм, у неё куда-то запропастился карандаш для выводки пятец, пришлось отмывать их тёплой водой, которую Христина держала перед ней в белой эмалированной кастрюльке, затем началось «освидетельствование шен». Мать намочила ватку тройным одеколоном и стала энергично тереть мне шею. Перед самым уходом она обручальным кольцом обследовала мой нос в поисках угрей.

Мы собрались у бабушки. На этот раз и Христину взяли с собой. Она несла в сумочке молитвенник. Отец занялся изучением железнодорожного расписания. По дороге на Восточный вокзал я вызывающе смотрел на прохожих: я полагал, что по мне нельзя не заметить, куда мы едем.

Мы доехали до Гаара. Перед нами открылся зелёный городок с рядами вилл, обведённый высокой кирпичной стеной. Нам пришлось пройти небольшое расстояние пешком; бабушка, страдавшая подагрой, часто останавливалась, чтобы отдышаться. По дороге целыми семьями тянулись пешеходы, нагружённые свертками и картонками, матери везли детские коляски. Это было целое паломничество.

У входа в городок душевнобольных выстроились цветочные лотки, как в поминальный день перед кладбищем; тут же продавались солёные крендели и горячие сосиски. Бабушка сунула мне в руки букетик жёлтых примул.

Привратник в форменной тужурке, выслушав нас, пошёл в будку звонить по телефону. Нас впустили. — Павильон 8-В. Идите всё прямо, никуда не сворачивая. — По дороге нам попались двое в синих халатах; один, скрестив руки на груди, важно прошествовал мимо; другой сидел на скамье, поглощённый горячим спором с невидимым собеседником. Это тихопёшанные, успокоил нас дядя Оскар.

Мы подошли к павильону 8-В. Как сообщил нам дядя Оскар, он назывался «Обитель мира». Опять звонили по телефону. Появился сторож со связкой ключей. Нам предложили подождать дежурного врача в приёмной. Дядя Оскар обменялся с ним

всего несколькими фразами. Дяде Карлу закатили ночью длительную водную процедуру и, кроме того, шприц морфия. Сейчас опасаться нечего.

В ту минуту, когда мы входили в палату, дядя Карл громко хохотал. Наше появление не нарушило его весёлого настроения. Он заливался каким-то вхохлущим гортанным смехом, так хохотали мы в лицо Гартингеру после похорон Газенэрля. Дядя Карл стоял спиной к зарешеченному окну и, взмахивая руками, хлопал себя по животу. Утверждение отца, будто дядя ужасно страдает, опровергалось самым очевидным образом.

Дядя Оскар подтолкнул меня, чтобы я дал дяде Карлу цветы. Дядя Карл выпрямился и положил мне на голову руку, точно благословлял меня.

— Даруйте мне мир, о вы, прекрасные голоса! Займите своё место под солнцем! — Он помахал нам букетом, развязал его и осыпал нас примулами. — Луна, золотые осколки, звёздный щебень! — Бабушка сказала: — Карл! — строго и вместе с тем умоляюще. Христина читала что-то в молитвеннике. Я думал про себя, что дядя Карл нарочно всё это делает, чтобы поиздеваться над нами. Движения его были угловаты и развинчены, словно он весь был на шарнирах.

Но вот одна рука у дяди Карла укоротилась, совсем как у кайзера на фотографиях. Выставив вперёд ногу и откинув голову, мой сумасшедший дядя стоял неподвижно, как памятник. Голова памятника дернулась, рот искривился:

— Где Бисмарк?

Мы отпрянули. В дядю Карла словно вселилась какая-то неведомая сила. Растопырив пальцы, он ткнул ими в отца.

— Бисмарк?

— Что угодно вашему величеству? — вмешался врач.

— Возьмите этого Бисмарка под стражу. Попросите ко мне графа Вальдерзее.

Врач отвёл отца в сторону.

Отец принёс дяде Карлу его любимую книгу. Держа книгу перед собой, отец в сопровождении врача снова приблизился к дяде Карлу. Книга называлась: «Руководящие идеи двадцатого века». Дядя Карл взял книгу и стал осторожно гладить её, как что-то очень хрупкое. Он попытался прочесть название и устремил на нас взгляд, полный ужаса, глаза вылезли из орбит и словно ослепли, в растянувшихся уголках рта показалась пена. Через мгновение ужас сменился миролюбивой улыбкой, улыбка так же быстро уступила место мрачной важности, и он обратился к нам с речью.

Он объявил во всеуслышание, что недавно он, — кайзер Виль-

гельм,— умер и теперь воскрес в Кифгайзере, в образе кайзера Барбароссы. Он назвал меня своим «любимым вороном», который вместе с цветами принёс ему весть об объединении Германии. Он был величайшим из всех кайзеров, кайзером-сверхчеловеком, и собирался кайзеровским указом присоединить Америку к Германской империи. Дядя Карл пересыпал свою речь популярными изречениями нашего кайзера, и это, вперемежку с бессвязным бредом, звучало как насмешка и оскорбление величества. Отец решил, что надо поскорее уходить.— Здесь ничего смешного нет,— одёрнул он меня. Мне нравилось, что дяде Карлу позволялось говорить всё, что он хотел, и он, по моему, великолепно изображал кайзера. Особенно досталось моему отцу,— дядя Карл велел ему оставить в покое ворона и всё время величал его: «Болван! Паршивец!» Что только не разрешалось моему сумасшедшему дяде! Никто не мог ему запретить свободно говорить то, что он думал.

Иногда на какую-то долю секунды он осекался. На эту долю секунды всё в нём становилось на место, приобретало устойчивый и надёжный вид. Глаза покоились в глазницах, карие и кроткие. Обе, словно разрозненные, половины лица смыкались. Лоб и волосы занимали положенное им место, уши словно впускали тишину, которая окружала их. Он кивал нам, точно куда-то в далёкий мир; находясь рядом с ним, мы были как будто где-то очень далеко, как те картинки в Панораме, которые сменяли друг друга с тихим «дзинь». Кивки были грустные-грустные, а глаза широко раскрыты, удивлённые. Он не шевелился, но казалось, будто он протягивает к нам руки, чтобы мы перетащили его к себе. Мне очень хотелось спросить у него, есть ли там, в его мире, цеппелин и воздушная железная дорога, как между Бременом и Эльберфельдом. Но, словно схватив его изнутри тисками, им снова овладевала неведомая тёмная сила.

Разгоралась, очевидно, жестокая битва, враги надвигались со всех сторон, дядя Карл-Барбаросса во все стороны бросал свои полчища. Он попросил нас отойти подальше, мы находились в зоне огня. Он нагибался, словно над ним пролетали снаряды. Вдруг он, задрав голову вверх, закивал в потолок: он ожидал богов из Валгаллы. Он кивал, оглядывался на поле сражения и вновь усиленно кивал.— Ну, скорее же! Скорее! — Исход сражения, видимо, сию минуту должен был решиться. Рот у дяди Карла свело, он не удерживал слюны. Всё его тело вздрагивало, точно от электрического тока. Он вслушивался с невероятным напряжением, как я тогда, на балконе, в новогоднюю ночь, когда я ждал прихода нового столетия. Приняв от валькирии тайную весть, он повернулся к нам и, тыча то в одного, то в другого, отдавал распоряжения. Воздух был полон ему одному слышным

гулом голосов. Мне казалось, что вместе с ним меняется и его одежда. Рукава то вдруг становились непомерно длинными и прикрывали кисти рук, то закатывались до локтя. Галстук завился верёвочкой и съехал набок, воротничок оттопырился. Башмаки сморщились, чужие, ненужные, горе-башмаки, шкурки ташились за ними, их нельзя было бы связать никакими узлами... Но вот дядя Карл поставил одну ногу на стул и перегнулся вперёд, всем телом; казалось, он повис над бездонной пропастью, удерживаемый в воздухе лишь тонкой верёвочкой.

Звонок. Приёмные часы кончились.

Дядя Оскар сказал отцу:

— Это история на много лет.

Когда сторож отпирал нам дверь, наверху что-то грохнулось об пол. Кто-то взвыл, и вой, разрастаясь, передавался из этажа в этаж. «Обитель мира» выла. Кайзер-сверхчеловек видно с божьей помощью победил своих врагов и яростно расправлялся с ними, ибо голос его пронзительно звенел нам вслед: — Пощады не будет!

— Детям здесь нечего делать! Идём! — сказала мать, уводя меня прочь.

Скандал!..

Мои впечатления от поездки к дяде Карлу были очень многообразны. Мне казалось, что кайзер-сверхчеловек дяди Карла — порождение тех же мыслей, конечно, до неузнаваемости искажённых и преувеличенных, которые высказывал и отец, особенно, когда у нас собиралось трио, и которые, если не считать молчаливого протеста майора Бонне, встречали всеобщее одобрение. Сильное впечатление произвела на меня та лёгкость, с которой дядя Карл говорил всё, что ему вздумается. Отсюда я сделал вывод и не раз потом возвращался к нему: «Только сумасшедший может себе позволить говорить правду».

Безумие делало дядю Карла независимым. Ему не нужен ни пистолет, чтобы проложить себе дорогу в мир, ни пфенниги, он бесился сколько душе угодно, бил стёкла напропалую, он мог выбрать себе любую вещь, какая приглянется... Дома выли. Этот стук упавшего тела, этот одинокий вопль и вслед за ним хор воплей, это хлопанье закрываемых окон, топот ног, возня во всех этажах, пока одинокий страшный крик снова не вырвется из общего воя, заставляли меня внезапно, среди безобиднейших занятий, испуганно вздрагивать, словно я уже ребёнком догадывался, что мирная тишина — не что иное, как угодливый обман, призрачный остров среди океана ужаса.

Сумасшедшим был почтальон, топавший вверх по нашей лестнице, по улицам сумасшедшие носились на своих сумасшедших

велосипедах, не иначе как сумасшедшей была Христина, которая могла столько лет прослужить у нас, бредом сумасшедшего были речи учителя с кафедры, а этот сумасшедший Фек... Разве не сумасшествие то, что мы творили с Гартингером! Но и Гартингер, конечно, был сумасшедшим, раз он принимал нас всерьёз. Я не находил вокруг себя ни одного разумного человека. Каждый на свой лад сходил с ума! Всюду умалишённые! Какое безумие! Я — сумасшедший — открывал окно и смотрел на сумасшедший мир из своего сумасшедшего дома.

Я останавливался перед зеркалом, корчил гримасы, скашивал глаза на нос, дико прыгал по комнате или выступал по ней медленно и важно и не раз зажимал себе рот, чтобы ни с того, ни с сего не закричать петухом или не выпалить какую-нибудь нелепость. С трудом удерживал я руку, чтобы за обедом не поклониться отцу по плечу: «Ну, Генрих, как дела? Эх ты, болван, паршивец!» Я напрягал слух, ловя в воздухе приближение таинственных голосов, я как будто даже слышал уже один, а то и целый хор их, а потом снова вой охватывал дома, ряд за рядом, пока не взвизывал ввысь этот ужасающий вопль...

Выл целый город. Город воющих домов.

Я купил себе «Искусство чрево вещания» в издании «Миниатюрной библиотеки», чтобы завести себе второй голос, который всюду мог бы говорить правду. «Говорить правду» — это значило для меня говорить то, что думаешь и что высказывать обычно возбранялось. Второй голос сделал бы меня независимым: я безбоязненно разговаривал бы за столом с родителями как взрослый и равный, а на уроках задавал бы столько вопросов, сколько вздумается. «Язык вобрать поглубже, подвижным оставить только кончик языка, то распластаный, то острый, то изогнутый лопаточкой», — говорилось в учебнике, который и явление Дельфийского оракула объяснял искусством чрево вещания. Усердно потренировавшись, я попробовал за обедом пустить в ход своё искусство, надеясь, что отец, обеспокоенный, заглянет под стол: «Кто это там разговаривает?» Вместо этого, отец сразу же накинулся на меня: — Бесстыжий ты мальчишка, ты что, собака, что ли? Что это за звуки! — Уныло поплёлся я к себе в комнату. «Ничего из меня не выйдет, ничего...» Я засунул жёлтую книжечку поглубже в ящик и больше уже не пытал свои силы в искусстве чрево вещания.

## XVII

Совершенно неожиданно на уроке закона божия в класс вошёл инспектор с каким-то господином, которого он представил как уполномоченного министерства просвещения.

— Проще спокойно продолжать урок, — сказал инспектор учителю Краниху, преподававшему закон божий.

— Опасность! — подал сигнал Фек. — Все на борт!

Следом за неожиданными гостями, усевшимися у окна, вошёл учитель Голь и тоже подсел к ним. Указывая им то на одного, то на другого ученика, Голь как будто знакомил их с нами.

Краних, между тем, продолжал читать нагорную проповедь, бросая на разговаривавшую вполголоса группу у окна раздражённые и подозрительные взгляды. Голь качал головой, словно отказывался что-то понять.

— Невероятно! — вырвалось у него почти громко.

Представитель министерства успокаивающим жестом поднял руку и глубокомысленно закивал. Голь смотрел на нашу «тройку», переводя взгляд с одного на другого, и затем устремлял его за наши спины, на парту Гартингера. «Посмотрите только, как мирно они сидят, это невероятно, невероятно!» — как бы говорил его взор, благосклонно покоившийся на нас. Мы уже привыкли и в школе, и дома разыгрывать невинность, умели прикинуться дурачками, казаться тише воды, ниже травы. Мы застыли на своих местах в благоговейном внимании, словно всецело поглощённые чудесными словами нагорной проповеди. Полуоткрыв рот, беззвучно шевеля губами, в раздумьи опустив глаза, сидел я на своей парте. Фек сложил руки, как на молитве, и порой растроганно вскидывал глаза; этот невинный ангел так смиренно кивал головой, точно на кафедре стоял сам Иисус Христос и возглашал своё учение. Фрейшлаг весь превратился в слух, он даже слегка склонил голову набок, как бы боясь пропустить хотя бы слово; он морщил лоб и шевелил губами, точно человек, который не в силах скрыть своё волнение.

Мы наблюдали за группой у окна, будто через полевой бинокль, и подавали друг другу тайные знаки.

— Невероятно! — опять покачал головой Голь и снова обратил внимание представителя министерства на то, как мы тихо сидим на своих партах и по-детски самозабвенно внимаем.

У нас возникло подозрение, не связан ли приход неожиданных гостей с самоубийством ученика нашей школы и не дошла ли до их ведома история с гробом. Нам давали время, не торопясь, подготовиться к ответу. Решено было, что говорить буду главным образом я, как бывший друг Гартингера; важно было бросить тень на старика Гартингера, этого социал-демократа, упомянуть о прогулке; и о десятимарковом золотом, — тут мы целиком могли рассчитывать на поддержку Голя. Классу мы дали условный сигнал: «Никто ничего не знает. Держать язык за зубами».

Группа проследовала к кафедре и заняла её. Представитель

министерства передал инспектору какую-то бумагу, тот развернул её и начал читать:

— Ученики третьего класса! За последнее время наша школа, наша Луизенская городская школа, стала предметом общественного внимания и судебных дознаний. Произошёл инцидент, небывалый в истории Луизенской городской школы: ученик второго класса Доминик Газенэрль покончил самоубийством. Немедленно начатое следствие ни к чему не привело. Истинные причины самоубийства установить не удалось. Медицинская экспертиза признала, что здесь, по всей видимости, имел место припадок острого душевного расстройства. Несмотря на это, на имя властей поступил в последнее время ряд жалоб на то, что и в других классах есть воспитанники, которые недостойнейшим образом травят и преследуют своих одноклассников. Министерство просвещения, совместно с другими инстанциями, расследует эти жалобы и приложит все усилия к тому, чтобы навсегда искоренить подобные скандальные факты. Они недостойны Германии, недостойны немецкого юношества...— Инспектор сделал паузу, чтобы усилить впечатление от последних слов. Затем продолжал: — В третьем классе «А» Луизенской городской школы, следовательно, в том самом классе, к которому я обращаюсь, по сведениям, полученным от портного Гартингера третьего мая сего года, известная группа учащихся, а именно: Фек! — Встань! Садись! — Фрейшлаг! — Садись! — Гастль! — Садись! — держит весь класс в постоянном страхе и при помощи угроз заставляет оказывать себе всяческие услуги, в том числе и в приготовлении заданных уроков. В особенности подвергается преследованиям этой группы, как гласит жалоба портного Гартингера, его сын, Гартингер, — почему ты не встаёшь, когда я называю тебя? Встать! — Травля началась с того момента, как он порвал с Гастлем, который ведёт себя, по его мнению, как испорченный мальчик. Я прошу, — пишет в заключение господин Гартингер, — принять меры, дабы во-время предупредить повторение столь прискорбных случаев, как тот, который имел место во втором классе «А» Луизенской городской школы.

— Вот скотина! — прошипел Фек.

— Рожу бы ему расквасить! — шепнул мне на ухо Фрейшлаг и ещё раз сделал знак классу: «Быть на-чеку! Держать язык за зубами!»

Инспектор медленно перевёл дух и, с трудом сдерживая одышку, обратился к Гартингеру:

— Ну-с, Гартингер, ты, может быть, расскажешь нам, как обстоит дело в действительности. Выйди сюда, к кафедре, чтобы все могли увидеть, говоришь ли ты правду.

Когда Гартингер проходил мимо, Фек шепнул ему:

— Смотри, не забудь прогул! Начни с этого и скажи всю правду!

Гартингер с этого и начал.

— Великолепно! — От восторга Фек даже привскочил. — Слушайте! Слушайте!

Гартингер рассказал всю правду: как я принёс золотой и уговорил его, Гартингера, вместе пропустить занятия.

— Гастль сам в этом сознался в присутствии господина Голя. Голь прервал его.

— Разрешите, господа, внести небольшую поправку.

Инспектор бросил:

— Прошу!

— В действительности Гастль, желая спасти товарища, взял вину на себя. Расскажи об этом сам, Гастль, и воздай хоть ты должное правде!

— Правда то, — солгал я, — что Гартингер подбил меня украсть золотой и пропустить занятия, а я взял на себя вину, желая спасти товарища.

На последней парте поднялась чья-то рука. Фек успел организовать показание якобы беспристрастного свидетеля, Макса Кезборера, шуплого мальчонки, сынишки дворника, которого мы на всякий случай терпели у себя в шайке.

— Ты, там, на задней скамейке, чего хочешь?

Мальчонка важно засеменял к кафедре, стал против Гартингера, приподнялся на цыпочки и монотонно забубнил, точно заученный урок:

— Я слышал, господин инспектор, как Гартингер уговаривал в уборной Гастля: «Чего там, возьми этот паршивый золотой. Мой отец, — сказал Гартингер, — всегда говорит: «У кого за душой ничего нет, тому и красть дозволено».

Гордо, как герой, поглядывая по сторонам, «пай-мальчик» вернулся на своё место.

Гартингер стоял, опустив голову, и весь дрожал.

— Я полагаю, — обратился Голь к комиссии, — инцидент исчерпан.

Инспектор встал, давая волю долго сдерживаемому возмущению:

— Ложь, конечно, остаётся ложью, но побужденья, руководившие Гастлем, делают ему честь. Он хотел спасти товарища. Но до чего же — пфуй! — бесчестно использовать такую вынужденную ложь и ссылаться на неё! Нет, — инспектор повысил голос и выпятил грудь, — мы не потерпим в нашей среде гнусных предателей. Что же касается до твоего уважаемого папаши, «уважаемого», — подчеркнул он, — то о нём мы поговорим в соответствующих инстанциях.

— Ложь, всё это ложь!

Гартингер ощупывал себя со всех сторон, словно на него сыпались удары и он хотел прикрыть руками какое-то особенно чувствительное место.

— Они меня в могилу... Они меня, как гроб...

По знаку Фека класс разразился хохотом.

Гартингер замахал руками, чтобы стряхнуть с себя этот смех, но и на кафедре смеялись, пока инспектор, напустив на себя важный вид, не подал знака успокоиться.

— Уж не думаешь ли ты внушить нам, что все лгут и только ты один говоришь правду?.. Тебя держат в страхе... Кого же ты боишься? Чтобы трое да весь класс держали в страхе?.. Смешно!.. Ступай на своё место и стыдись!

Гартингер, холодея от страха, попятится задом к своей скамейке. Лягушка Фек студённо ухмылялся. На кафедре пожимали друг другу руки и раскланивались.

Голь проводил гостей до двери.

Вскочив и вытянув руки по швам, мы застыли у своих парт. Инспектор улыбнулся нам:

— Благодарю.

Краних заключил урок псалмом: «Возблагодарим господа».

— Замечательно! Здорово! Bravo! — шептали мы друг другу посреди пения и корчили, повернувшись к Гартингеру, злорадные рожи.

Господь, благодарим  
Мы сердцем, ртом, руками  
За всё, что ты творишь  
Для нас за облаками,  
За то, что ты хранишь  
И опекаешь нас,  
За благо прежних дней,  
За милости сейчас.

«За милости сейчас», — орали мы, торжествуя.

— Они меня в могилу... Они меня, как гроб... — дразнили мы Гартингера по дороге домой. Фек торжественно стал перед ним: — Слушай! Мы объявляем тебе войну. Завтра война начинается. Военный совет, за мной! — И мы оставили Гартингера одного. — Великая тройка объявляет Гартингеру войну, — сообщил я себе новость. — Чин-да-ра, бум-бум, — маршировал я под собственную музыку и командовал себе: — Направо марш! На лево марш! Вперебежку марш, марш! Внимание: огонь!

С барабанным боем вбежал я на кухню к Христине: — Знаешь новость, Христина? Ну вот, наконец-то! Война, мы воюем!

Сквозь лазейки в старом дощатом заборе мы легко проникали туда из нашего сада; оранжереи, теплицы, грядки, кусты, попережку с нетронутыми в своей девственности участками, заросшими папоротником и сорными травами, глубокие артезианские колодцы, разбросанные повсюду шланги и лейки, связки камыша, из которого мы сооружали себе сабли и пики,— всё это делало садоводство Бухнера постоянным и излюбленным местом наших игр и развлечений. Здесь водились летучие мыши, крысы и змеи, и мы чувствовали себя героями, когда, «вооружённые до зубов», решались вступить в эти угрюмые и страшные места. Замечательнее всего было то, что людей мы там почти не видели, всё казалось запущенным, брошенным, лишь изредка где-нибудь вдали показывался склонённый над грядкой человек, или, скрипя, проезжала подвода, груженная венками и цветочными ящиками.

Но всего таинственней была открытая нами пещера с подземным ходом. Вооружившись пиками, пистолетами, винтовками и саблями, с ручным фонарём, взятым в конюшне, мы, пригнув головы и подбодряя друг друга, двинулись в подземелье. Мы шли вперёд, пока не наткнулись в темноте на железную винтовую лестницу, а она привела нас на дощатый чердак, одну стену которого составлял большой кусок холста, нечто вроде занавеса. Каково же было наше изумление, когда сквозь дыру в этом занавесе мы увидели панораму «Битва под Седаном». Мы словно заглянули в сокровенную глубь небес. Дыркой, сделанной в холсте, мы прорвали круп лошади, на которой всадник со своим пленником скачет мимо командного пункта.

На свист Фека мы с криками «месть!» выскочили из-под ворот, где сидели в засаде. Гартингер попал в ловушку.

— Окружить! — командовал Фрейшлаг. Он и Фек подстерегали Францля на противоположной стороне.

Фек поманил Гартингера, словно собачонку.

— Сюда, сюда, Францль!

Двое из нашей шайки уже взяли Гартингера в середину, один шёл впереди, другой позади, в качестве прикрытия; так его привели к Феку и Фрейшлагу.

— Объявляем тебя нашим пленником! За мной!

Фек двинулся вперёд по заросшей тропинке, которая вела к пещере.

— Война! Война объявлена! — прыгал я впереди, дико выкрикивая слова команды.

— Война! Война! — ревел Фрейшлаг, грозно ступая, точно готов был каждым своим шагом втоптать врага в землю.

— Война! Война! — трубил Фек, приложив воронкой руки ко рту. Он поворачивался, трубя во все стороны, а я кричал: — Война! Война! — и размахивал огромной саблей Ксавера, рубя мир на куски.

— Негодяи! — выругался Гартингер, пытаясь освободиться. Фрейшлаг приёмом джигу-джитсу скрутил ему руки назад.

— А теперь голову долой! Погоди ты у меня! Можешь высказать своё последнее желание! — Я старался говорить басом, как отец, и, так же, как он, то и дело откашливался.

— Пустите меня! Что я вам сделал?

— Можно и без последнего желания, как тебе угодно! Связать ему руки! — Фек держал верёвку наготове, и в одно мгновение руки Гартингера были связаны.

Так мы дошли до пещеры. Конвоиры Гартингера подвели его к дереву, а сами отступили в сторону.

— Признавайся!

— Мне не в чём признаваться!

— Как, ты ещё дерзить?! Ну-ка попробуй, чем это пахнет...

И Фек хлопнул его по щеке пучком крапивы. Щека мгновенно вся пошла волдырями и покраснела, как огонь.

— Признаёшься?

Гартингер смотрел поверх наших голов, словно нас тут и не было.

— Куда уставился? Смотри, буркалы свои не прогляди! Ишь, воробьёв считает! Поверни-ка голову сюда: видишь? — Фек показывал на муравьиную кучу. — Вот этим мы тебя вымажем, если ты сейчас же не признаёшься. Или бросим тебя вон в тот пруд к лягушкам.

Гартингер пошатнулся, чтобы не упасть, он широко расставил ноги, губы его посинели, уголки рта дёргались. «Фу, какой он противный, бледный, отвратительный», — говорил я себе и шипел: — Я из тебя выбью эту твою новую жизнь!

Фек направился к муравьиной куче.

— Считаю: раз! два!

— В чём же мне признаваться, чорт вас возьми?

— В том, что отец твой негодяй, а мать грязнуха.

У Гартингера всё время дёргался рот, как будто он чем-то давился или что-то жевал. Он смачивал языком губы, он держал свой рот наготове, вот-вот он ему понадобится. Он опёрся связанными руками о дерево.

— Подлецы! Гады!

Мы растерянно посмотрели друг на друга.

Скандал!.. Я так и застыл с раскрытым ртом. Фрейшлаг замах-

нулся кулаком, но Фек отвёл его руку: — Не суйся не в своё дело! Отойти на три шага! Зарядить!

— Внимание! — Фек поднял руку и быстро опустил её: — Огонь!

Мы плевали, и все сразу, и по очереди, каждый плевал что было силы. Плюя, подбегали к Гартингеру ближе, совсем вплотную, носились взад и вперёд и плевали, плевали, лица наши налились кровью. Фек бросился на землю со стоном: — Не могу больше! — Фрейшлаг оглядывал нас всех: — Неужели ни у кого не наберётся больше слюны? — Я закашлялся от непрерывных плевков. Гартингер стоял, прислонившись к дереву, с таким видом, словно он отдыхал, и на его оплётанном лице мелькнула улыбка.

— Ну что, просишь пощады?

— У вас? Пощады? — Он нагнулся, потом выпрямился, как будто для прыжка, и ответил плевком, — он попал мне в самую середину лба. Я вздрогнул, как от удара.

— Он ранил меня, — взвизгнул я, готовый зареветь, — прямо в лоб, позор! — Но мне уже было стыдно, что я кричу, я посмеялся над собой: плевком нельзя ранить человека, — и долго тёр носовым платком лоб, пока не почувствовал, что натёр докрасна, нет, черт возьми, никогда в жизни мне не стереть этого плевка, у меня на лбу клеймо, я заклеимён.

Гартингер ещё шире раставил ноги.

— Война? Это вы называете войной? Эх вы, герои!

— Однако довольно, — рассвирепел Фрейшлаг. — Не суйтесь не в своё дело! — И он кулаком ударил Гартингера так, что тот стукнулся затылком о дерево. У Францля подкосились ноги, и он упал на колени. Выставив нижнюю губу, я вплотную подошёл к нему: — Стой, стой на коленях! — измывался я над ним. — Да выплюнь-ка украденные деньги! — Я смотрел ему за спину, нет ли у него там косы, и как будто дымил ему в открытые глаза сигарой. — Я из тебя вышибу эту новую жизнь! Я тебе покажу эту твою новую жизнь, — безостановочно фыркал я, — ты мне за всё ответишь, — грозился я, вспоминая свой сон. Потом отошёл на несколько шагов назад и нагнулся, точно готовясь взять разбег:

— Ты думаешь; я кто? Кто?.. А ну, угадай... Я...

— Кто мастером стать хочет, тот смолоду хлопочет, — орал Фек, сидя на земле.

Гартингер искоса поглядел на меня, от этого взгляда у меня заболел лоб — то место, куда попал плевок.

— Что, не угадаешь? А? Ну, ну... Ты ведь сам сказал... Я...

— Палач! — заорали все сразу.

— Увести его! — Мы втокнули Гартингера в щель, а сами стали у входа на часах...

Мы прислушались. Ни звука. Мы позвали. Молчание. Посоветовались, что делать. Каждый боялся пещеры, её темноты и безмолвия. Фрейшлаг сказал: — Пожалуй, переусердствовали. — Фек: — Я этого не хотел. — Я: — Дело может плохо кончиться. — Мы подталкивали друг друга: — Пойди посмотри, что там. — Но, сделав шаг к пещере, каждый мгновенно отскакивал назад. — Давай по домам! — Но никто не решался отойти от пещеры. Я уже видел, как прохожие на улице останавливают меня и спрашивают: «Скажи, ты не из той школы, в которой...» Лоб у меня всё ещё болел. Мне хотелось крикнуть: «Ладно уж, Францль, выходи!» — и я посмотрел на Фека: «Пучеглазый! Лягушка!»

Мы ещё долго топтались перед пещерой, уже звонили к вечеру.

И вдруг мы увидели Гартингера на противоположной стороне, он шагал вдали по дороге, словно сквозь вечерний звон, и нёс перед собой высокий жёлтый цветок. Мы шептались друг другу: — Смотри! Смотри!

## XIX

Всё кончено. С Ксавером всё кончено.

А они ведь даже не знали друг друга, я никогда не говорил с Гартингером о Ксавере, хотя мне и нелегко было скрывать от него, что мы с Ксавером на «ты».

Коротко «ты» было словом, в звучании которого заключался, казалось мне, целый мир. «Ты» могло быть, как песня, и «ты» могло быть злым или просто равнодушным. «Ты», сказанное отцу, и «ты», сказанное матери, не было одним и тем же, и даже «ты» в обращении к отцу менялось, смотря по обстоятельствам. Сколько недоговорённого скрывалось за этим «ты»! В «ты», обращённом к Феку, было недоговорённое: «Ты, пучеглазый, лягушка ты». В «ты» к Гартингеру было некогда: «Ты, мой Францль, ты!» «Ты», сказанное Христине, было певучим «ты» и означало: «Ты, моя милая, милая Христина...» Но все эти «ты» существовали всегда, я родился с ними. А «ты», на которое я перешёл с господином Ксавером после «вы», таило в себе нечто особое, праздничное. «Вы» и «ты» долго путалось у нас. Я вслушивался в «ты» между взрослыми и в нотки, неслышно сопровождавшие его. Сколько таких «ты» стёрлось, выветрилось, обветшало, их ничего не стоило заменить любым холодным «вы», какое подобает говорить учителю или бывшим университетским товарищам отца, когда они посмеиваются «хе-хе». Как они нежно гнут савят своё «ты», эти ненавистники, как они лицемерят,

когда самое правильное было бы прошептать: «Вы — милостивый государь!»

И Ксавер ничего не мог знать о Гартингере. Я не рассказывал ему ни о нашем прогуле, ни обо всём остальном, что было после.

Что же случилось? Почему всё кончено между мной и Ксавером, кончено навсегда?..

Потому-то и потому. За видимой причиной скрывалась другая, цепь причин уводила в бездонное.

Христине была бы только поговорка, а больше ей ничего не нужно. На всё есть своя благочестивая поговорка, у всех у них свои поговорки, они глотают их, как успокоительные пилюли, на каждый случай припасена готовая магическая формула.

«Послушай,— хотелось бы мне спросить то, что живёт где-то глубоко-глубоко на самом дне души,— скажи, чего ты хочешь? Что тебе нужно? И скажи это ясно и внятно».

Разумеется, учитель музыки Штехеле и не подозревал, какой опасный шаг он совершает, соглашаясь на предложение моих родителей давать мне уроки музыки.

Да и мог ли что-либо подобное заподозрить этот больной старик в помятой широкополой шляпе!

О, к какому ученику он попал!

Мог ли он подозревать, что виной всему гармонь Ксавера? Гармонь виновата? Как может быть гармонь виновата в преступлении? Тут следовало бы вникнуть поглубже или, как говорит отец, произвести строгое дознание.

Гармонь Ксавера околдовала меня, поэтому-то мне и было так противно играть на скрипке по приказу родителей; я не хотел изменять Ксаверу, я хотел сохранить верность его гармонии.

Поэтому старику Штехеле и предстояло «немало удовольствий». Я прилежно готовил ему! к каждому уроку такое удовольствие.

Очень скоро я понял, что своим пиликаньем раню его в самое сердце, а если я ватыкаю уши, когда он играет, то этим наношу ему величайшую обиду.

Холодно выдерживал я его полный ужаса взгляд, когда, слушая «Грёзы» Шумана, упрямо твердил: — По-моему, это отвратительно.— Я, конечно, прекрасно чувствовал трогательную красоту его исполнения, но гармонь Ксавера...

— Кто только придумал эту дурацкую скрипку?— спросил я злобно и так сильно хлопнул скрипкой о шкаф, что кобылка соскочила с места.— Чортова пиликалка...

Господин Штехеле молитвенно сложил руки и, бережно вдвинув кобылку под струны, снова заиграл, стараясь проникнуть

своей игрой мне в сердце и смягчить моё бешеное упрямство. Я наклонился над пультом и, подражая Феку, растянул губы в студенистую ухмылку.

Я смотрел в окно, как он поплёлся домой, на углу он остановился, весь скрючился, прохожие поспешили ему на помощь, усадили его в подъезде ближайшего дома.— Ему стало дурно. Так ему и надо. Пускай не вмешивается не в своё дело,— сказал я назидательно.

Родители отказали ему, так как я, по их мнению, не делал успехов. Он простился со мной: — Береги по крайней мере свой инструмент,— и устало пожал мне руку.

Я слышал, как он, тяжело дыша, стоял за дверью, на лестнице. Прошло много времени, пока он вышел на улицу. А я говорил себе: — Но ведь он тут не виноват! Он тут совершенно ни при чём.

Теперь, когда с Ксавером было всё кончено, я играл на скрипке ежедневно, по несколько часов подряд. Играл у открытого окна; пусть она слышит, эта гармонь Ксавера! — Не чересчур ли ты увлёкся скрипкой,— говорила мать, и мне хотелось ей ответить:— Скрипка тут совершенно ни при чём, мама! — Но я молчал. Отец вручил учителю, господину Кершенштейнеру, плату за уроки, на этот раз в конверте, и поблагодарил его:— Вот что может сделать хороший педагог! — Я стоял рядом, разделяя похвалу, и искоса поглядывал на учителя: ты только не вздумай возгордиться, безмозглый! Нас не проведёшь!

\* \* \*

Это произошло внезапно. Но что же это было такое, что творило подобные вещи? Уж не то ли непостижимое, что заставило меня тогда ответить старику Гартингеру: «Мой отец, в конце концов, важный государственный чиновник с правом на пенсию».

Ксавер спросил, посмеиваясь:

— Ну, как поживает господин прокурор?

— Да так, ничего,— ответил я уклончиво.

— Работы, небось, пропасть, а? Отсечённые головы вырастают заново?

Такую вещь я мог бы и сам сказать, но Ксавер не смел себе этого позволить, меня это вдруг разозлило, хотя вчера ещё несомненно доставило бы удовольствие.

— Что ты за чушь мелешь, Ксавер?— сказал я назидательно.— Кто убивает человека, тот и сам должен распроститься со своей головой.

— Я на твоём месте выбрал бы себе другого папашу, не головореза,— шутливо сказал Ксавер.

«Проклятье! — подумал я. — Он не лучше Гартингера».

Ксавер протянул мне руку.

— Я не хотел тебя обидеть, малец. Ты и впрямь тут ни при чём. Ты ничего парень...

Тут я отступил на шаг, и у меня само собою вырвалось:

— Прошу вас впредь говорить мне «вы», слышите вы, господин Зедльмайер, вы!..

— Ха-ха-ха! — захохотал Ксавер. — Нет, такого ответа я не ожидал! Ха-ха-ха! — он захлёстывал меня своим хохотом, от этого хохота дрожал весь двор.

— Ты, видно, хочешь меня разыграть, видно, думаешь, что если ты поступаешь в гимназию, то ты, — простите, — то вы, господин сопляк...

— Ха-ха-ха! — гремело вокруг.

— Я запрещаю вам...

— Ха-ха-ха!

— Я расскажу майору!

— Ха-ха-ха!

— Я донесу на вас!

— Ха-ха-ха! Две капли воды — папаша, господин прокурор, но только в коротких штанишках.

— Погоди, скоро всё будет по-новому... Наш брат... — крикнул я и топнул ногой.

Что это? «Ха-ха-ха» больше не слышно.

Слегка наклонившись вперёд, не как никогда грозный, шаг за шагом, почти скользя и словно что-то таща за собой заложенными за спину руками, приближался ко мне Ксавер.

— Тебе нечего бояться, эх ты, щенок, фиговья ты, я тебе ничего не сделаю, но знай одно — ты ещё не раз вспомнишь...

Он подошёл ко мне вплотную, его дыхание обдало меня тёплым ветерком, он зашептал мне на ухо:

— Да, всё пойдёт по-новому! Но не так, как думаете вы, баре, а иначе, совсем иначе, будь спокоен!.. Мы уж на этот счёт позаботимся. Мы! Наш брат...

Он повернулся и пошёл к себе, но ещё раз остановился.

— Не поминай лихом. Бог с тобой и...

Он сдвинул фуражку на затылок, словно затем, чтобы вольнее было думать, и сказал только:

— Трудно, конечно, таким, как ты...

Я испуганно огляделся по сторонам. Нет, на этот раз это сказал не старик Гартингер, а Ксавер. Я пустился бежать от этого «таким, как ты...» Но последние слова Ксавера догнали меня.

— Ну и... до свиданья!

Кончено. С Ксавером всё кончено.

«Ха-ха-ха!» — гремит у меня в ушах.

Взрывы его хохота сотрясали всё вокруг. Ксавер словно решил швырнуть мне назад весь тот смех, которым мы донимали Гартингера.

Ах, хоть бы всё осталось, как есть! Боже милосердный, сделай так, чтобы никогда не наступала новая жизнь!

— Эй вы, Зедльмайер! — орал я у себя в комнате. — Стать смирно! Руки по швам! Пятьдесят приседаний! На три дня в тёмный карцер! — Я командовал трескучим офицерским голосом и посмеивался: — Хе-хе-хе! Наш брат! — Я расправлял плечи и выпячивал грудь. — Такие, как я!.

Офицерский денщик играл на гармонии.

Я побежал к отцу:

— Визг этой гармошки просто невыносим... Вестовой майора...

Денщик...

Отец похвалил меня:

— Наконец-то! Наконец! Я рад, что ты одного со мной мнения... Сейчас же пошлю Христину к господину майору.

## XX

Хоть мы потом и установили, что в пещере был боковой выход, которым Гартингер и воспользовался, чтобы уйти от нас, всё же его появление вдалеке, на дороге, с высоким жёлтым цветком в руке казалось нам чем-то сверхъестественным. Я тоже был в числе тех, кто, вспоминая об этом, с трепетом думал о воскресении христовом. Мне уже казалось, что мы завалили вход в пещеру тяжёлой каменной глыбой, но от прикосновения ангела она лёгким облачком поднялась на небо. Мало того, нашлись мальчики, которые, обсуждая поведение Гартингера, когда мы пытали его, сравнивали его со святым Себастианом и вспоминали, как этот мученик, стоя у позорного столба, пронзённый стрелами, улыбался своим небесным сподвижникам, а в это время чья-то рука протягивала ему чашу с животворным напитком.

Фрейшлаг воздвиг гонения на верующих. Не проходило дня, чтобы он за Глиптотекой не избил кого-нибудь из них. Строптивые оказывали Гартингеру всякие знаки внимания, многие уже осмеливались заговаривать с ним на переменах, и вскоре дело дошло до того, что мальчики целой ватагой провожали Гартингера до самого дома. «Кровавая тройка», как нас прозвали после пытки над Гартингером, теряла сторонников.

Самые сногсшибательные остроты Фека теперь редко кого смешили. Когда он, коротконогий, грозно выпрямлялся, не было

никого, кто бы шарахался от него в страхе. И я тоже испытывал какое-то бессилие и растерянность, когда при моём появлении начинался невнятный глухой ропот и бормотанье; придраться было не к чему, как ни чесались руки. К «палачу», вырезанному на моей парте, прибавился «предатель».

Единственный, кто сохранил нам верность, был сынишка дворника, «пай-мальчик», или, как другие называли его теперь, «негодяйчик». «Пай-мальчик» ни на шаг не отходил от нас. Нам ежедневно приходилось провожать его до дому, чтобы защитить от мести ребят. «Пай-мальчик», со своей стороны, угрожал нам, что если мы откажемся защищать его, он всё про нас расскажет. Фрейшлаг предложил задать «пай-мальчику» хорошую трёпку, чтобы раз навсегда выбить у него из головы эти мысли. Фек купил фруктовых карамелек и заткнул ими рот «пай-мальчику». Но наш «пай-мальчик», однажды войдя во вкус, стал требовать всё более и более дорогих лакомств: кусок торта, «медвежьи орешки» и «сахарная соломка» его уже не удовлетворяли. Наших карманных денег уже не хватало на то, чтобы оплатить лжесвидетеля, нанятого Феком. Фек обратился ко мне: — Ты должен спасти нас... Ведь у тебя бабушка! — Но тут вмешался Фрейшлаг: — Не суйся не в своё дело! — и по дороге домой так отчаянно излупил «пай-мальчика», что тот несколько дней не ходил в школу. Кто-то увидел отца «пай-мальчика», господина Кэзборера, дождавшегося приёма в коридоре перед кабинетом Голя.

— Голь не подкачает, — уверял Фек. И в самом деле, нашему учителю удалось уговорить дворника. Тот отказался от своего намерения подать жалобу и, чтобы избежать дальнейших скандалов, перевёл «пай-мальчика» в другую школу.

— Ну, видишь, как с нами считаются? С нами! — бахвалился Фек. — Такие, как мы! — передразнил он меня.

Мы попрежнему назывались «тройка», но теперь от нас отшатнулся весь класс, и ни колотушками, ни лестью мы ни у одного мальчика ничего не могли добиться.

Все трое, хотя мы и были самыми плохими учениками, выдержали испытания в гимназию. К нам пригласили общего репетитора, который за несколько недель подготовил нас к экзаменам. Обе мамы — Фрейшлага и Фека — пришли к отцу, чтобы договориться относительно общего преподавателя. Сначала отец был, повидимому, разочарован, что отец Фрейшлага, ротмистр, не сам явился, а послал свою жену. Я видел в замочную скважину, как отец, после беседы, провожал обеих мамаш к двери. Он так держал себя с этими дамами, что чем-то напомнил мне дворника, с которым Голь разговаривал не в кабинете, а в коридоре, а я с удовольствием помог бы отцу спустить этих

щебечущих, расфранчённых дур с лестницы. Когда же отец ещё и ещё раз повторил, какое удовольствие, какую честь они доставили ему своим посещением и как он был бы рад вновь удостоиться этой высокой чести,—я пожалел, что не могу прервать его речь отборными ругательствами, чтобы спасти его достоинство. А может быть, он только для виду так разговаривает с ними, а на самом деле думает совсем другое и сейчас посмеётся вместе со мной над тем, как изысканно вежливо он их выпроводил. Но отец был, как он выразился, в восхищении от обеих дам, кстати, и мать Фека весьма рассудительная особа... Очевидно, ему очень польстило, что у нас троиц будет общий преподаватель, потому что он несколько раз повторил:—Ну, хоть теперь, когда вы вместе будете заниматься, возьми себя в руки.

Гартингер, лучший ученик в классе, остался в городской школе.—Куда такому учиться!—презрительно сказал Фек; и я тоже считал, что это в порядке вещей, если Гартингер даже такой льготы не получит, как звание вольноопределяющегося.

—Из этих людишек,—сказал я пренебрежительно,—всё равно ничего путного не выходит. Такие, как он...—А Фрейшлаг обнял нас обоих за плечи:—Зато наш брат!.. Зато наш брат!..

Голь, когда мы прощались с ним, задержал нас в классе.

—Простись достойным образом,—велел мне отец,—вы трое действительно многим ему обязаны.—Фек был того же мнения:

—Да, с ним надо достойно проститься, он не подкачал.—Голь запер нас в классе.—Подождите здесь, я погляжу, разошлись ли они. Они уговорились поколотить вас на прощанье.—Он вернулся:—Кое-кто ещё околачивается тут,—и выпустил нас из школы через запасный выход.—Кстати,—сказал он,—всё, что я для вас делал, делалось ради ваших родителей.

Убедившись, что врага нигде не видно, Фек сказал:—Так нам и надо. Это расплата за наше проклятое добродушие. Неслыханное дело! Бунтовать вздумали!—Фрейшлаг повернулся, сжал кулак и прорычал:

—Погодите вы у меня, мелюзга несчастная!

Когда Христина впервые назвала меня «ваша милость»,—это было в день, когда я сдал последний вступительный экзамен в гимназию,—я тихо, на цыпочках,—мне не хотелось проронить ни звука,—выскользнул из кухни и заперся у себя в комнате.

Запирать дверь на ключ строго воспрещалось, но я прикрыл её как можно крепче, я хотел остаться один, совсем, совсем один, в ужасном, безутешном одиночестве...

«Ваша милость... Вы... Вы... Вы...» Холодно, как ударом топора,

отсекало это «вы» какую-то пору моей жизни. Я не хотел расстаться с «ты», но та пора, как курьерский поезд, уже умчалась в прошлое, унося с собою своё «ты».

Родители поздравили меня с поступлением в гимназию. Отец: — Ну, слава богу, теперь ты от него избавился, от этого оборванца Гартингера. Гимназию посещают только сыновья состоятельных родителей. — Мать: — Слава богу! Надеюсь, теперь с дурным обществом покончено. Оно не для таких, как ты. — Христина испекла пирог, бабушка подарила мне пятимарковый золотой для моей копилки.

— Тебя ещё ждёт сюрприз, — взволнованно шепнула мне мама на ухо, — чудная, чудная поездка...

Был июльский вечер. В листе каштанов щебетали птицы. День умирал в тихом, тёплом сиянии. Прощание кружило голову и наполняло душу счастьем, ибо всё вокруг, казалось, ликует: мир не знает ни начала, ни конца, всё вечно течёт, и всё возвращается.

Куда обращён мой взор? К чему приник мой слух? Ловил ли я звуки гармонии? Ушло безвозвратно... Видел ли я, как мы бежим по улицам, втыкаем спички в звонки, так что весь дом приходит в движение и дворники гонятся за нами и ругаются нам вслед? Ушло безвозвратно... Присядет ли ещё Христина к кровати «их милости»: «Через гэд, через год, как созреет виноград...» Ушло безвозвратно... Там, на углу, ровно в половине восьмого утра, меня ждёт Францль. Безвозвратно, безвозвратно.

Стемнело. Звон колоколов в этот миг был мне невыносим, столько в нём было грусти. Что они там вызывают о «новой жизни»? Я готов был, только бы успокоить себя, крикнуть колоколам: «Мой отец, в конце концов, важный государственный чиновник...»

— Что же, зажечь лампу и отпереть дверь? — спросил я у Темноты.

— Нет, подожди ещё, — ответила Темнота, — я ещё не всё сказала тебе...

Я вслушался в Темноту.

Мой собственный голос насмешливо прозвучал из темноты:

— Такие, как я!..

Лишь теперь я услышал, что в дверь стучат и меня зовут.

— Сейчас! Сейчас!

На пороге стояла мать.

— А я уж испугалась, не случилось ли чего с тобой.

— Почему ты думала, что я что-нибудь над собой сделаю, мама?!

Отец начал писать «Семейную хронику» вскоре после женитьбы. В качестве эпиграфа под заголовком значилось дважды подчёркнутое: «Собственными силами». Посвящая меня в семейную хронику, отец произнёс такую речь:

— Человек от кого-то происходит. Человек должен знать, кто он по происхождению. Мы рождаемся не на пустом месте. И вот, на вопрос, от кого мы приходим, отвечает «Семейная хроника», для этого она и существует. Каждому немцу следовало бы завести себе подобную семейную хронику и заниматься изучением своей родословной... Прежде всего и главным образом обрати внимание на то, что наша родословная как с отцовской, так и с материнской стороны глубоко уходит в шестнадцатый век и что мы принадлежим к чисто немецкому и строго протестантскому роду. Ни один католик, не говоря уж о евреях, не вошёл в наш род, и тем самым честь нашей семьи остаётся по сей день незапятнанной... Ты наследник рода. С тобой род Гастлей либо получит свое продолжение, либо вымрет...

«Семейная хроника» восходила к годам, предшествовавшим, как и сказал отец, Тридцатилетней войне, во времена которой среди предков отца значился некий владелец трактира «У весёлого гуляки»; уроженец Франконии, он был, — как утверждала собственноручная запись отца, — за непокорность светским и духовным властям колесован и сожжён в Пегнице под Нюрнбергом.

Отец вдруг заговорил попеременно двумя голосами: один был его, обычный, а другой напоминал скорее голос Ксавера. Запись на первой странице, сделанная много лет назад, казалось, удивила отца. Голосом Ксавера он обрадованно воскликнул, словно приветствуя старого знакомого: — Вот так встреча!.. Какими судьбами!.. — И, заговорив вторым голосом, стал спрашивать себя, точно подвергая сомнению подлинность собственной записи: — Кто это пишет? Как он сюда затесался? Совершенно невероятно! — Он быстро перевернул первую страницу «Семейной хроники», чтобы привлечь моё внимание к тем страницам, которые, на его взгляд, свидетельствовали о более славном прошлом нашего рода.

Подле каждого Гастля стоял крест. Мы бродили с отцом по кладбищу. Мы обозревали многочисленных Гастлей и многочисленные кресты. Я уже видел, как рядом с именем отца и моим именем вырастает такой же жалкий крестик. Отец заложил здесь, в семейной хронике, для своего рода новый, достойный удивления, склеп.

— С тех пор поколение за поколением, честно трудясь, поднималось всё выше и выше, — удовлетворённо произнёс отец,

перелистывая хронику. Он приосанился: — И всё это собственными силами! — И о себе отец мог с гордостью утверждать, что он собственными силами выбился в важные государственные чиновники с правом на пенсию. Я восторженно слушал его, благоговей перед «собственными силами».

Когда, спустя несколько дней, я, кряхтя, снял со шкафа огромную «Семейную хронику», чтобы вновь перечитать то место, где говорилось о моём колесованном и сожжённом предке, то оказалось, что эта первая страница чистенько и аккуратно вырезана из книги предков.

У меня было чувство, будто я обнаружил чудовищное преступление, которое отец старался скрыть. «Тёмное пятно!» В погоне за Тёмным пятном я обшарил все ящики и секретные отделения отцовского стола и даже золу в печке исследовал, но хозяин трактира «У весёлого гуляки» пропал бесследно.

\* \* \*

Уже на пасхальной неделе обычно решался вопрос, куда мы поедем на лето. В эту пору на отцовском письменном столе скоплялись груды карт и проспектов. Отец держал от меня в секрете своё решение, чтобы сделать мне сюрприз. Я старался выведать этот секрет у матери, которая была посвящена в планы отца. Но мать на все мои вопросы отвечала:

— Ну-ка, угадай! Может быть, в Букстегуде...

Отгадывать я заставлял Христину. Я завязывал ей глаза и предлагал водить пальцем по карте. Если палец дрогнет, то тут-то и будет то самое место, куда мы поедем.

Я прибегал к таким ребяческим затеям в надежде, что несносное «их милость» будет предано забвению и Христина снова скажет мне «ты». Но Христина только грустно качала головой: — Нет, нет, теперь уже кончено... — Я не в силах был вернуть её «ты»!

Так и осталась нераскрытой тайна предстоявшей нам чудесной летней поездки.

Как раз те карты и проспекты, которые могли навести меня на правильную догадку, отец старательно прятал. Мы точно играли с ним в прятки. Отец, повидимому, подозревал, что мне известны потайные ящики его письменного стола, поэтому он находил всё новые и новые тайники. Когда ему удавалось сбить меня со следа в погоне за его тайной, он удовлетворённо ухмылялся.

Лишь когда мы сидели в поезде на пути в Фюссен, отец сообщил, что в нынешнем году мы посетим короля Людвига II в его замке Нейшванштейне.

Если Фюссеп был уже мне немного знаком, так как с Гроссгес-селоэского моста и со Штарнбергского озера я не раз любовался видом его гор, а взбираясь на лесистые склоны у Кохельского озера, побывал и на высоких вершинах, то здесь, в Гогеншвангау, на берегу альпийского озера, родители мои, верно, немало дивились тому, что я весь день смущённо молчу, словно вид неподвижно покоящейся воды и отражённых в ней диких скал отбил у меня всякую охоту говорить. «Божий глаз» называлось это озеро, такое оно было ясное и бездонное на вид; сияющее, оно проникало в душу и непреодолимо влекло в свои всковечные глубины.

— Неужели тебе не нравится? Да посмотри же, как это чудесно! — Шумно восторгаясь, мать заставляла меня любоваться красотами природы, а отец с досадой говорил:

— Жаль, такой взрослый, гимназист уже, а природы, видно, не чувствует.

Гимназист! — отныне это слово так часто повторялось, что я не раз жалел: ах, лучше бы я остался в городской школе!

Мы поселились в окрестностях Гогеншвангау, в гостинице «У седого утёса».

Мюнхен отодвинулся куда-то далеко. Я смотрел в ту сторону, откуда мы приехали. Тишина стояла бездыханная. Воздух струился. Сквозь ржаные поля бежали узкие стёжки. При взгляде в синее, бездонное небо кружилась голова. Я думал о том, что ведь отец был когда-то крестьянским мальчиком, и решил при первом удобном случае опять спросить у него о его детстве. Я закрывал глаза и как будто плыл куда-то вместе с полем, небом, горами и тишиной. Все люди казались мне ужасно добрыми, они улыбались друг другу, и глаза их ласково светились. У меня не было никаких желаний, как в ту ночь на балконе, когда мы всей семьёй встречали новый век.

Эта тишина, казалось мне, сближает людей так же, как парад или большой праздник. Когда в церкви Богоматери при поднятии дароносицы верующие опускались на колени, рождалось такое едиение, и даже когда на Максимилианплаце, против дворца, при смене караула играли вечернюю зорю и огни факелов, разгораясь, поднимались над многими и многими головами людей, — они, эти люди, пьянея и шатаясь от счастья, сливались воедино...

С Феком и Фрейшлагом я уговорился переписываться во время каникул. И вот, от Фека получилась из Оберсдорфа открытка с видом, но Фек — это было что-то очень далёкое, так мог называться и какой-нибудь город, незнакомый, безразличный.

А за горами стоял Гартингер, тщедушный, невзрачный Францль.

Я хотел отвернуться от него: «Ничего не поделаешь, так уж оно водится», но благостная тишина заставила меня неопределённо помахать ему рукой.

«Зажить по-новому!» — слабым эхо звенело у меня в ушах. «Зажить по-новому!» — звонили где-то далеко колокола.

## XXII

Напевая про себя, бродил я под высокими сводами торжественной целительной тишины.

Не скрытое ли течение унесло меня отсюда некогда и забросило в город? Город манил меня, как опасное приключение, но только те его уголки я способен был любить, которые, подобно садоводству Бухнера, напоминали мне о потерянном рае.

Иногда среди урока или в уличной суতোлке вставляли передо мной шумящие леса и, пламенея в зареве заката, манила меня одинокая вершина с обветшалым деревянным крестом.

Сидя на парте, я вдруг переносился в поросшую синей горечавкой ложину, а бывало, что, замечтавшись перед витриной обувного магазина, я видел перед собой поминальный камень, на котором стихи и рисунок рассказывали о том, что здесь, застигнутый грозой, сорвался и погиб одинокий путник.

Тирольские плясовые мотивы, задорные напевы в деревенских трактирах, монотонное пение молитв, доносящееся вечерами из часовни святой Марии, набат, который под грохот громовых раскатов скулит в испуганно притихших долинах, — вот та скрытая музыка, что всегда сопровождала меня; цитра и гармонь рождали доминирующие аккорды, вокруг которых вилась песня моей жизни.

Когда я рано поутру входил в еловый бор, поднимавшийся по горному склону за гостиницей «У седого утёса», когда я, робея, шёл всё дальше, а лес рос и рос, и я бесследно терял в нём себя, — разве то не было возвращением туда, откуда я однажды ушёл: я знал теперь, откуда я родом, откуда я происхожу — вот откуда я был родом, здесь была моя родина.

Когда в полуденный зной по Шванзее плыла наугад моя лодка, пока не запутывалась в прибрежных камышах, и когда стрекозы, чертя трепетными крылышками воздух, носились над водяными лилиями, когда облака и горы, гресмозясь друг на друга, покоились в зеркальной глубине озера, тогда я знал: я вернулся в родной край, это — родина.

Когда в сумерки грозные высились горы — какое угасание после жаркого багрянца догорающего дня! — и когда во тьме

оживали горные ручьи и журчанье их слышно было далеко-далеко,—я знал: здесь моя родина.

Вот откуда я родом. Вот откуда я некогда пришёл, по такой же дороге, как та, что соединяет Фюссен с Гогеншвангау, или та, что ведёт через границу в Тироль, в Рейте и к Планскому озеру; это была моя дорога, пробитая в скалах, прихотливо выщипанная, ныряющая вверх и вниз, изъезженная тяжёлыми возами, усеянная кучками коровьего навоза.

Родиной был и маленький лесной трактир, где сидели дровосеки и возчики, где густо плавал табачный дым и где играли в карты. И там она таилась, моя родина, в колоссящихся ржаных полях. Она была в жатве и в вязании снопов. Она была в строках, высеченных и вырезанных на плитах и крестах деревенского кладбища, я охотно останавливался перед ними, вчитываясь в имена и благочестивые изречения. И в пёстрой суতোлке базарных дней родина кивала мне с возов, высоко нагруженных только что снятым хлебом.

Вот откуда я родом.

Теперь, при встрече с родиной, я чувствовал себя кругом виноватым. Во многом-многом чувствовал я себя виноватым. Я весь был полон покаянной мольбы о прощении. У Францля хотелось мне просить прощения, больше всего зла я причинил ему. Но Францль недоверчиво отворачивался от меня: «Подождём — увидим». У Ксавера хотелось мне просить прощения,— как могло в самом деле случиться, что я поссорился с ним! У учителя музыки Штехеле я просил прощенья и обещал ему каждый день по часу играть «Грёзы» Шумана. Перед бабушкой я тяжко провинился: мне хотелось поскорее вырасти и каждый месяц тайно класть в её старинный шкафчик десятимарковый золотой, сбережённый из моего заработка. И Христине я причинял много огорчений. Разве не гадко то, что я задираю её подол и выводил её из себя? Наконец родители. Я платил им чёрной неблагодарностью за всё их добро. Но как только дело дошло до отца, моё покаянное настроение сразу же исчезло. Быть может, самое лучшее было обратиться к этой прекрасной, мирной картине, обратиться к родине, где повсюду обитал господь бог, и просить его: — Прости меня... И избави меня от лукавого. Аминь.

Это была такая же прекрасная, мирная картина, как та, которую я нарисовал бабушке и под которой написал «Радость».

Глядя на эту прекрасную, мирную картину, я чуть было не забыл про кровопролитный бой под Мукденом. Генерал Стессель был моим героем, он и от нашего кайзера получил орден.

И всё-таки Порт-Артур пал. Позже, правда, стало известно, что генерал Стессель был подкуплен японцами, поэтому он, почти не оказав сопротивления, сдал крепость со всем гарнизоном.

И вот, из-за лугов и полей, из-за холмов и гор моей родины показался громадный русский флот, он подплывал всё ближе, тишину взорвал грохот страшного Цусимского боя.

Я сидел высоко на марсе и обзирал море, покрытое трупами и обломками кораблей. На горизонте сплошную завесу клубящегося дыма прорезали вспышки выстрелов из огромных орудий. Столбом вздымалась вода, языки пламени вырывались из раскалённых бронированных башен. К броненосцам подкрадывались торпеды, несясь почти у самой поверхности воды, оставляя за собой пенящиеся борозды. Так как мне ничего другого не пришло в голову, когда волны ринулись на мой тонущий корабль, то я зашел:

О чёрно-бело-красный флаг.  
Мы все — твои сыны —  
До гроба каждый вздох и шаг  
Тебе отдать должны.

### XXIII

Отцу тут всё было знакомо. Он даже знал название каждого горного пика. Здесь отец был совсем иной, чем в городе: не противился расспросам о той поре, когда он был деревенским парнем, не боялся признать это прошлое, радовался ему, хотя в городе он последнее время не слишком охотно на него оглядывался.

Попутру, поднявшись, — «Геррих!» будила его мать, — отец наполнял комнату бодрым свистом. За завтраком сидел на террасе без пиджака, пощипывал мать за щёку и нежно звал её: «Бетти!» На мою тарелку он клал аппетитный крендель. С ложки в руках матери тянулись янтарные нити мёда. За завтраком пахло хвоей и куковала кукушка. Теперь отец часто снимал пенсне, и глаза его уже не жалили по-комариному, и он весело хлопал себя по ляжкам волосатыми руками.

Отец повёл меня в замок на горе.

Дома я не раз вырезывал и склеивал замок Нейшванштейн. Набив в него ваты, я приступал к осаде и обстреливал его зажжёнными спичками. Как только пламя охватывало его, я приказывал моим войскам наступать, и военный оркестр играл «Станем на молитву»... Оловянные солдатки, на которых возложена была защита крепости, плавилась в бесформенные комочки. Убитые не выходили из игры, убитые и раненые даже продавались в отдельных коробках на Променаденплаце, в магазине

оловянных солдатиков, который так незаметно притаился на углу площади, как будто в нём тайно велись войны; можно было часами простаивать перед его витриной, разглядывая наступающие армии и ярко раскрашенные поля сражений...

Отец держал себя так, словно он был хозяином замка. Гордый и преисполненный величия, шагал он со мной из зала в залу. Валькирии парили на конях, на одном из гобеленов пел Лоэнгрин. Дворцовый привратник позволил нам полюбоваться королевским золотым рукояйником: вода текла из клюва драгоценного лебедя с алмазными глазами. В центре обнесённого колоннадой двора был искусственный пруд. В полуночный час, одетый рыцарем-лебедем, король садился в серебристо-голубую ладью, а в это время откуда-то сверху лились звуки невидимого органа.

Отец так рассыпался в выражениях восторга, что я даже встревожился: вот-вот он забудется в бреду и начнёт буйствовать, как дядя Карл. Да и самый замок, в котором мы находились, казался мне чудным, точно строил его какой-нибудь дядя Карл, неважно, что звали его король Людвиг. Я боялся, что замок сейчас завоюет, и рад был, что уже неоднократно сжигал его до основания.

Отец, который по выходе из замка повёл меня в лес собирать грибы, был тот отец, о котором я мечтал. Я заново создал себе образ отца, свободный от того тёмного и страшного, что было в прежнем отце.

Отец был слугой Рупрехтом, который высыпал мне из полного мешка яблоки и орехи. Среди орехов попадались золочёные. Отец был рождественским дедом, который играет на рояле и дарит ребятам строительные наборы и паровозы. На ёлке висели айвовые леденцы. Отец был велосипедом, полученным мною в подарок ко дню рождения, он был и альбомом с марками, и лесом, и альпийским озером, и горами, и летними каникулами.

К отцу являлись курьеры из здания суда. Государство посылало отцу запечатанные сургучом пакеты. Отца вызывали в Берлин, где ему поручили написать большую толстую книгу: «Гражданский кодекс». А сколько экзаменов сдал в своей жизни отец, и всё на отлично, а за докторскую диссертацию он даже удостоился «высшей похвалы». Это он написал «Баварское гражданское уложение» — двенадцать томов в синих кожаных переплётах. А разве теперь принц-регент не принял отца в замке Гогеншвангау? Недолго ему и до ордена. А может быть, принц-регент пожалует ему даже потомственное дворянство. Я уже старательно упражнялся в подписи с приставкой фон. Если бы отец был католик, он, конечно, занимал бы одно из первых мест в крестном ходе с плащаницей, — куда лейб-гвардейцу до него, он, по меньшей мере, одного ранга с подполковником.

Отец знал все виды грибов — съедобных и ядовитых. Он поучал меня, что есть и люди с ядовитыми мыслями, очень заразительными; от таких мыслей могут погибнуть целые народы.

— Вот такой опасный, ядовитый человек — старик Гартингер, социал-демократ. Он из тех бездельников, которые сами ничего не добились в жизни и не могут простить другим успеха и богатства. Дай им волю — и окажется, что и кайзера не нужно и прекрасные замки надо сравнивать с землёй...— Ай-ай! я со страхом посмотрел на отца: верно, он видит меня насквозь и уже догадался, как я справился с замком...— Оттого-то и вспыхнула революция в России, что там слишком церемонились с населением. Бунтовщики собрались перед Зимним дворцом и — какая дерзость! — вздумали вручить царю петицию! Тьфу ты, чорт! — отец сплюнул, — они даже иконы притащили с собой! Но царь не попался на эту удочку. Он велел просто-напросто расстрелять этот сброд. Задал им перцу. А теперь в стране всё перевернулось вверх дном, террористические акты, беспорядки. В великих князьях стреляют. Ни один порядочный человек не рискует показаться на улице. Даже корабль один взбунтовался. — Как, целый корабль? — переспросил я. — Да, то-то и есть, что целый. — Почему я обрадовался, узнав, что речь идёт о целом корабле?! — И то же самое грозит Германии, если слушать этих безответственных людей, которые вечно болтают о новой жизни. «А ведь правильно, — подумал я, — эта новая жизнь иной раз звучит не только заманчиво, но и страшновато». — Всё дело в том, чтобы каждый выполнял свой долг. А долг состоит в обуздании своих страстей. Я бы тоже с удовольствием стал чем-нибудь другим, например, землевладельцем. Но жизнь — это самопреодоление. Я служу государству, потому что государство — превыше всего, оно воплощение морального закона... Таким образом, мы, государственные чиновники, несём огромную ответственность... В особенности судьи... Мы заботимся о торжестве справедливости... Понятно тебе?!

Мы стояли перед муравьиной кучей.

— Каждый муравей здесь выполняет свой долг. Всё протекает в образцовом порядке.

Я смотрел на эту возню, тщетно пытаюсь в ней разобраться.

Мы пошли дальше, лес поредел, и мы увидели дровосека, сидевшего на пне.

Отец заговорил с ним. Я заметил, что он при этом изменил голос. Да и дровосек явно изменил голос. Он встал, держа шапку в руках. Оба говорили деланным голосом. Совсем как волк

в «Красной Шапочке». Значит, они кривили душой, говоря друг с другом.

— Ну, как живётся?

— Да, что ж, живётся, как живётся, ваша милость!

— А погодка? Что скажешь?

Отец говорил дровосеку «ты», и это льстило дровосеку; «ваша милость» и «вы» в обращении дровосека доставляли удовольствие отцу.

— Ну, как, постоит хорошая погода?

Упоминание о «хорошей погоде» вызвало у дровосека кислую мину. Ничего «хорошего» не было для него в этой погоде, он предпочёл бы прохладную погоду, даже, вероятно, дождь. Но вслух он сказал:

— Что ж, судя по ветру, пожалуй, и постоит.

Отцу, чтобы как следует использовать отпуск, нужна была безоблачная погода, дровосеку же, наоборот, жара была помехой в его работе. Какое уж тут согласие, если в их жизни всё разное. Удивительно! Ведь когда-то они ничем не отличались друг от друга, или, во всяком случае, очень немногим. Ясно, что дровосек родился не «в господской семье». И отец тоже был крестьянским мальчиком. Но отец, верный своей надменно-снисходительной манере, держался с дровосеком не как со старым знакомым, да и тот не говорил с ютцом, как с ровней. А ведь ещё за утренним завтраком отец с таким удовольствием вспоминал своё детство. Дровосек был у себя дома, отец же покинул свою родину и переселился в город, и сколько бы он ни менял голос, всё равно, они с дровосеком жили на разных полюсах.

Я подумал, что ведь и мать часто говорит деланным голосом; я слышал, как она таким голосом говорила Христине:— Постушай, Христина, не можешь ли ты в это воскресенье остаться дома и помочь мне?— И голос Христины звучал деланно, когда она отвечала:— Ну, разумеется, ваша милость.— Это она могла сказать только деланным голосом, ведь Христина носила мать на руках, когда та была крошкой. Старик Гартингер тоже разговаривал деланным голосом, когда приходили заказчики, в особенности, если это были офицеры. Все прятали свои настоящие голоса и лгали друг другу. Некоторые так вкрадчиво чирикали тоненьким голоском, желая втереться в доверие, а вот учителя, те иной раз рычали, хотя им было вовсе не до рычания. К чему всё это? К чему эти деланные голоса? Что же, выходит, что человек при желании говорит разными голосами, а собственный он прячет либо совсем утерял? Может быть, если бы каждый заговорил собственным голосом и перестал лицемерить, люди бросились бы друг на друга, и везде вспыхнула бы революция, как в России...

Отец и дровосек сказали друг другу: «Счастливо оставаться». При этом внезапно голоса их стали на место. Прощание прозвучало насторожённо, почти враждебно. «Корабль! Целый корабль!..» — не выходило у меня из головы.

Мы подкрепились бутербродами. Я ел так, точно мне предстояло набраться сил для величайших подвигов. «Грудь вперёд!» — подбодрял я себя и, мысленно измеряя отцовские плечи, прикидывал, сколько мне ещё расти до него. Я держался так прямо, что отец заметил это и удовлетворённо похлопал меня по плечу.

Как только мы вышли из лесу и перед нами вырос небольшой холм, я попросил отца поиграть со мной в «атаку». Мы были гвардейской пехотой. Окопавшийся противник расположился со своей многочисленной артиллерией на вершине. Мы наломали веток и заострили их. Построились в ряды, ружья к ноге. Прижмули штыки. Противник открыл огонь. Пули густо ложились подле нас. Я протрубил сигнал: «На приступ!» И противник протрубил сигнал. Трубные звуки гулко отдавались от скалистых стен. Сзади подъехала наша артиллерия. «Бегом, марш!» Мы стреляли на бегу, выбрасывая далеко вперёд наши палки. Мы падали плашмя на цветущую лужайку, отец — с пенсне на носу — рядом со мной. Только успел я крикнуть: «Под прикрытием!» — как над нами завизжала картечь. Отец застонал, — я так велел ему, — он был ранен... — У тебя всё лицо изуродовано, а живот... внутренности... — Довольно! Довольно! — оборонялся отец, он не хотел, чтобы его так тяжело ранили. — Счастье твоё, папа, что так обошлось, это могло стоить тебе... — Отец сказал серьёзно: — Это уж слишком... — Ну, ладно, ладно, рана не страшная, — успокоил я его, боясь, как бы он не прекратил игры. Я сделал ему временную перевязку, и мы бросились на штурм высоты. Неприятель был в красных штанах. Но этого было мало. Это ещё не давало точного представления о неприятеле. Я мысленно искал его среди знакомых мне лиц. Гартингер... Ур-ра!... Мы обратили его в бегство.

С возвышенности перед нами открылась цепь снеговых гор. Трещали кузнечики. Солнце палило. С палкой на плече я маршировал вслед за отцом по усеянному трупами полю битвы. Мы пели «Был у меня товарищ»...

Но едва дошло до слов:

И был он вырван с кровью  
Из тела моего, —

как мне пришлось запеть громче, чтобы подавить подступившие к горлу рыдания. Ибо Гартингер, которого я только что убил,

как врага, был теперь мой лучший друг, и он пал от пули вторично, сражаясь плечом к плечу со мной. Разорённая земля, простиравшаяся передо мной, была моя родина. Отец обернулся ко мне:— Что ж ты не поёшь? Пой! — И я запел:

Ты не пожмёшь мне руку,  
Но в вечности, в разлуке,  
Будь верным другом мне.

Я пел, глотая слёзы и обратив лицо к горам, за которыми стоял Гартингер, и рука моя, которую я не мог протянуть ему, повисла, как неживая, в воздухе, и какой-то голос нащёпывал мне: «Корабль! Целый корабль!»

\* \* \*

Я не знал тогда имени корабля. Неведомый корабль приплыл сквозь ночь, сияя множеством весёлых огней, и я во сне всё изумлялся: «Корабль! Целый корабль!»

Матросы играли на гармонии, а один из них, стоявший на капитанском мостике и похожий, как мне казалось, и на Гартингера и на Ксавера, помахал мне рукой и что-то сказал, но я не мог разобрать его слов, они потонули в подхваченной всем кораблём песне о новой жизни.

Завидев у берега большое, расцвеченное огнями судно, люди закричали: «Корабль! Целый корабль!»

Тогда и я поспешил на берег и от радости стал бросать в море плоские камешки так, что они по многу раз подскакивали на поверхности воды.

## XXIV

Мальчишку садовника звали Гиасль, у него не было велосипеда, и он не умел плавать.

— Откуда ты это взял?! — спросил я Гиасля, когда он рассказал мне, как зимой, каждую ночь, лишь пробьёт двенадцать, король Людвиг мчится по снежным полям, в санях, запряжённых двенадцатью серебристо-белыми конями, на свидание с прекрасной Елизаветой, королевой австрийской.

— Да что ты выдумываешь! Ведь они оба давно умерли!

— Давно умерли?! Как бы не так!.. Ну, а если я побожусь тебе, что сам видел, как король со своими двенадцатью конями проносился в полночь по дворцовому мосту, — нет, ты бы только поглядел, до чего они трусят каждый раз, эти жандармы!

— Жандармы? Как так?

— Да ведь все жандармы подсланы пруссаками, они и короля непрочь бы арестовать...

— Жандармы?!

Гиасль запел, многозначительно подняв указательный палец:

Доктор Гудден и канцлер Бисмарк,  
Которого также великим зовут,  
На него украдкой напали сзади  
И подло его столкнули в пруд.  
Коварный канцлер! Не много чести  
Тебе этот гнусный поступок принес.  
Врага не в открытом бою сразил ты,  
А в спину ему удар нанес.

Я смотрел на Гиасля, как он пел, как он открывал и закрывал рот. Я стоял перед ним, как в тот раз перед Гартингером, когда велел ему ловить ртом монеты, и чувствовал, что в глазах моих загорается враждебный огонёк. «Голь перекатная,— думал я,— а туда же — петь! Все голодающие против власти». «Нравственный закон», — словно эхо прозвучали во мне слова отца. И гармонь Ксавера тоже против власти. Я сердито спросил:

— Так выходит, что он всё-таки умер, твой король, с его двенадцатью конями.

— Король... Да ты, видно, и сам жандарм, а?!

— А ты — ты Гартингер, вот ты кто!

— Гартингер? Это ещё что за штука? Жандарм, жандарм!..

Я вытер лоб, словно кто-то плюнул в него, и долго ещё стоял с судорожно открытым ртом, а Гиасля давно и след простыл.

\* \* \*

Внизу, под нами, жила семья советника суда доктора Тухмана, и с нею фрейлейн Клерхен. Тухманские дети — четырёх и шести лет — вечно цеплялись за юбку фрейлейн Клерхен и прятались в складки этой юбки, как только я с ними заговаривал.

После обеда — от двух до четырёх — родители спали. Ничто не смело нарушить этот послеобеденный сон. От послеобеденного сна зависело, состоится ли велосипедная поездка на озеро, с остановкой в «Альпийской розе», где мы пили кофе, или же день закончится уныло.

Я всячески оберегал родительский сон. Снимал ботинки, чтобы не вспугнуть тишину, урезонивал капающий водопроводный кран и ссорился с окном, которое не желало угомониться и бессовестно скрипело.

После обеда, от двух до четырёх, фрейлейн Клерхен сидела на качелях с книжкой в руках. Время от времени она легко отталкивалась от земли и медленно покачивалась взад и вперёд,

не отрывая глаз от книги. Мне казалось, что она не замечает меня, когда я, от двух до четырёх, сидел в беседке, устремив на неё мечтательный взгляд. Я смотрел на неё с таким же восхищением, с каким часто разглядывал портрет матери, стоявший на мольберте в запретной гостиной. Я смотрел на неё, и от одного этого всё вокруг становилось другим, и сам я тоже становился другим. Ежедневное послеобеденное — от двух до четырёх — созерцание фрейлейн Клерхен превращало весь мой день в праздник, и я ничего больше не желал, как сделать всех, всех людей такими же счастливыми, как я. Нелегко было скрывать своё счастье, лишь лесу и горам мог я поведать свою тайну, лишь их мог просить вместе со мной заглянуть в сад, где тихо качались качели.

Новые времена, которые отныне наступили, сделали меня таким благонравным, таким предупредительным со всеми и таким ласковым, что даже родители мои не могли надивиться: «Да тебя точно подменили! Совсем другой мальчик!» Я теперь и сам себя не понимал, я смотрел на себя с ужасом и недоумением, когда, словно в зеркале, видел себя в моих отношениях с Гартингером. Фрейлейн Клерхен являла мне совершенно иное моё отражение. Уж не таким ли я мерещился себе в ту новогоднюю ночь, когда на празднично убранном балконе я давал троекратную клятву! День не походил на прежний день, ночь не походила на прежнюю ночь. Фрейлейн Клерхен была волшебницей, превратившей меня в другого человека. Всё, что было доброго, исходило от неё, она была источником всех моих радостных минут. Невидимая,\* она давно витала вокруг меня. Во всех людях, которых я любил, была, казалось, частичка её существа.

Теперь я обращал внимание на вещи, мимо которых до того проходил равнодушно; точно прозрев, я каждый день открывал вокруг себя бесконечно много нового и достойного любви. Я снова дал торжественную клятву стать хорошим человеком. Если бы я всё время смотрел на вот такое любимое лицо и только и делал бы, что старался запечатлеть его черты и отразить их в себе, то, думалось мне, исчезла бы всякая опасность, что я сойду с правильного пути и опять стану таким несносным, как раньше.

Время от двух до четырёх стало для меня мигом счастья. Два послеобеденных часа пролетали мгновенно, а раньше они тянулись томительно и лениво, в сонной скуке. Вечностью казались часы ожидания. Самый же миг счастья был взмахом качелей, неслышным дуновением времени...

Я брал с собой в беседку книгу, иначе могло бы показаться подозрительным, что я каждый день по два часа сижу там без дела. Фрейлейн Клерхен читала книгу, и мне хотелось читать

вместе с ней. У меня была книга стихов. Я прочитывал стихотворение, повторял его вполголоса, обращаясь к фрейлейн Клерхен, следя за тем, чтобы перевернуть страницу одновременно с ней. Часто я косился на пустое место рядом, словно она, моя волшебница, сидела тут же и с каждым взмахом качелей залетала ко мне в беседку.

Встречаясь с фрейлейн Клерхен в другое время, я лишь мельком здоровался с ней. Я даже избегал таких встреч; прежде чем выйти из дому, я всякий раз обдумывал, как бы мне проскользнуть мимо неё так, чтобы остаться незамеченным. Когда однажды, идя с родителями, я не мог уклониться от встречи, я отвернулся и не ответил на её поклон, за что мать на меня накинулась: — Что за манеры! Вот невежа, с людьми не здоровается! — «Ничего ты не знаешь, мама, — промолчал я в ответ, — ей двадцать четыре года, отец её старший лесничий в окрестностях Ландсгута на Лехе, и ночью, когда она ложится спать, я слышу каждое её движение, ведь её комната внизу, под моей...»

И вот, невозможное случилось: однажды в послеобеденную пору, от двух до четырёх, фрейлейн Клерхен, оставив сильно раскачавшиеся качели, направилась прямо ко мне в беседку. Я так и не успел перевернуть пустую страницу; низко склонившись над книгой, я уставился на пустую страницу, чувствуя, как моё лицо пылает, оттого что фрейлейн Клерхен вошла в беседку.

— Что это вы читаете? Интересная книга?

Разумеется, в этот миг на пустой странице запечатлелось немало прекрасного, но на ней запечатлелось и разочарование от того, что фрейлейн Клерхен покинула свои воздушные качели. Я бы с радостью снова отодвинул вдаль её образ, но, хоть она и была совсем рядом, её тихий, певучий голос доносился будто издалека...

Каждый день, от двух до четырёх, мы сидели теперь вдвоём в беседке. Читала фрейлейн Клерхен, читал я, а когда мы наталкивались на что-нибудь особенно прекрасное, мы читали друг другу. Весь день и даже в самый миг счастья меня не покидала мысль о том, чем бы мне порадовать фрейлейн Клерхен, чем бы мне стать в будущем, чтобы сделаться достойным её. Её тихий, певучий голос напоминал мне и трио, и уроки пения, когда мы вместе с девочками разучивали хоралы. Ласкающие интонации Христины слышались в её голосе, и гармонь Ксавера пела тем же тихим, певучим голосом, тепло осенявшим более резкие, высокие ноты. Учитель Штхеле, играя «Грёзы» Шумана, своим волшебным смычком мог вызвать к жизни этот голос. От звука его у меня слова застряли в горле, когда я вздумал было заявить, что сделаюсь генералом и великим полководцем. Этот

голос, такой тихий и певучий, казалось, заставлял меня думать о выборе другой профессии. Он не уживался с воинственным бряцанием, в нём благостно звучала родина, голос фрейлейн Клерхен был голосом мира.

Миг счастья протекал в безмолвии. Мы сидели рядом и то глядели в книгу, то друг на друга. Время от времени мне казалось необходимым произнести несколько слов, и я выискивал самые общепринятые фразы, чтобы не выдать всего того, что звучало во мне. Как хорошо было сидеть рядом с кем-то, в беседке, которая замыкала в себе мир, пряча его под мерцанием листвы. Иногда я чувствовал себя как пловец, я будто нырял, задерживая дыхание, в полумрак, в бездонность, в забытьё. Когда время близилось к четырём и фрейлейн Клерхен на прощанье поворачивала ко мне лицо, её улыбка означала: будем говорить друг другу «ты». Едва она уходила, как я вновь обретал те слова, которые целый день вынашивал, и говорил: «Ты... ты... ты...»

Однажды отец, только что поднявшийся после своего послеобеденного сна, резко оборвал меня, когда я спросил насчёт обещанных мне кожаных штанов. Он сидел в беседке с советником Тухманом, и оба согласно кивали друг другу в знак полного единодушия.

После совещания с советником Тухманом отец вызвал меня к себе: — Что это вы там делаете каждый день после обеда? Зачем это вы, тайком от всех, таскаетесь в беседку?! — Мать подхватила: — Ну и тварь... Скандал!.. Всё, что угодно, только не это... С такой особой у тебя не может быть ничего общего... В твоём возрасте, как тебе только не стыдно?! — Скандал! — подхватил отец. Мать: — ...Пожалуй, это ещё почище Гартингера. Скандальная история!.. — Отец: — Бессовестная потаскуха! Как она смеет путаться с тобой — полурёбёнком! — Мать: — Ты потерял чувство сословных различий! — Отец: — Тут прямое преступление. Эту наглуую особу надо бы передать в руки полиции. Марш к себе в комнату! Под домашний арест! — И оба: — Скандал!

— Ну вот вам и скандал! — хотелось мне хихикнуть, меня сместило, как они оба бесились: «Скандал! Скандаль!» — но я не хихикнул, а заскрежетал зубами от ненависти: «Жадины-спаржадины!»

Мне становилось стыдно и за мать и за отца, когда я вспоминал, как отец ел спаржу. И как только он мог, не стыдясь матери, уплетать самую толстую, самую сочную спаржу. Мать, казалось мне, очень уж бессовестно улыбалась, когда отец жадно посасывал эту самую толстую спаржу, паяя на мать из-под пенсне круглые, масляные глаза. Это не были те Бетти и Генрих, кото-

рые в февральную ночь стояли, обнявшись, на балконе; тут мать могла бы, сколько ей угодно, говорить: «Я против», — я ей больше не верил...

Ночью я связал несколько полотенец и постучал ими в окно нижнего этажа. Окно фрейлейн Клерхен открылось, и я узнал, что, по настоянию моего отца, советник Тухман уволил фрейлейн Клерхен без предупреждения и завтра она уезжает.

— Прощай! — прозвенело окно и захлопнулось.

## XXV

Назавтра, в пять утра, отец разбудил меня. Мне вспомнился тот давнишний день, когда отец встал так же рано, в пять часов, но сегодня у этого любителя вставать спозаранку за плечами был рюкзак, а на ногах горные башмаки.

— Живо, приготовься! Мы отправляемся на Зейлинг!

В доме всё было ещё тихо. Он стал совсем другим, этот дом, полы в нём покоробились, и доски раздражающе скрипели, обои морщились и отставали от стен, — а всё оттого, что фрейлейн Клерхен сегодня уезжала. Другим казался и еловый лес, начинавшийся прямо за гостиницей; сегодня этот лес, угрюмый, подёрнутый туманной завесой, провожал фрейлейн Клерхен протяжным причитанием.

Отец ждал с горной палкой в руках.

— Ну-ка, поживее!

«Жандарм!» — огрызнулся я про себя и с благодарностью подумал о Гюасле, от которого позаимствовал это слово.

Отец совершенно преобразился, это был злой колдун, колдун поднял жезл, и качели замерли, и всё в мире застыло в неподвижности, и, хоть солнце светит, всё же холодно, и вокруг бродит гнетущий страх, и ветер дует из чёрной мглы.

Праздник кончился, счастье миновало.

Я проклинал лес, в котором так привольно чувствовал себя отец, шумно, чтобы я слышал, и точно назло мне, вдыхавший запах хвои. То отставая, то забегая вперёд, я пытался скрыться от отца, но как раз в ту минуту, когда мне это почти удавалось, он свистел и, точно на невидимом поводу, подтягивал меня к себе.

Внизу, в долине, похожий на кубик с насаженным на него треугольником крыши, виднелся наш пансион «У седого утёса». Мне даже казалось, что я узнаю окно, за которым фрейлейн Клерхен укладывала свои вещи.

Как только мы добрались до скалистых вершин, отца стало одолевать головокружение. Приятно было с презрением смотреть, как отец на четвереньках карабкается на крутые утёсы...

— А выше ещё круче будет! — убеждал я его прекратить нашу горную вылазку. — Вон там, подалее, острый, как нож, хребет, а справа и слева от него — пропасть.

Опираясь на горную палку, отец со страхом посматривал на каменные утёсы. Я видел, как он старался подбодрить себя; глубоко-глубоко переведа дух, он с новыми силами полез вверх.

«Отец, — издевался я про себя, — считает своим долгом совершить восхождение на Зейлинг. Но он подвержен головокружению. Ему надо его преодолеть».

— До сих пор — и ни шагу дальше, — вертелся я перед отцом на самом гребне перевала. — Смотри, отец, я лечу вниз. — Пришлось протянуть ему свою палку. — Ну вот, теперь я чувствую себя уверенней! — Отец ухватился за палку, и я осторожно потащил его вверх.

— Что бы ты сделал, отец, если бы тебе сейчас встретился старик Гартингер?

До меня донеслось только кряхтенье:

— Брось эти глупости, прошу тебя, ещё накличешь беду.

Просительный тон отца располагал к дальнейшим вопросам:

— А что, тогда действительно восстал целый корабль, большой корабль, весь целиком?

Но отец предпочёл отмолчаться; обливаясь потом, он стал подтягиваться вверх, держась за проволочный трос, отвесно подымавшийся к вершине. Я уже стоял на вершине и поторапливал «испытанного альпиниста», чтобы он пошевеливался.

Пока он взбирался вверх по расщелине и подо мною из стороны в сторону качалась его лысая голова, я должен был сделать над собой усилие, — мне казалось, это тихий, певучий голос удержал меня, — чтобы не столкнуть на него один из многочисленных горных обломков. Велика важность! Этого никто не обнаружит. Сорвался, вот и всё. Никто не заподозрит меня, «ещё полурёбёнка». Но прозвучал тихий, певучий голос и рассеял эти мысли. «Может быть, не всё кончено, отец только погрозился, и свидание ещё возможно?»

Но вот взобрался на вершину и отец.

— Вид не бог весть какой, да и гроза как будто собирается, а тогда спускаться будет трудно... — встретил я его, и деланным голосом, щебеча от избытка вежливости, пригласил расположиться поудобней.

— С тобой совершать горные вылазки весьма сомнительное удовольствие, — пыхтел отец, с трудом преодолевая одышку.

— Это оттого, что у меня нет кожаных штанов, — прикинулся я обиженным, — да, да... только оттого.

— Кожаными штанами твоё поведение никак не может объ-

ясняться. Нет, штаны здесь совершенно ни при чём,— ответил отец задумчиво.

Гетры на его ногах, с эдельвейсами по зелёному полю, спустились на самые башмаки, а тирольская шапочка, которую отец приколот к куртке английской булавкой, была совершенно измята.

— Подтяни гетры, а шляпу я бы на твоём месте надел, здесь наверху ветрено,— насойливо приставал я к отцу, который прислушивался к отдалённым раскатам грома.

Под нами проносились обрывки облаков, и время от времени сквозь них сверкающей точкой мелькала наша гостиница «У седого утёса».

Я заставил себя отступить на несколько шагов, так меня подмывало толкнуть отца в спину. «Зачем он мне нужен, я и без него проживу, в конце концов он важный государственный чиновник с правом на пенсию. Обо мне позаботится государство».

Я стоял на вершине горного утёса наедине с некой частицей государственной власти, и от меня зависело дать этой частице пинка. Свидетелей не было. Если бы даже дело и дошло до суда, то меня всё равно пришлось бы оправдать за отсутствием свидетелей и по недостатку улик. Внизу, в долине, у самого подножия горы, где стоит столб: «Вершина Зейлинг. Продолжительность подъёма—6 часов», отцу воздвигли бы памятник с надписью:

Короткий век—не редкость среди гор.

Смотрите: здесь сорвался прокурор.

Тут отец спросил меня:

— А вы действительно ничем предосудительным не занимались?— «Фрейлейн Клерхен, фрейлейн Клерхен!»— болью отозвалось в моей груди, и я ответил отцу вопросом:

— Чем же предосудительным мы могли заниматься? Ну?— без стеснения торопил я его, пока он мешкал с ответом.

— Ну, я хочу сказать—чем обычно занимаются в таких случаях...— произнёс он смущённо, деланным голосом, словно снисходя ко мне, и во взгляде его мелькнул, как мне показалось, масляный огонёк спаржееда...

— Я хочу сказать... Я хочу сказать...— передразнил я отца... «Ах, фрейлейн Клерхен»,— сжалось сердце, я собрался с духом и сказал:— Читали вместе, глядели друг на друга, вот и всё...

Это прозвучало смело и вызывающе.

Фрейлейн Клерхен— ради неё я держал ответ перед отцом, здесь, на горной вершине. Пусть весь мир знает...

— Читали и смотрели друг на друга?! И ты смеешь так нагло лгать отцу?!

— Хочешь верь, хочешь не верь — твоё дело. Мне совершенно безразлично.

Это были первые слова открытого сопротивления отцу, на какие я отважился. «Фрейлейн Клерхен! Фрейлейн Клерхен!» — ликовав я, и: «Голову долой!» — рычал я, мысленно обращаясь к отцу.

Отец промолчал; он втянул нижнюю губу и что-то пожевал. Потом поднялся, так ничего и не ответив мне. Он стал готовиться к спуску.

— Ступай вперёд, — попросил он. — Нет, ты ступай вперёд! — и я стал за ним.

— Берегись! Обвал! — заорал я оглушительно, но я рукой удержал ногу, и ни один камень не покатился в пропасть.

Отец втянул голову в плечи.

— Ах, нет, — опять защебетал я, — это ничего, я только хочу сказать...

Отец прикрыл голову рукой и чуть ли не на корточках опасно заскользил вниз, цепляясь за заросли низкого кустарника.

— Я только хочу сказать, подожди...

Я протянул руку, чтобы помочь ему; в своей беспомощности он похож был на учителя Штехеле, когда тому на улице сделалось дурно...

Фрейлейн Клерхен. Я срывал альпийские розы, поглядывая на небо: после нескольких раскатов грома гроза рассеялась.

А может быть, всё-таки раз на грозу надежды нет, привести в движение эти груды камней и вызвать обвал? Ведь в мире всё остановилось, замолк и тихий, певучий голос. Быть может, в эту самую минуту отошёл поезд, увозящий фрейлейн Клерхен.

Помахивая ей на прощание букетом альпийских роз, я легко прыгал с уступа на уступ. Далеко, далеко позади меня, осторожно нащупывая дорогу, спускался по горному откосу отец.

\* \* \*

Я заперся в своей комнате. Когда мать постучалась, я крикнул: — Оставь меня! — Больше мать не стучалась.

Было темно, в комнате я прощался с фрейлейн Клерхен, которая уже уехала. Кто-то играл на гармонии: «Через год, через год, как созреет виноград...», а затем переходил на песню о добром товарище... «Ты не пожмёшь мне руку, но в вечности, в разлуке, будь верным другом мне...» Это была, бесспорно, гармонь Ксавера, это она прощалась с фрейлейн Клерхен.

В саду качели... Ни взмаха.

Окно: безмолвно.

— Где ты оставил отца? Почему его до сих пор нет?— спросила мать через запертую дверь. В ту же минуту на лестнице зашуршала тяжёлые горные башмаки отца. Я слышал, как он поставил в угол палку и сказал, снимая рюкзак:— Ну, слава богу... Это было в первый и последний раз... Пусть только попробует ещё раз сунуться ко мне в проводники. Вот она благодарность... Что за мальчишка... Где он? Какой бес вселился в него?

Взяв розы, я подошёл к окну и, прощаясь с фрейлейн Клерхен, ещё раз помахал цветами куда-то во тьму.

Я не знал его. Прохожие на улице расспрашивали нас о нём. На его похоронах мы дурачились и кривлялись. Все давно забыли про него. Какое слепое имя: Доминик Газенэрль! И вдруг мёртвый коснулся меня, и что-то потянуло меня к нему с непреодолимой силой. Я стоял на Гроссгесселозском мосту и бросился вниз через перила. Я не знал, что слова, которые я произношу,— это стихи. Я говорил какие-то слова, чтобы держаться за них в своём падении, возможно, это были такие же бессвязные слова, как те, которые я когда-то изобретал, стараясь сделать себя неуязвимым. Я произносил их под звуки гармонии, на которой играл Ксавер. Ни разу не перевернувшись в воздухе, я плавно опустился вниз. Когда я почувствовал под ногами твёрдую землю и высоко над собой увидел мост, когда река расступилась передо мной,— от этих стихов на меня снизошла такая новая, чудесная, живая сила, что я бестрепетно вышел на берег.

— Отопри! — гремел отец и стучал кулаком в дверь.— Не то плохо будет!

Что ещё может быть? Разве может быть что-нибудь хуже того, что было? Я прислушивался к голосу, который вернул меня к жизни из моего безудержного падения, и не ответил на стук в дверь.

И опять я стоял над бездной.

— Послушай ты... Ты...

Этого ни один человек не может вынести,— и в темноте я открыл дверь.

В коридоре горел свет. Мать стояла в полосе света.

Она встретила меня озабоченной улыбкой.

— Подожди, я зажгу у тебя свет,— сказала она, но она и без того внесла с собой свет в комнату.

— Какие красивые цветы,— всё улыбалась она и грустно спрашивала:— Что ты сделал с отцом?! — Она бережно поставила розы в кувшин с водой.

Точно это я ей принёс букет альпийских роз.

Вильгельмовская гимназия, среди учащихся которой находились королевские пажи, слыла самым аристократическим учебным заведением Мюнхена. Отец решил втиснуть меня в эту гимназию, — он так и говорил «втиснуть», — чтобы я отучился от своих плохих манер и привык к светскому обществу.

К плохим манерам отнесилось и моё злорадство по поводу проделки капитана из Кепеника. Сапсжник, по фамилии Фогт, вырядившись в форму капитана, умудрился занять кепеникскую ратушу и самым бесцеремонным образом натянуть нос государству. — Ничего смешного тут нет, — сказал отец, — наоборот, это очень грустно, такими выходками подрывается авторитет государства! Подобная история может принести гораздо больший вред, чем любое подстрекательство Бебеля в рейхстаге. — Однако, когда собралось трио, майор Боннэ стал на другую точку зрения; он всегда считал смехотворной прусскую выправку; по его мнению, баварцы были лучшими солдатами; шутя, он предложил отцу послать кепеникскому капитану поздравительную телеграмму. — Прискорбно, в высшей степени прискорбно! — жаловался потом отец матери. — Я просто отказываюсь понять майора! Говорить такие вещи в присутствии подростка... Уж если признанные носители государственного авторитета... Что же тогда удивительного в том, что наши дети испорчены?

С этой поры трио собиралось уже не так регулярно. Отец не раз потом принимался просвещать меня насчёт опасности, какую эта позорная проделка представляет для государства, и рисовал передо мной страшные картины того государства будущего, к которому стремятся люди гартингеровской породы.

— Тут не до шуток, отец, ведь верно? — говорил я деланным голосом. — Ну что, например, если бы какой-нибудь преступник, переодетый жандармом, арестовал тебя, а другой преступник, в судейской мантии... — Тс! Тс! — Отец в ужасе закрыл мне рот рукой. — Даже думать о таких вещах не смей... Ты и представления не имеешь, как это опасно...

Отныне я сам себе казался опаснейшим субъектом, я придумывал самые невероятные переодевания, больше того, меня взяло сомнение, точно ли каждый человек одет в своё настоящее платье, и я по собственной прихоти менял на людях платье, находя, что многим новое платье гораздо больше к лицу; так, старика Гартингера я передел кайзером, и в таком виде он у меня путешествовал по всему свету. Сидя за столом, я вдруг прыскал со смеху: вот старик Гартингер принимает парад и размахивает перед моим носом королевским жезлом. — Ну что это опять за шутовство? — раздражался отец, отрываясь от рулета. —

Не обращай на него внимания, ещё! Глупости это! Одни глупости! — вздыхала мать и дёргала меня за рукав: — Ступай в свою комнату и смейся там! Не порти отцу аппетита!

Величайшее благоговение, с каким я до сих пор относился к военному мундиру и эполетам, уступило место лёгкой иронической усмешке, и даже игра в войну на некоторое время опротивела мне из-за этой кепенинской «озорной проделки».

Я очень удивился, когда однажды, одновременно со звоном, под моим окном раздался свист и я увидел на улице зашедшего за мной Фека. Фек и Фрейшлаг тоже поступили в Вильгельмовскую гимназию. И вот мы шли в школу по новой дороге вместе с Феком, который жил за церковью святого Иосифа. Миновав Пинакотеку, мы поднимались по длинной Терезиенштрассе, пересекали Людвигштрассе, потом спускались по фон-дер-Таннштрассе и, перейдя Галериштрассе, сворачивали к гимназии.

Фек без конца приставал ко мне с расспросами о летних каникулах. О встрече с фрейлейн Клерхен я, конечно, не хотел ему говорить, поэтому я выдумал неубедительную историю о какой-то крестьянской девушке. Фек же гораздо убедительнее хвастал тем, как он танцевал в оберсдорфском курзале и хорошенькая американочка назначила ему свидание в своей комнате. Я позабавовал Феку. «Спрячься ты с своей волшебницей», — презрительно сказал я себе, теперь мне казалось ребячеством предаваться мыслям о фрейлейн Клерхен.

Нам удалось устроиться так, что мы все трое сидели рядом. Без всякого предварительного сговора мы с первого же часа стали осматриваться в поисках какого-нибудь Гартингера, — я дивился себе, до чего естественно я опять вошёл в компанию Фека и Фрейшлага. Не прошло и нескольких дней, как мы уже знали весь класс, и из лучших учеников наметили одного, который, как нам казалось, особенно подходил для роли Гартингера.

Нам троим — миленькое трио, замечательный трилистник, а? — противостояла другая тройка: Нефф, Штребель и Левенштейн, все трое — лучшие ученики. Сдружившись, как и мы, ещё в городской школе, они крепко держались друг друга. Мы окрестили их «книжными червями», так как они всё время обменивались книгами и в первый же день затребовали себе каталог школьной библиотеки. Левенштейна мы прозвали «Еврейчик». Он был самым хилым из всей тройки и носил очки. Ещё одну тройку образовали граф Май, граф Спретти и барон фон Пфеттен. Они держались особняком от всех и отчаянно задирали нас. Фек своевременно помешал Фрейшлагу примкнуть к этим «за-

знайка», распространив слух, которая навеки посеяла вражду между Майем и Фрейшлагом.

На меня была возложена задача подъехать к Еврейчику, чтобы выведать у него, не согласится ли он добровольно помогать нам готовить уроки. Я попросился проводить Еврейчика домой и убедился, что он будет для нас далеко не такой лёгкой добычей, как Гартингер.

Отец Еврейчика был богатым банкиром; бакирская контора «Левенштейн и сын» помещалась на Променаденплац. У Левенштейна была собственная вилла на Штарибергском озере, в Тутцингене. По дороге Левенштейн рассказывал мне о книгах и театральных постановках и очень был удивлён, когда оказалось, что ни одной из названных им книг я не знал даже по названию. В театре я был всего два раза: на «Фее кукол» и на «Фрейшютце». Левенштейн мечтал стать адвокатом, чтобы защищать бедный люд. Нефф чувствовал призвание к поэзии, а Штребель решил, что будет оперным дирижёром. Он рассказал ещё, что они часто совершают втроем экскурсии, варят себе еду под открытым небом и спят в палатках, хотя и не питают ни малейшего интереса к игре в солдаты. Судя по всему этому, я понял, что подчинить Левенштейна нашему влиянию затея довольно безнадежная.

Феку вскоре удалось завербовать в нашу команду несколько учеников. Он созвал военный совет и доложил, что в ближайшем будущем мы снова сможем сколотить шайку, а уж тогда мы покажем «этим», где раки зимуют.

И насчёт учителей мы столкнулись довольно быстро. Профессор Зильверию никому не оказывал снисхождения и несколько не покровительствовал отпрыскам «хороших семей», это сразу восстановило нас против него; его беспристрастие мы расценивали как неслыханную наглость. Профессор Винтер проявлял особое внимание к обоим графам, это тоже возмущало нас, так как мы не находились в числе привилегированных. Однако мы считали, что навлекать на себя неприязнь этих двух преподавателей для нас невыгодно, поэтому мы решили отыгаться на профессоре Вальдфогеле; это был пожилой, тщедушный человечек, до того рассеянный, что он постоянно забывал на кафедре свою записную книжку и не замечал, как мы исправляли в ней плохие отметки.

Так, очень скоро, я опять оказался вовлечённым в самые гнусные проделки. Воспоминание о Гогеншвангау — миг счастья, качающиеся качели — стало чем-то далёким и чужим и хранилось в памяти, как на страницах альбома, который изредка перелистываешь. Беседка счастья, где мы сидели с фрейлейн Клерхен, обратилась в окаменелый символ, точно надгробный памятник на Швабингском кладбище.

Не стало и Ксавера, в сторожке у конюшни поселился другой денщик. Его звали Зепп. Под вечер он шатался по саду со штуцером и стрелял в птицы, укрывшихся в листве каштанов. Но что за трусливая рохля был этот Зепп, он вытягивался во фронт даже тогда, когда мимо него проходил отец. Даже передо мной он как будто становился навывтяжку, и это вечное стояние навывтяжку роняло его в моих глазах. Как-то я вздумал запретить ему стрельбу по птицам. Он немедленно отправил свой штуцер в угол. — Смирно! — командовал я ему, и Зепп опускал руки и швам в ожидании моих дальнейших приказаний. Но меня не радовало его смирение, у меня даже пропала охота учиться у него верховой езде. Этот «смирненник» мечтал дослужиться до фельдфебеля, а потом «списаться» и перевестись на гражданскую службу в качестве какого-нибудь маленького чиновника, лучше всего — сборщика податей. Лизль, кухарка обер-пострата Нейберта, разъяснила мне, что Зепп куда более приятный кавалер чем Ксавер: Зепп солиднее, не пьёт, не гуляет, и у него вполне серьёзные намерения.

...Нет, этот смиренник Зепп не годился в преемники Ксаверу

Это Зепп виноват в том, что я забросил скрипку и вновь затосковал по гармонии Ксавера. Я пожаловался родителям на нового учителя музыки, будто он часто приходит на урок нетрезвый, и убедил их — «сколько денег выброшено на ветер!» — не приглашать больше никаких учителей музыки...

Некоторое время спустя мне как-то захотелось посмотреть, жива ли ещё моя скрипка, и я открыл футляр: скрипка лежала с лопнувшими струнами, и нарезы по обоим сторонам кобылки глядели на меня, как скорбные вопросительные знаки. Я натянул новые струны и положил их в чём неповишую скрипку обратно в футляр. И ответил на её вопрос: — Это к тебе вовсе не относится. Ты тут совершенно ни при чём.

\* \* \*

Глядя из окна вдаль, в неизвестное, я увидел расположенный напротив нашего дома пансион Зуснер. Хотя он и был тут же напротив, я открыл его лишь после того, как мысленно пожил во всех других домах. Когда родители мои укладывались спать, я украдкой вставал, садился у открытого окна и старался перенестись в жизнь пансиона Зуснер, в окнах которого кое-где ещё горел свет.

Там, за занавесями, разыгрывалась призрачная жизнь теней. Тень сидела за столом, вот она встала, выросла в исполненскую тень, из-за занавеси показались мужчина и женщина, они высунулись из окна и оглядели улицу. Наконец он ожил передо мной, этот дух, показывавший там, за занавесями, свой театр теней;

мгновение, и, потеряв телесность, он снова скользнул в свою жизнь теней: ушло вспыхнув, погасла лампа. Чернее ночи за окном была комнатная ночь, укрывшая спящих, как могила.

За одну неделю я перевидал в пансионе Зуснер так много людей и таких разных людей, словно я читал увлекательный роман, хотя жизнь этих случайных персонажей проходила передо мной без слов и проявлялась только в движениях и жестах. Подбирать слова и мысли к этим беззвучным событиям казалось мне занимательнее, чем читать книги, в которых всё сказано с полной ясностью и предугазано до конца...

Нагруженный множеством чемоданов, сплюшь заклеенных пёстрыми ярлыками, к пансиону подкатил экипаж, из него вышла нарядно одетая дама. Сама фрейлейн Зуснер, сухонькая старушка с морнетом, встретила знатную гостью в дверях подъезда. Я впился глазами в окна, стараясь угадать, в какой из комнат поселится моя гостья. Ну, конечно, в угловой с балконом, так я и думал. Наблюдая жизнь нарядной дамы в разные часы дня, я надеялся узнать её судьбу и сплетал уже вокруг неё шить волнующих событий. Она сидела в комнате с балконом и ждала. Время от времени подходила к зеркалу, оправляла платье и приглаживала волосы, становилась у окна и смотрела в мою сторону. Но мне ни разу не удалось перехватить её взгляд. Вот к дому подъехал ещё один экипаж, из него выпрыгнул мужчина с бакенбардами и закрученными усами, похожий на парикмахера Виттиха, он анял одну из комнат поскромнее, налево, в первом этаже. Поручив горничной передать даме букет цветов, господин вскоре и сам проследовал в комнату дамы, поздоровался с ней, поцеловал ей руку, дама сдержанно склонила голову, потом случилось что-то, от чего они стремительно бросились друг к другу, мужчина схватил даму за кисть руки, быстро опустился штора и снова поднялась уже только под вечер, когда оба они, готовые к выходу,—пока горничная бегала на угол за экипажем,—стояли посреди комнаты под ярко горевшей люстрой. На следующее утро дама уехала, а в полдень явилась полиция и увела мужчину; в вечернем выпуске «Мюнхенских последних новостей» можно было прочесть о том, что в неизвестном пансионе Зуснер задержан знаменитый международный аферист, за которым давно охотилась полиция.

Я не уставал слушать его. Пансиону Зуснер было что порассказать. Шли толки, будто сама фрейлейн Зуснер была баснословно богата. Лавочники, у которых она пользовалась симпатией,—пансион много закупал у них,—превозносили фрейлейн за то, что она была бескорыстной свахой. Злые же языки

утверждали, будто бы за приличную мзду «Гремучая жердь» непрочь была поспособствовать тайным встречам мужчин и женщин, не связанных брачными узами. Таким образом, пансион Зуснер был вечной темой пересудов и слухов; хозяйка пансиона повидимому, считала эти сплетни выгодными для себя и сама содействовала их распространению, посвящая в приключения своих постояльцев горничных, которые трещали о них по всей округе...

И смерть не обходила этого окружённого тайной и тёмными слухами дома.

Старая дева, фрейлейн Лаутензак, умерла. Она носила чёрные очки и ходила, опираясь на палочку. У «ведьмы» были собачка и попугай, который кричал «Минна». Я хорошо представлял себе фрейлейн Лаутензак по своей тётке Лине, тоже уже покойной. Эта тётка выпрашивала у дяди Оскара сигарные окурки и раскладывала их у себя на камине, потому что от них так приятно «пахло мужчиной».

Покашливание, доносившееся временами из комнаты фрейлейн Лаутензак, превратилось однажды вечером в такой судорожный, всхлипывающий кашель, что вызвали врача. Почти вслед за врачом явился священник со святыми дарами. Попугай и собачка перекочевали в комнату фрейлейн Зуснер. В кресле, придвинутом к кровати, сидела сестра из Красного креста, на столике горел ночник.

Я всё смотрел и смотрел на это расставанье с жизнью и не в силах был оторваться... Всхлипывающий кашель ни на секунду не прерывался. Равномерный всхлипывающий кашель, переходивший в судорожные приступы кашля, приковал к себе всё вокруг. Невыносимый шум производило это расставанье с жизнью, и я с ужасом думал о том, какие страшные звуки способна извлечь смерть даже из такого хилого, дряхлого тела. Умиравшую посадили в постели, обложили подушками, сестра поила её микстурой. Я видел, как она глотала. Но вот всхлипывающий кашель сменился протяжным хрипением, голова больной упала на грудь. Я не мог постичь, как это всё вокруг погружено в глубокий сон; никого, очевидно, не беспокоило, что здесь, среди людей, так мучительно борется со смертью человек. Чем была для меня фрейлейн Лаутензак? Почему я на этот раз не находил в себе мужества ответить: «Какое мне дело до этой старой карги?» Люди ли мы, если оставляем друг друга в таком одиночестве?— мысленно плевался я и всё дежурил, дежурил подле умирающей, до самого рассвета.

Ведь это и моя смерть, понял я, когда поутру распахнулись окна. На улице стоял катафалк. Даже у меня наверху слышно

было, как топали факельщики, спускаясь с гробом вниз по лестнице.

Мне казалось, будто я опять присутствовал при казни, и ещё долго в ушах у меня звучало хрипение смерти...

В другой раз на улице перед пансионом Зуснер собралась большая толпа, а вдали уже грохотала пожарная машина, за которой следовала карета скорой помощи. Отравившаяся газом влюблённая парочка ускользнула из поля моего зрения и умерла беззвучно, так как поселилась в одной из задних комнат, выходивших окнами во двор. Двое ручных носилок, наглухо прикрытых простынями, скрылись в карете скорой помощи.

«Бесследно, бесследно,—шептал я,—бесследно исчезают люди, один за другим». Это бесследное исчезновение не давало мне покоя, я изумлялся, как могут живые так безразлично воспринимать исчезновение своих близких, не думая о том, что придёт день, когда и они так же бесследно исчезнут. Люди исчезали, не оставляя после себя никакого следа, а мир почему-то не приходил от этого в волнение, некоторое время люди эти ещё появлялись в разговорах живущих, о них мимоходом вспоминали, а потом юни и вовсе переставали подавать признаки жизни.

В поисках утраченных следов, я очень скоро, однако, сделал открытие, что всякая малость, даже самая незаметная — движение руки, кивок головы — сохраняется в нас самым странным и непостижимым образом. Всё отпечатывается в нас и оставляет свои следы. Нет ничего, думал я, что оставалось бы без последствий. Одно порождает другое. Всё растёт и срастается с другим. Вещи, и те оставляют в нас свой отгиск, и мы передаём эти отгиски всё дальше и дальше. Пусть имя наше канет в безвестность, мы достигаем бесконечности.

Фрейлейн Лаутензак, чувствовал я, сохранится во мне вместе с собачкой, попугаем и мучительным предсмертным её кашлем, как сохранится и тётки Линина сигара, «пахнувшая мужчиной». Скрытые под простынями лица влюблённой четы будут так же жить во мне, как и знаменитый аферист, и от нарядной дамы я не смогу освободиться, не смогу вычеркнуть её бесследно.

Но и «вечность» тоже, очевидно, никого не беспокоила, — все жили изо дня в день, точно такая жизнь изо дня в день не влечёт за собой никаких последствий. Так, разумеется, никогда не наступит «новая жизнь», она не наступит, пока каждый не попытается всё в себе переделать на хорошее. Ибо каждый из нас ежечасно внедряется в жизнь другого, принимается им и передаётся всё дальше, дальше; каждый непременно живёт в другом,

вечно, вечно живёт человек, живёт действительно, и в том, что он называет своей личной жизнью, есть частица бесконечного...

\* \* \*

Бок о бок с замечательными и постоянно сменяющимися персонажами, с которыми сталкиваешься то в тёмном коридоре, то на лестнице, с которыми вступаешь в таинственное общение через звуки и голоса, просачивающиеся сквозь стены и бурлящие вокруг тебя,— так, словно в каком-то оторванном от мира уголке земли, жил я в пансионе Зуснер, невидимый для его обитателей. Я, «человек из общества», поигрывая тросточкой и попыхивая папирсом, сворачивал с Луизенштрассе на Гессштрассе и нажимал кнопку звонка, под которым золотыми буквами на мраморной доске значилось: ПАНСИОН ЗУСНЕР.

## XXVII

Благодаря одному непредвиденному происшествию я выбыл из состава тройки.

Это началось на искусственном катке, на Галериштрассе. Феку удалось, наконец, познакомиться там с Дузель. Она уже не раз привлекала наше внимание, когда в сопровождении подруги и борзой прогуливалась взад и вперёд мимо Вильгельмовской гимназии. Дузель жила в Нимфенбурге, в замке своего дяди, барона фон Редвиц, и лишь недавно была выпущена из психиатрической лечебницы. Она пыталась проткнуть себе сердце длинной шляпной булавкой, какие были тогда в моде. Говорили также, что она сбрила себе волосы и носит парик. Дузель было не больше шестнадцати лет, и она густо, добела пудрилась.

Знакомство это стоило Феку, как он признался мне с отчаянием в голосе, «целого состояния». Ему приходилось «выкладывать» за Дузель и её подругу стоимость входных билетов на каток; за собаку, которую оставляли в гардеробной, надо было платить особо; на катке был буфет, и обе девушки каждый раз обнаруживали прямо-таки волчий аппетит, который Фек, как истый рыцарь, вынужден был удовлетворять из своего кармана. После катка подруги испытывали непреодолимую потребность посмотреть «Панораму Нейгаузера», за этим следовало: — Давайте на минуточку заглянем в кафе «Штахус»,— где, как назло, всегда оказывалось уютное свободное местечко и где за счёт Фека съедалось немало кусков торта. Потом девушки вздыхали: — Ах, мы сегодня опять забыли дома портмоне,— так что даже мелочь на трамвай до Нимфенбурга и ту приходилось выкладывать Феку.

Такие дорогостоящие свидания Фек позволял себе дважды в неделю, по средам и субботам, а воскресная загородная прогулка с обеими девушками, горько жаловался он, вконец разорила его.

Он не может расстаться с Дузель, уверял он пылко и благородно, он должен спасти её. Мне было не совсем ясно, в чём будет заключаться это спасение, и Фек пространно рассказал мне, что он оказывает благотворное моральное влияние на Дузель. Это не помешало ему как бы невзначай заметить, что если на сей раз я его выручу, то в один из ближайших вечеров он захватит меня с собой в Английский парк к водопаду, где ему известна одна необычайно уединённая скамейка...

— Это просто твой долг помочь мне! Окажись ты в моём положении, разве я стал бы колебаться хоть одну секунду?! Никогда, никогда, никогда я не допустил бы, чтобы мой друг, может быть, по моей вине, да с Гроссгесселозского моста... Нет, ты не покинешь меня в беде!

Он умоляюще таращил на меня глаза, глотал слюну и дёргал меня за рукав.

Мне, наконец, стало ясно, куда гнёт Фек, но я прикинулся дурачком, чтобы его помучить.

— Ты, что же, хочешь, чтобы я ютбил у тебя Дузель?

Он облизнул уголки рта, ещё сильнее дёрнул меня за рукав и затанцевал передо мной на цыпочках.

— Об этом и не мечтай, куда тебе! Дело в том, что у тебя есть бабушка!

«Танцуй, танцуй,—думал я,—стану я для тебя воровать, как бы не так!»

— Ведь и у тебя есть и бабушка, и мать, у каждого из нас в конце концов куча родни.

Он схватил меня за руки и потрянул что есть сил.

— Значит, ты никогда серьёзно не относился к нашей дружбе! Изменник! Ну, а что ты скажешь, если я тебе признаюсь, что я заложил обручальное кольцо матери в ломбарде на Амалленштрассе и что завтра я должен его во что бы то ни стало выкупить, иначе — теперь тебе ясно, да?..

— К сожалению, моя бабушка вчера уехала,—солгал я.

Фек изобразил передо мной танец отчаяния, он кружился, бил себя кулаками в грудь и кричал:

— Неблагодарный! Скстина ты! Зверь, чудовище ты этокое! Никогда я не думал, что ты такой трус!

«Трус»,—я ртом, на лету, подхватил этого «труса». Погоди ты у меня, уж я тебе докажу, что я не трус,—сжал я кулак, но кулак тотчас же раскрылся, и неожиданно для себя я положил руку ему на плечо:

— Мы ещё посмотрим, кто из нас трус!

Фек стал гладить меня по рукаву.

— Кстати, скоро и осенняя ярмарка, тебе и самому понадобятся деньги, ты разве не слышал, что в этом году ожидается множество аттракционов, а тогдашняя твоя история с золотым была так давно, что ни одна душа о ней больше не помнит.

Фек взял меня под руку.

— Одним разом больше или меньше — это уже не имеет значения. Ты сам рассказывал, что в шкафчике у неё целая куча десятимарковых монет. Куда ей, старухе, такая уйма денег? И ведь я же тебе верну их, это совершешю точно, даю тебе слово, и, значит, тебе не придётся опять таскать у неё.

— Но «труса» ты возьмёшь обратно! — и я в бешенстве толкнул его.

— Ну, брось, — шопотом успокаивал меня Фек, — я пошутил.

Я сдался, хотя бы для того, чтобы освободиться от руки Фека, который с какой-то очень неприятной пылкостью прижимался ко мне; и я даже был рад, что Фек сделал мне такое предложение. Он прав, я действительно чуть не позабыл про осеннюю ярмарку.

Бабушка варила шоколад. Старинный шкафчик стоял, покрытый кружевной салфеточкой. Как пылающая дароносица в ковчеге алтаря, манило к себе его содержимое.

Шкафчик рассказывал о золотоискателях. Золотом сияет солнце, даже в воздухе есть золото. Люди делали себе богов из золота, ещё и поныне человечество молится золоту. У святых золотые венчики. Поезда, нашёптывал мне шкафчик, перевозят золотые слитки, суда везут по морям золотой груз. Деньги — все эти монеты, бумажки — то же золото. Американские горы, лодки-качели — всё это рождено золотом и стремится вновь стать золотом...

Чуть приоткрыв дверь, я прислушался к тому, как бабушка хозяйничает в кухне, потом выдвинул ящик из шкафчика и с опаской сунул в карман два золотых. Усевшись в кресло-качалку, я взял альбом «Города и ландшафты Германии» и укрылся за ним. Покачиваясь в кресле, я на миг оторвался от картинок, в сумраке елового леса мелькнул мне образ фрейлейн Клерхен, я заколебался — не положить ли золотые обратно в шкафчик? Но тут в комнату вошла бабушка, неся душистый шоколад.

Мне показалось, что шкафчик рассказал бабушке о воровстве, потому что лицо у неё стало озабоченное и огорчённое и она несколько раз поглядела в ту сторону. Выпив шоколад, я ещё с час сидел и слушал клопштоковскую «Мессиаду», которую бабушка читала мне вслух. Как и в тот раз, рука моя сама собой зарывалась в карман, мне хотелось ощущать золотые под пальцами,

а в то же время какая-то сила толкала меня выложить украденное сокровище на стол перед бабушкой. Внезапно комната представилась мне святилищем, в котором среди прекрасных картин проходила бабушкина жизнь.

Что-то дёргало меня за рукав.—Я не трус,—отвечал я этому дёрганью.

Бабушка села за пианино, звуки музыки размягчали мне сердце... Гартингера я заставлял ртом ловить пфенниги, а этому... этому сразу целый золотой... Да, черт возьми, что это со мной... Ты совсем запутался... Всё, всё, что угодно — только не трус.

Когда я собрался уходить, бабушка вынула из кошелька пятьдесят пфеннигов, я смущённо отказывался, тогда она сунула мне деньги в карман, и монета тихо зазвенела, ударившись о золотые.

Я стрелой сбежал с лестницы, чтобы скорее скрыться от бабушки, в дождь, в ливень, только что с шумом разразившийся, я рад был промокнуть до костей, точно дождевые потоки могли смыть с меня всю муть. Ещё можно положить обратно в шкафчик украденные деньги, погулять часок, а потом под каким-нибудь предлогом опять зайти к бабушке. Бабушка возится по хозяйству в кухне...

Но меня уж дёрнули за рукав, и я ответил, вздрогнув, как от удара:

— Ты что, бегаешь за мной по пятам и шпионишь? Мне жандармы не нужны!

Фек сразу заюлил:

— Что ты! Что ты! У меня этого и в мыслях не было! Я просто хотел тебя выручить, чтобы тебе не пришлось носить при себе такие крупные деньги. Я ведь знал, что ты не трус... Радуйся, чудак! Ты из нашей братии. Ты — наш.

— Нет у меня ничего, шкафчик оказался запертым, а ключа нигде не было.

Фек сладенько улыбнулся, глядя на мою опущенную в карман руку.

— Ты шутишь, палач!

Это подействовало на меня, как заклинанье. Я уже давно не слышал своей клички; Фек и Фрейшлаг, единственные в классе, знали о ней, и от них зависело — разгласить её или не разгласить.

Только не трус...

Фек потащил меня за рукав под ворота, укрыться от дождя.

— На... на... на...—я хотел заставить Фека ртом словить золотой, но это я судорожно разинул рот, я давился словом «палач». Неожиданно для себя я сунул ему в руку золотой, и Фек тотчас же рассыпался в благодарностях:

— А что касается «палача», то это, конечно, останется между нами, я и Фрейшлагу скажу. Кому какое дело до твоей клички, это наша тайна...

— Я тебе не лакей,— вырвалось у меня.

— Не горячись! — Фек сжал в кулаке золотой.— Такие, как ты...

Расстроенный шёл я домой под проливным дождём и не заметил, что отец стоит на балконе и караулит меня. Даже когда поджидавшая меня в передней мать бросила мне: — Марш в столовую! — я всё ещё был целиком поглощён мыслью о «палаче» и до бешенства негодовал на Фека за то, что так легко поддался на его уговоры. Я не сомневался, что он будет меня шантажировать, пользуясь историей с моей кличкой, и в конце концов разгласит её. Только не палач. Только не трус. Мне это стоило недёшево... Такие, как я...

Лишь когда я увидел бабушку рядом с отцом у письменного стола и когда мать закрыла дверь в гостиную, я понял, что предстоит нечто ужасное.

Отец повернулся в своём кресле, протёр пенсне и испытующе уставился на меня. Все словно собирались просверлить меня глазами. Когда бабушка зарыдала и отец с матерью принялись хлопотать вокруг неё, я хитрил, — сделав вид, что сморкаюсь, — сунуть в рот оставшийся золотой. Золотой был уже у меня во рту, когда отец стал обыскивать мои карманы. Я боялся проглотить монету и прикусил её зубами.

— Сейчас же верни украденные деньги! — Я только и мог, что помотать головой, золотой мешал мне говорить.

— Держу пари, что тут опять замешана какая-нибудь юбка!.. — После безуспешного обыска отец ретировался в своё кресло.

— Наглая тварь! — как эхо, откликнулась мать, и поощрённый отец скомандовал:

— Говори! Кто эта баба?

Золотой чуть было не выскочил у меня из зубов, и я лязгнул зубами, чтобы его удержать, совсем как тогда Гартингер.

— Что ты скрежещешь зубами? Что ты жуёшь? Говори правду! Видано ли что-нибудь подобное? Что за мерзавец! Какой бес вселился в него! Какой только бес в него вселился!

Отец тряс меня, пытаясь вытрясти монету. Потом огрел меня такой пощёчиной, что я рухнул на пол и выплюнул золотой на ковёр, прямо бабушке под ноги.

Я держался стойко и не выдал Фека, так что родители мои остались при убеждении, что во всём виновата какая-то подлая

баба, которой я отдал недостающие десять марок. Исходя из этого, они придумали мне наказание.

Через Христину мне стало известно, что решено отправить меня в исправительное заведение, что отец написал уже в несколько таких мест и со дня на день ждёт ответа. Отец побывал и в гимназии, посоветовался там с ректором и с учителем Зильверю, в результате меня изолировали от всего класса и посадили на отдельную скамью в самом последнем ряду.

Фек расхваливал меня Фрейшлагу:

— Вот видишь, я всегда говорил, он не трус, наш палач.

Я ткнул его в живот:—Негодяй!

— Наплевать мне на тебя,—издевался надо мной Фек,—ты у меня вот где,—он побренчал кучкой монет в кармане,—ты у меня в кармане...

На перемене ко мне подошёл Левенштейн.

— Если я тебе понадобится... Брось ты, наконец, этого Фека.

На следующий день поезд увёз нас в Эттинген, неподалеку от Нердлингена. Отец сам сдал меня в интернат святого Иоанна «как упрямого и неисправимого субъекта сперва на год, а там видно будет».

## XXVIII

Перед отъездом отец задержался в кабинете директора, а тем временем один из старших воспитанников, крепко пожавший мне руку и представившийся:—Я Пауль Зигер,—показал мне столовую и классные комнаты, осведомил меня насчёт внутреннего распорядка и, кивнув на стрельчатые окна и на увитый плющом колодец с часовенкой, разъяснил, что в старом здании когда-то помещался монастырь. В классной стояла фисгармония, на которой играли во время утренней и вечерней молитвы.

Интернат святого Иоанна был рассчитан на шесть классов гимназии.

Меня позвали в директорскую попрощаться с отцом. Директор сказал:—Ну, вот, я уже всё знаю о тебе; ничего, договоримся, мы здесь обходимся без порки.

Отец, повидимому, был вполне удовлетворён результатами беседы и тем, как он удачно устроил меня; прощаясь, он поздравил директора:—Гм-да, совершенно поразительно, каких вы достигли успехов. И кто бы подумал,—без порки! Об этом следовало бы писать в газетах.

По лицу директора Ферча никогда нельзя было понять, шутит

ли он, или говорит серьёзно. Густые светлорыжие усы скрывали всякое движение губ. Крохотные колбочие глазки всегда блестели. Взгляд, обращённый на директора, невольно задерживался на его усах, которые этот воспитатель так благодушно поглаживал, точно хотел приковать к ним внимание наблюдателя,—поглаживавшая их рука была маленькая и высохшая.

День размечали звонки. Звонки раздавались весь день. В шесть утра звонок: «Вставать!» В половине седьмого: «На молитву и утреннюю работу!» В половине восьмого: «Завтракать!» Без четверти восемь: «Сбор и поход в гимназию». В гимназии звонок надрывался каждый час. В половине первого звонок: «На обед». В четверть второго: «Большая перемена». Без четверти два: «Сбор и поход в гимназию на послеобеденные занятия». И так до девяти часов вечера, когда раздавался последний звонок: «Спать!»

Звонки трещали по всему интернату, в старом здании они отдавались на разные лады. Под высокими сводами они гудели, как тревожный набат; звонки то завывали, то всхлипывали, то рассыпались трелью; звонки, звонки повсюду, от звона некуда было бежать, тихих, укромных мест не существовало, в уборной звонск визжал, как нож на точильном камне. Стоило заткнуть уши, как звон проникал в рот и нос, гремя, отдавался в голове, неистово барабанил по черепу. Звон продолжался и во сне. Звонком проходил день сквозь-ночь.

Каждый младший класс подчинён был старшему. Воспитанники младших классов обязаны были чистить сапоги старшим воспитанникам, содержать в порядке их шкафы и выполнять для них всевозможные поручения. Об отказе не могло быть и речи. Кто не подчинялся, тот попадал в разряд «штрафных» и объявлялся вне закона. При встрече со штрафным каждый обязан был его толкнуть, плюнуть в него. Ночью объявленного штрафным стаскивали с койки и обливали содержимым ночных горшков. Право объявлять штрафным принадлежало шестому классу, в штрафных пребывали иногда по несколько дней.

Шестиклассник Пауль Зигер, принявший во мне участие с первой минуты моего приезда, стал моим патроном. Он не давал меня в обиду воспитанникам других классов. Каждый воспитанник младших классов старался обзавестись таким «святым патроном». Я обязан был обслуживать только своего патрона. Все звали его «Мопс». Он был кругленький, с добрыми, мечтательными глазами. Постепенно я привязался к Мопсу, и он проявлял ко мне неизменную доброту и сердечность, хотя я изводил его, как мог: то клал ему щётку в постель, то привязывал его к парте, то насыпал ему в карманы песок. Если Мопс

приходил в ярость, это давало мне повод, горячо обнимая его, выматывать у него прощение. Я даже обнаружил в нём некоторое сходство с фрейлейн Клерхен,— у него был низкий, задушевный голос, особенно когда он рассказывал о своих домашних и об охотничьем домике где-то в необъятных нердлингенских лесах, входивших во владения князя фон Эттингена. Меня привлекало в Мопсе то, что он вырос в лесу. Я да ещё мальчик, которого прозвали «Кадетом», были единственными горожанами в школе. Много было детей священников и учителей, некоторые учились на стипендию, и только двое — Кадет и я — были препоручены особому попечению директора Ферча.

Пусть звонки надрывались во всех углах; зато здесь, в Эттингене, в интернате святого Иоанна, можно было среди ясного дня увидеть звёзды. Открытие это сделал воспитанник интерната, который пожелал остаться неизвестным. Изобретатель пользовался самыми простыми средствами. Ему пророчили будущность великого астронома. Нет, вынужден был я признаться, наукой о звёздах я никогда не занимался, но некоторые созвездия отец мне показывал. Всегда, когда я долго смотрел в высокое необозримое небо, усеянное звёздами, мне становилось страшно, что я вдруг отделюсь от земли и стремглав взлечу вверх, в бездонное мерцающее безмолвие. Слишком уж огромна была эта бесконечность. Иногда я решался помериться со звёздами. Я думал, что то, как ты выносишь вид звёздного купола, показывает, насколько ты вырос. Но вечность неизменно поглощала меня,— так мал я был. Между тем я знал людей, которые совершенно спокойно смотрели на звёздное небо, точно мерцающий свод был делом их рук; они показывали пальцем то туда, то сюда, всё объясняли и каждой блестящей точке давали благозвучное имя. Значит, делал я вывод, это люди, которым вечность по плечу. И вот, здесь, в интернате святого Иоанна, в Эттингене, воспитанник интерната сделал открытие, которое позволяет любоваться чудом звёздного мира среди белого дня. Самую густую тучу прибор этот просвечивает насквозь. Прибор уже послали — сам директор Ферч об этом позаботился — в Мюнхен, чтобы взять на него патент. Да ведь уже и газеты протрубили о нём... Всю первую половину дня я гадал, кто этот счастливец, этот, в недалёком будущем, изобретатель с мировой славой. Вскоре я уже в каждом воспитаннике видел того, кто сделал столь великое открытие, и все воспитанники, только потому, что среди них жил гений, поднялись в моих глазах на необыкновенную высоту... После обеда пошёл небольшой дождь, но меня утешили, что дождь не помешает увидеть звёзды. — Кто хочет видеть звёздное небо? Начинается! Начинается! —

кричали ребята и вместе со мной торопливо бежали во двор. Моя очередь была последней. Передо мной ещё двое удостоились счастья увидеть чудное небо. Для этого надо было снять куртку и сесть на стул. В рукав куртки вставлялась трубка.— Видишь?— Да, вижу,— пробормотал первый счастливец из-под куртки и назвал несколько созвездий.— Вижу каналы на Марсе!— воскликнул второй наблюдатель совершенно потрясённый, голосом, дрожавшим от восхищения.— Я ясно различаю нескольких жителей Марса, они стоят у каналов и что-то роют... Нет, вы подумайте... Полуангелы, полудраконы... Вот они прыгнули в море, эти чудовища...— Это трубка особого свойства, хоть она и похожа на обыкновенное ламповое стекло,— разъяснил один из старшеклассников и добавил:— Ну вот, а теперь твоя очередь!— Я старался не показывать своего нетерпения и благоговейно уселся на стул. Куртку я снял и почти торжественно отдал её какому-то мальчику.— Садись поудобнее, вытяни ноги, голову запрокинь, больше, больше, представь себе, что тебя бреют, что ты в парикмахерском кресле, так, так, теперь ты смотришь прямо в небо.— «Может быть, я услышу нежное «дзинь», когда покажутся созвездия»,— мечтал я.— Рот открой, как у зубного врача.— И я открыл рот, как у зубного врача. «Это, наверное, для того,— подумал я, чтобы удобнее было удивляться...»— Сейчас, сейчас... Минутку... Ну, видишь что-нибудь?— Хоть я и ничего не видел— в отверстие трубки просачивался унылый серый свет,— но если первые двое видели, мог ли я не видеть, ведь это было бы стыдно ничего не видеть, это бы огорчило изобретателя, и остальные лишились бы удовольствия, а мне хотелось всем доставить удовольствие, поэтому я ответил из-под тёмного рукава:— Вот, кажется, вот... Подождите, подождите, я сейчас... Да, вижу... вижу... Канал! канал!— Увы! никакое звёздное небо не раскрылось передо мной, и я боялся, что сейчас опрокинусь навзничь вместе со стулом, трубка давила на голову всё сильнее и сильнее.— А марсиан видишь?— Увы, и нежного «дзинь» не было!— Да, действительно, я вижу каких-то... полуангелы, полудраконы... Они как раз вышли из моря...— Я готов был увидеть всю вселенную, только бы подняться на ноги... «Проклятая затея»,— ругался я про себя.— Ещё я вижу комету, она несётся на землю...— кричал я в отчаянии.— Что предсказывают звезды? Читай!— Полулёжа на стуле, я не мог сразу вскочить, да и ноги мои кто-то крепко держал, а через трубку лилась вонючая жижа, она попала мне и в открытый рот. Я сорвал с головы куртку, все танцевали, хлопали в ладоши и кривлялись. Я стоял в центре, облитый вонючей жижей. Вокруг меня, вопя, прыгали мои мучители, и вдруг, я почувствовал у себя на лице, под грязью, улыбку: я улыбался, как улыбался в тот раз Францль... Пусть бы он

меня увидел теперь, мой Францль, быть может, что-нибудь и простилось бы мне... Разве это не казнь на эшафоте всем на радость, и разве не за то меня казнят, что когда-то Францля высекли вместо меня, а потом мы так гнусно пытали его в садоводстве Бухнера? Мои плевки и плевки всех, кто плевал в него, превратились, наверное, в эту жижу, в эту вонючую жижу. Я закрыл лицо руками, нет, таким мужеством, как Францль, я не обладал, чтобы открыто нести своё лицо, липкое от грязи! — Вот тебе твои каналы, эй ты, марсианин... Ну и лгунишка, как он всех нас обманул... А ну, скажи-ка, что предсказывают звёзды, ха-ха-ха...—визжали кругом, кто-то высоко поднял помойное ведро и торжествуяще помахивал им, но Мопс поспешил мне на выручку, и мы пробилась с ним к колодцу... От меня ещё не один день несло этой жижей. Это было одно из «испытаний», которым подвергался каждый новичок.—И вполне безобидное,—утешал меня Мопс, извинявшийся передо мной за то, что он не мог помешать этому,—таков уж обычай. Игра на рояле с завязанными глазами — на «чудо-рояле» — куда хуже, из-под носа испытуемого внезапно исчезает пол, и человек проваливается в выгребную яму. Нет, нет, я и слышать больше ничего не хотел о звёздах... Жижа, жижа...

В этом заведении обходились без порки. Директор Ферч был противником телесных наказаний.

По воскресеньям, в восемь утра, за час до того, как отправляться в церковь, происходил осмотр шкафов.

Директор Ферч осматривал ряды шкафов.

Я уже слышал о системе «подтягивания» — особом изобретении директора Ферча, которое с успехом заменяло телесное наказание, но даже Мопс не хотел посвятить меня в её тайну.

В моём шкафу носки лежали беспорядочной грудой. Одна из рубашек измялась и лежала бесформенным комком.

Директор Ферч смотрел то на меня, то в шкаф, я следовал глазами за его взглядом в самую глубь шкафа, потом быстро переводил взгляд вверх, на усы, участвовавшие в этом круговращении, и, наконец, потупился. Можно было подумать, что директор Ферч тянет мои глаза за ниточку, куда ему заблагорассудится.

— Гм! — Это прозвучало не то как смешок, не то как угроза.

— Гм! — повторил директор, и это вышло так комично, что я чуть не прыснул со смеху.

— Очень смешно, что?.. Ну-ка, марш ко мне в кабинет!

Он повёл меня сквозь ряды стоявших навтыжку воспитанников.

— Гм! Ну-ка, давай, без лишних слов, объяснимся начистоту. Кто ты, собственно, такой, а? Что там у тебя было с этой ба-

бёнкой в Гогеншвангау? Ну-ка, выкладывай, и без всякой утайки, меня тебе нечего стесняться, гм!

Глаза его искрились, как в темноте, он ходил взад и вперёд по кабинету, пощипывал усы и задумчиво поглядывал на свою маленькую, высохшую ручку, несколько раз останавливался у окна и, наконец, круто повернувшись, подошёл ко мне вплотную.

— Так что ты там делал с этой девкой, гм?!

— Вы хотите сказать — с фрейлейн Клерхен?

— Я хочу сказать — с этой тварью, да... О том, что вы вместе читали и друг на друга смотрели, — это ты можешь оставить при себе.

— Мы читали вместе, фрейлейн Клерхен и я, и смотрели друг на друга.

— Гм! Гм!

Всего лишь двумя пальцами своей высохшей руки он захватил несколько прядей моих волос над самым ухом, скрутил их и стал тихонько дёргать.

— Ну, вот, теперь мы помаленьку спустим с тебя шкуру... Лазил ты ей под юбку, говори — да или нет?

— Ай! — крикнул я, и: — Нет, конечно, нет!

Он продолжал дёргать меня за волосы, пока мне не показалось, что подо мной заколебался пол и что у меня сорвана половина лица.

— Лазил ты ей под юбку?.. Гм...

— Да, да, конечно, господин директор, лазил...

«...Я прятался в складках её юбки вместе с тухмановскими ребятами», — собирался я прохныкать, но тут он отпустил меня на мгновение, и я уж добровольно подставил ему голову с другой стороны.

— Ну, а дальше что, гм... Ну, а дальше?

Опять взрыв режущей боли, ещё острее, я даже заплясал на носках.

— Гм! Ну, и что же, удалось тебе забраться под юбку?

— Конечно, господин директор, удалось, ай, больно... Конечно...

— А как было дело с золотым? Гм!

Я не знал, чего он хотел от меня, и взмолился:

— Скажите сами, господин директор, что я сделал с золотым... Ведь вы это знаете, господин директор, и всё, что вы скажете, — это будет сущая правда, господин директор. Я готов во всём признаться, господин директор!

Вздёрнутый им за волосы, я беспрерывно приплясывал вокруг него.

— Ты безобразничал с девкой. На это ты промотал десять марок, слышишь, гм!

— Да, да, господин директор, так оно и было! Истинная правда, действительно так, безусловно так.

Я снова твёрдо стоял на полу. С улицы доносился церковный звон.

— Гм! В следующий раз ты мне сам всё расскажешь связно и подробно. Гм! На сегодня хватит. Гм! Марш! Приготовься идти в церковь! Гм!

Звонок надрывался.

Когда, построившись попарно, мы, в наших чёрных картузах, с директором Ферчем и кастеляншей, замыкавшими шествие, маршировали по булыжной мостовой в божий храм, я заметил у некоторых воспитанников, шедших впереди, странные кровоподтёки под волосами, как раз у самых ушей. Пригибая голову то к левому, то к правому плечу, я косил куда-то вверх, уши мои будто ссохлись от боли и точно ушли в затылок, а вокруг висков начала набухать опухоль.

Пока священник читал проповесть и органная буря сотрясала своды, я вспоминал Гартингера, как он мужественно держался, когда мы устроили ему допрос. Как же трусливо и недостойно вёл я себя, ведь это и по отношению к фрейлейн Клерхен было подлостью, предательством.

«Трус,—ругал я себя.—Зато в следующий раз,—хорохорился я,—я уж выдержу испытание...»

Когда я обо всём этом рассказывал Мопсу, Кадет, который подошёл к нам, предложил выдумать сообща какую-нибудь совершенно несусветную чепуху про некую распутную женщину, и Ферч тогда сразу успокоится.

— Как жалко,—ущипнул он меня,—что этого не было на самом деле, а? Вот бы нам, а?.. Теперь мы по крайней мере знаем, что нам делать... гм! Надо будет наверстать... гм!

Мопс счёл это предложение греховным и посоветовал мне обратиться к богу. Стоит только усердно помолиться, и бог окажет мне необходимую помощь.

Утром и вечером, когда мы молились под звуки фисгармонии, я громко пел, широко разевая рот, и поглядывал на Мопса, а тот кивал мне, точно обращался к богу как раз по моему делу.

Широко разевая рты, мы возносили к богу наши песнопения.

Бог был неопределённостью, великой загадкой, к которой влекло чувство. Бог был тем грозным, чья сущность оставалась тёмной, он был гневом, перед которым никло всякое мужество, но он был и щорой, в которую можно было уползти от отца, он был горним прибежищем, к которому устремлялся взгляд, когда директор Ферч до крови дёргал за волосы. Бог был певучий,

тихий голос, он стоял на мольберте в нашей гостиной, окутанный светлозелёным облаком. Бог был желанным «ты», когда не знаешь, к кому обратиться, кого назвать на «ты».

## XXIX

Только я решил положиться на волю божию, как меня вызвали к директору Ферчу. Едва переступив порог его кабинета, я сразу стал нести несусветную чепуху про некую распутную женщину, и директор на этот раз отказался от «подтягивания». Кадет успел основательно просветить меня, поведав мне вещи, мимо которых я до тех пор проходил в безмятежном неведении. Так как я знал о них только понаслышке, то излагал все эти гадости без всяких стеснений, связно и подробно, как и желал директор Ферч, пересказывая всё, чему меня научил Кадет. Ферч удовлетворённо поглаживал усы... Из-за рыжеватых зарослей до меня непрерывно доносилось благосклонное «гм-гм-гм-гм», и даже руку свою, эту маленькую, высохшую ручку, он положил мне на плечо и сказал, что вот, всего за несколько дней моего пребывания в интернате ему удалось сделать из меня правдивого человека, не прибегая к ненавистной системе порки.

Горе тому, кому приходилось иметь дело с этой ручкой, с этой маленькой, высохшей ручкой! Опять у меня было впечатление,—как и в тот раз, когда я увидел перед собой на столе руку отца,—что рука директора—это какое-то независимое от него существо, единственное назначение которого состоит в том, чтобы поглаживать усы и «подтягивать» воспитанников. Весь директор, когда я мысленно представлял себе его, воплощался в этой маленькой искалеченной руке. Голова, туловище, ноги,— всё, казалось, только тянулось за рукой; директор Ферч, верно, и сам трепетал перед этой рукой—как бы она ему чего-нибудь не сделала... Гм..

Но этот воспитатель умел и завоевать наши сердца. Стоило ему приказать нам собраться во дворе и построиться по четыре в ряд, как он целиком завладевал нами. Под команду: «Шагом марш!» и с пением «Стражи на Рейне», класс за классом, целым полком, с палками на плечах, с директором Ферчем во главе, шествовали мы через весь Эттинген на наше учебное поле. Когда мы слышали, как гулко отдаётся наш топот в узких улочках и как мощно поднимается наша песня к старинным стрельчатым крышам, когда мы видели, как прохожие останавливаются, а некоторые даже подбрасывают шляпы в воздух, подхватывая нашу песню, и люди стоят у раскрытых окон и смотрят нам вслед,— в эти минуты директор Ферч превращался для нас

в полководца, и мы были преисполнены гордости от сознания, что он ведёт наше воинство, осенённый невидимым знаменем, и готовы были жизнь положить, если бы потребовалось, но исполнить его волю. Маршировка, припадание к земле и команда: «Впередбежку, марш!» превращались для нас — после постылого школьного дня — в золотые часы свободы. Здесь мы давали исход своей энергии, здесь мы могли развернуть свои силы, показать ловкость.

Делегация, составленная из воспитанников разных классов, отправилась ходатайствовать перед директором Ферчем об организации для нас военных игр. Директор Ферч не только согласился, но даже пообещал приобрести за счёт интерната необходимые карты. Нас охватил такой военный азарт, что у ворот пансиона мы поставили караул, ежечасно сменявшийся по всем правилам воинского устава. Воспитанники младших классов обязаны были отдавать честь старшим, а при обращении к ним становиться во фронт.

В первый раз военная игра была проведена в воскресенье и началась она в восемь часов утра, так что даже посещение церкви было отменено. Нам роздали карты и разделили нас на две воюющие армии, отличавшиеся друг от друга синими и красными нарукавными повязками. «Синие» выступили на два часа раньше, чтобы занять отведённые им позиции в местности, пересечённой холмами и лесом. Мопс принадлежал к «синим». Кадет и я входили в ряды «красных», которые вели наступление.

Через два часа нас с Кадетом послали в разведку, мы изображали «верховых» и пустились вперёд рысью, а за нами сомкнутыми колоннами двинулась пехота.

Мы «спешили» под откосом, и тут пошло: мы то ползали на животе, то выглядывали из-за прикрытия, и так как у нас был с собой полевой бинокль, то мы вскоре определили на лесной опушке местонахождение передовых позиций противника.

Это было опять то же упойтельное чувство — сознавать себя частицей организованного целого и подчиняться единому руководству; чувство это преобразало слепое подчинение приказу в некий добровольный акт.

И вот начался трудный обходный манёвр: нам пришлось пересечь болото и перейти вброд ручей. На склоне дня противник был, наконец, окружён. Попытка противника прорваться ни к чему не привела; после короткого сопротивления «синие» вынуждены были сдаться.

Когда, при попытке «синих» прорваться, Мопс бросился на меня с занесённой саблей, а я ударом снизу со всего размаху «всадил ему штык в живот», я настолько вошёл в свою роль,

что всерьёз стал видеть в Мопсе злейшего врага. Прошло немало времени, пока я забыл этот военный эпизод, и Мопсу пришлось долго уговаривать меня, прежде чем я помирился с ним.

Игра в войну надолго заняла наше воображение. Я жалел, что Фек и Фрейшлаг не видят этих военных игр, что я не могу хотя бы поделиться с ними этими неповторимыми, чудесными переживаниями. Дома, реки, холмы и леса мы воспринимали теперь только как объекты для нападения или защиты. Мы возводили укрепления, оценивали расстояние. Груды хлама и кустарник на школьном дворе служили нам для устройства засад, и каждый из нас охотно давал разок убить себя из-за засады. Мы выставили на нашем дворе дальнобойные орудия; взмахнув саблей,— я был начальником батареи,— я подавал команду: «Наводи орудия по цели», и мы принимались расстреливать Нердлинген: вот и «Верзила Яков», самая высокая колокольня Нердлингенского собора, зашатался от угодившего в купол снаряда; к'небу взметнулся зловещий столб дыма — и перед нами уже лежали лишь груды тлеющих развалин...

— Рад стараться! — рывкал я, счастливый, и щёлкал каблукми. Наконец-то я знал, куда девать руки, которые всегда у меня болтались как ненужные, которыми я всегда смущённо поигрывал: руки надо было держать по швам. А ноги при маршировке я вскидывал чуть не на высоту плеч.

Если до сих пор я писал родителям по обязанности и только в воскресные дни, то теперь я охотно принялся за письмо в один из будних дней. Я подробно описал им свои военные впечатления и заявил, что во что бы то ни стало хочу определиться в армию. Моё письмо разминулось с письмом из дому, в котором отец извещал меня, что рождественские праздники мне придётся провести в интернате: мои «похождения» исключают возможность близкой встречи с родителями. Так, значит, директор Ферч донёс родителям о моей исповеди! Я обрадовался, теперь моя совесть могла быть спокойна, всё равно уже поздно отречься от покаяния...

Когда директор Ферч впервые подверг меня «подтягиванию», я мысленно обозвал его жандармом и палачом, которому отец меня передоверил. А теперь «подтягивание» стало как бы частью военной игры, в которую мы превратили всю нашу жизнь в интернате. Я тоже уверовал, что «подтягивание» — это лучший способ закалить нас и сделать настоящими мужчинами. Раньше мы каждому, кто подвергался пресловутому «подтягиванию», облегчали страдания, как могли, обмывали ему окровавленные места, прикладывали примочки. Теперь же каждый после «подтягивания» на три дня зачислялся ещё в «штрафные». Так мы

сами содействовали упрочению сурового режима и казались себе мужчинами и солдатами оттого, что жестоко карали самих себя. Разговаривая друг с другом, мы каждую фразу обязательно сопровождали коварным «гм!» Это делалось совершенно серьёзно, и Кадет, который обычно этим «гм» передразнивал нашего директора, теперь не смел себе этого позволить. — Выправка! — следили мы друг за другом, и все старались щегольнуть хорошей выправкой. Гордясь своей прекрасной выправкой, я чувствовал себя «на десять голов» выше какого-нибудь Гартингера или Ксавера; попадись они мне только в руки, я бы им преподавал эту выправку! Я и сам не понимал, как это случилось, что я, презиравший «смиренника» Зеппа, сам теперь испытывал удовольствие, когда стоял «смирно» и соревновался в этом искусстве с другими. Кадет славился тем, что мог два часа подряд стоять навтыжку, ни разу не моргнув. Я, разумеется, больше получаса не выдерживал, капитан из Кепеника начинал весело хохотать во мне, и вся моя выправка шла насмарку.

Наступили рождественские праздники, и все школьники, за исключением Кадета и меня, разъехались по домам.

Кадет воспользовался нашим одиночеством для того, чтобы донимать меня щипками. Его отец был полковником и командиром аугсбургского артиллерийского дивизиона. У Кадета было три брата, и все трое, как он хвастал, оказались неудачниками и не годились никуда, кроме армии.

Хоть и безуспешно, но я упорно старался отделаться от Кадета. Он лез ко мне в постель и умолял не поднимать шума. Катастрофа разразилась — кастелянша накрыла нас. Чтобы избежать «подтягивания», Кадет всё взвалил на меня, я отрицал свою вину, но стоило директору Ферчу несколько секунд продержаться на весу за волосы, и я не замедлил признаться, будто это я подговорил Кадета. Больше того, я даже с готовностью признался и в том, что непристойные рисунки в уборной сделаны мной и что это я пробуровил там дырочку в перегородке, чтобы подсматривать за кастеляншей и кухаркой.

С тех пор как военные игры не скрашивали интернатской жизни, нас обступила вся её злая жуть, которую ещё увеличивала удручающая тишина, наступившая в старом, безлюдном здании. Звонки были отменены, и всё жё в ушах ежечасно звенело так, точно у тебя самого внутри звонок, который повсюду преследует тебя неумолимым визгом. В лабиринте коридоров призраками маячили фигуры директора и кастелянши. Стараясь накрыть воспитанников за чем-нибудь недозволенным, оба они ходили на цыпочках. Директор Ферч часто запирался в одной

из уборных, чтобы подслушать наши тайные разговоры, а по ночам неожиданно вырастал посреди спальни в одной рубашке, рассчитывая, что мы примем его за своего.

Под надзором директора и кастелянши мы с Кадетом становились по утрам на молитву, после чего обычно отправлялись с ними на неторопливую прогулку по Эттингену. Часто мы ждали их: то кастелянша повстречает знакомых, то директор «на минутку» забежит к какому-нибудь коллеге. Только изредка нас освобождали от этих прогулок и оставляли во дворе. Обедали мы также четвером, в обширной столовой, и многочисленные пустые стулья возвышались, точно плоские надгробные плиты, а каждый звук, многократно усиленный эхом, гулко отдавался под высокими сводами. Но особенно унылыми и мучительными были долгие зимние вечера, которые мы обречены были коротать под недремлющим оком директора и кастелянши. Кастелянша приводила в порядок бельё или подсчитывала расходы; директор Ферч делал вид, что занят чтением, в действительности же исподтишка наблюдал за нами, а мы, сидя перед раскрытой книгой, клевали носом и мечтали о том, чтобы уже поскорее пробило девять.

Вполне естественно было ждать, что директор Ферч донесёт отцу о новых гадостях, сотворённых мной, поэтому я особенно удивился, когда получилась большая рождественская посылка и длинное письмо, одна страница которого была исписана отцом, другая — матерью. Для директора Ферча этот рождественский подарок был, повидимому, неприятным сюрпризом, так как, передавая мне распечатанное письмо, он не мог удержаться от замечания: — Ну, знаешь, у тебя и впрямь снисходительные родители, они, видно, прощают тебе всё решительно. — Отцовское письмо заканчивалось словами: «Помни: родители — твои лучшие друзья. Им ты можешь всегда писать обо всём, что у тебя на душе».

Ферч, не отходивший от меня ни на шаг, видел, как, забравшись в тёмный уголок коридора, я дал волю слезам. Медленно, цепляясь за стены, соскользнул я на пол. Снова я парил, опускаясь в бездонную пропасть, совсем как в тот раз, когда прощался с фрейлейн Клерхен. Но теперь ни один стих не просился мне на уста, чтобы смягчить остроту падения. Мопс говорил, что молиться нужно страстно, растворяясь в молитве целиком, чтобы открыть богу доступ к твоей душе. Не надеясь, что молитва моя дойдёт до бога, я молил родителей, чтоб они спасли меня. Увидев, что я скрючился в углу, директор Ферч обнял меня и поднял с полу. Никогда никто не обнимал меня с такой нежностью. Пришла кастелянша, вытерла мне слёзы передником и прижала к себе мою голову, которая всё ещё сотрясалась от рыдания.

Директор Ферч сел около моей кровати и рассказал мне длинную повесть о своём детстве, при этом глаза его часто поблёскивали, точно от слёз, схороненных глубоко внутри. Однажды, когда он был голоден и украл кусок хлеба, отец толстой дубинкой раздробил ему руку. Он, директор, тоже родом из деревни, из-под Балингена. Его маленькая изувеченная рука мягко легла на мои волосы. Тут я опять заплакал навзрыд. Я чувствовал себя окончательно сбитым с толку.

Раздача рождественских подарков происходила в кабинете директора. Из полученной мною посылки я сделал небольшие подношения директору Ферчу, кастелянше и Кадету. От директора я получил книгу, от кастелянши — бювар, а Кадет надарил мне всего, что ему прислали из дому, — пышек, шоколадных ракушек и даже целый пирог. В довершение всего он преподнёс мне стишки, им самим написанные. Когда я благодарил всех, смущённый, совершенно сбитый с толку, мне хотелось сказать им: «Теперь-то я уж ровно ничего не понимаю».

Директор Ферч сказал:

— Ну вот, видишь, как мы все любим тебя!

Елку мы сами с утра притащили из лесу и украсили стеклянными шарами и снежными блёстками. Мерцающая, горели разноцветные свечи. Вершиной дерево упиралось в потолок.

Директор Ферч распахнул двери, прошёл в классную и там сыграл на фисгармонии «Тихая ночь, святая ночь»...

Как призрачные вздохи, звучала музыка под древними сводами.

И снова затуманенное слезами чувство влеклось туда, к великой загадке: к богу.

### XXX

С приездом Мопса после рождественских каникул я узнал, наконец, как в действительности обстояло дело с непонятным для меня письмом родителей. Мопс рассказал отцу о пресловутой «чепухе про некую распутную женщину», и отец его обратился с письмом к моим родителям, которые тотчас же откликнулись «с величайшей признательностью за чрезвычайно ценные сообщения». Мне было почти больно видеть, в какое неловкое положение попал директор Ферч. Я посвятил Мопса в историю с Кадетом и рассказал ему о чудесном превращении нашего воспитателя, которое я теперь объяснял себе страхом перед моими родителями. Мопс хотел было немедленно объясниться с Кадетом и объявить его «штрафным». Я решительно заявил Мопсу, что в таком случае между нами всё кончено. Мопс насторожился: — Что это ты заступаешься за него?! — Как-никак, а его отец

полковник и командир аугсбургского артиллерийского дивизиона, — невольно вырвалось у меня. — Ведь это наш брат... — Мопс в ответ ограничился коротким: — Ну, как знаешь... — и мы стали рассуждать о дурных людях.

Я думал, что дурные люди всегда остаются дурными людьми, их зловердность написана у них на лице и проявляется во всех их поступках. К дурным людям я причислял учителя Голя, директора Ферча, Кадета, Фека и Фрейшлага, но как только дело доходило до моих родителей, я не знал, что думать, а насчёт себя — и подавно. Но то, что я пережил в сочельник, поколебало мою уверенность и относительно директора Ферча и Кадета, да и Фека и Фрейшлаг, может быть, вовсе не так уж безнадежны, пусть-ка мне Мопс толком разъяснит всё это. Мопс утверждал, что таких людей, которые были бы только плохими, — совсем плохих людей, — вообще не существует. Человек плохой, если он плохой в самом главном, а в вещах второстепенных он может проявлять себя и с человеческой, привлекательной стороны. А с другой стороны, и хороший человек порою может кое в чём производить дурное впечатление, и на хорошего человека может найти дурной стих, но в основе своей он человечен и добр. — В чём же заключается эта основа, это главное? — Мопс долго думал над ответом и, наконец, сказал: — Это надо чувствовать, чувство всегда подскажет тебе, плохой это человек или хороший. — А мне, как назло, чувство ничего не подсказывало, я чувствовал и так, и этак, и Мопс снова посоветовал мне усердно молиться богу, чтобы он привёл мои чувства в порядок.

Интернат снова наполнился гулом звонков; голоса и беготня воспитанников снова оживили сводчатые коридоры, опять начались военные игры, и, так как директор Ферч оставил меня в покое, зимние месяцы пробежали быстро, и за играми в снежки мы и не заметили, как пришла лучезарная весна.

Мопс сообщил мне радостную весть, что его отец приглашает меня на пасху в свой охотничий домик. Отец написал мне, что разрешает принять приглашение.

Я питал к Мопсу восторженную привязанность, и мне казалось, что я лучше всего докажу свою дружбу тем, что поклянусь стать, как и он, священником. Мопс помог мне подготовить проповедь. Возведя во дворе амвон, мы собрали несколько воспитанников, и каждый произнёс свою проповедь; в перерыве наша «паства» пела хоралы. Темой для проповеди я избрал свой конфирмационный текст: «Я — путь, я — истина, я — жизнь, только через меня придёшь к господу». Но, незаметно для себя, я подменил это утверждение вопросом: «Где путь, в чём истина и что

такое жизнь?»,— и не мог ответить на этот вопрос в духе непоколебимой веры. Мопс сурово бранил меня за это и заклеил мою проповедь как глубоко противоречащую духу религии, даже безбожную.

Как-то я признался Мопсу, что однажды во время вечерни спрятал во рту облатку и принёс её домой, чтобы рассмотреть, что это за тело христово. Мопс назвал это смертным грехом, а смятение моих чувств объяснил как божью кару. Немало спорили мы о преимуществах протестантизма перед католичеством, и Мопс долго смотрел на меня с прискорбием, когда обнаружил мои католические симпатии (он сказал — «вкусы»). Я превозносил католическую исповедь; человек, отделённый завесой от всего мира, точно в счастливой беседке, может рассказать богу на ухо всё, что его угнетает; расхваливал я и жутковатую торжественность католической мессы и, в особенности, то, что люди молятся, преклонив колена, да, именно, преклонив колена.

— Но ведь можно молиться и стоя.

— Молиться стоя? Нет, надо либо молиться, либо вовсе не молиться; но уж если молиться, так на коленях, какая же это молитва стоя,— ни то, ни сё.

Но наши споры всегда кончались праздником примирения, после которого ещё сильнее разгоралась наша дружба. Когда мы оба, с чемоданами в руках, двинулись на вокзал, чтобы отправиться в Нердлинген, радости нашей не было предела.

В Нердлингене, перед трактиром «У шведского короля», нас ждал пароконный экипаж; мимо небольших, разбросанных усадеб с аистовыми гнёздами и утиными прудами и через светлозелёную дубовую рощу он привёз нас в «охотничий домик».

— Вот хорошо, что ты приехал со своим другом!— приветствовал нас у входа, над которым была прибита пара колоссальных оленьих рогов, высокий, широкоплечий человек. Мопс представил его мне:— Мой отец.— Его зелёный охотничий костюм, служанки, которые хихикали, высунувшись из окон, всё вместе привело меня в такое замешательство, что я забыл фамилию хозяина дома и смущённо пробормотал:— Я тоже очень рад, господин Егер!

— Господин Зигер,— деликатно поправил меня Мопс, и тут пошли смех и шутки, так и не смолкавшие все каникулы.

Охотничий домик стоял в самой гуще леса, из окна можно было спуститься вниз по дереву. Мы были окружены со всех сторон лесом, тишиной его неподвижной листвы, сменявшейся при ветре мощным шумом. Зелёный, пронизанный солнцем свод над головой стал нам близким и родным небом, гораздо более родным, чем то, что бледноголубыми осколками просвечивало

сквозь переплёт ветвей. Близкое родное небо, в котором птицы, это священное воинство лесного бога, щебетали песнь ликования, продолжало ощущаться и в самом домике, во всех его комнатах, где пахло сосновыми брёвнами, где стены были обшиты деревянными панелями, а на каминах и всевозможных полках стояли чучела лисиц, белок, сов и куниц — целая галерея причудливых жильцов этого дома.

Удивлённый и счастливый, ходил я за Мопсом по пятам и всё говорил:

— Слушай, мы живём в лесу, вот здорово!

— А это — моя мать, госпожа Егер, — сказал Мопс, подводя ко мне за руку свою мать. Длинные, низко свисавшие русые косы делали мать Мопса похожей на молоденькую девушку.

— Вот и чудесно! — сказала она и извинилась, что обед будет только через несколько минут. Она знает, что мы сильно проголодались, но поезд пришёл, повидимому, раньше времени, счастье ещё, что она на всякий случай заблаговременно выслала лошадей.

Лёгкость и непринуждённость в обращении Мопса с родителями и дружески шутливый тон, которым родители разговаривали с ним, превращали для меня этот лесной дом в какое-то райское убежище, а живущих здесь людей — в добрые и даже совершенные существа.

На меня произвело сильное впечатление то, что господин Зигер ни в какой мере не одобрял наших воинственных игр, да и вообще ему не нравился весь дух, который насаждался у нас в пансионе.

— Да неужели же в мире нет других развлечений, кроме военных игр? Вот так и накликают войну, эти дурацкие забавы ведь непременно превратятся когда-нибудь в ужасную действительность! Мало разве мы навоевались, — да мы ещё и по сей день расплачиваемся за Тридцатилетнюю войну и её губительные последствия.

Весь наш школьный уклад он назвал недостойным культурного народа и стал подумывать, не отдать ли Мопса после пасхальных каникул в нердлингенскую гимназию; хоть это и посреди учебного года и дорога туда очень неудобна, «но в Эттингене этот замечательный воспитатель систематически портит вас».

Такие речи, тёплые, без тени назидательности, и разлитая вокруг лесная тишь, которая, казалось, делала немислимой всякую пустую болтовню и допускала только звучание скромной истины, опять пробудили во мне стремление зажить по-новому. Вместе с этим стремлением я, скитаясь по лесу, чувствовал, как снова обступают меня слова, мерные и звонкие, и только потом я понял, что это были стихи. Я прочитал их Мопсу, и он заставил меня записать их в тетрадку, и сам достал из отцов-

ской библиотеки несколько томов стихов, которые мы поочерёдно читали друг другу вслух.

Взмахи качелей были в воздухе, они пели: родина. Окно фрейлейн Клерхен звенело: прости. По лесной дороге рядом со мной шёл Гартингер, у нас была с ним одна дорога. Вечером, когда спускались сумерки, появлялся Ксавер со своей гармонью, Христина снова говорила мне «ты»... И я проклял эти глупые военные игры и с ужасом думал, как легко я опять подпал тогда под влияние Фека и Фрейшлага. Этакый негодяй! Этакый смиренник! Что за бес в тебе сидит!..

— Если я тебе понадоблюсь...— сказал мне Левенштейн: он предлагал мне свою помощь... Но что же мне нужно?! Чего я хочу? Чего именно?!

Рано утром в пасхальное воскресенье продолжительная прогулка привела нас в аллергеймский бор, где было множество могильных холмов; некоторые из них покрыты были замшелыми плитами и обнесены ржавыми чугунными решётками.

На одной из каменных плит ещё можно было различить дату: 1645.

Мы обнажили головы и минуту постояли в молчании.

Как раз в этот миг в Нердлингене и Аллергейме ударили в колокола, и мне явственно послышалось, как грянул мощный хор «Воскреси, о воскресни...» Я подался чуть назад, чтобы уступить место мертвецам, если б они вздумали подняться из своих могил. Мне чудилась под землёй какая-то тревога, грохот, стук, надгробные плиты то поднимались, то опускались, вот сейчас — ждал я — в земле покажутся трещины и расселины, и я предусмотрительно ухватился за ствол ближайшего дерева, чтобы не свалиться вниз, к просыпающимся мертвецам, когда земля разверзнется...

Но так как земля не расступилась, то я стал рвать подснежники и осыпать ими могилы, напевая в такт колокольному перезвону:

— Жить по-новому! Жить по-новому!

Со словами: — Дай бог, чтобы война миновала нас! — господин Зигер повёл нас по лесной просеке к Аллергейму, и скоро его средневековые башенки и городские стены, прорезанные бойницами, раскинулись перед нами в небольшой долине.

Господин Зигер разъяснил нам, что эти могильные холмы — остатки шведского кладбища времён опустошительной Тридцатилетней войны, которая дважды пронеслась по нердлингенской земле. В первый раз — в 1634 году, после убийства Валленштейна в Эгере, когда императорская армия одержала над герцогом Бернгардом Веймарским и шведским генералом Горном

победу под Нердлингенем, после чего Саксония заключила с императором Пражский мир, к которому присоединилось большинство протестантских держав. И второй раз — в 1645 году, когда Франция открыто присоединилась к Швеции и французы, вместе со шведами, после победы при Аллергейме, устремились на Баварию и Богемию.

Вслед за этим общим разъяснением господин Зигер нарисовал картину жестокой войны, которая некогда не только опустошила и разорила Германию, не только внутренне раздробила её и лишила всякого влияния, но и по сей день, спустя триста лет, всё ещё даёт себя знать в воинственных вожделениях и внутреннем огрубении людей, которые только до поры до времени чувствуют себя связанными узами лицемерной цивилизации.

Перейдя потом к крестьянским войнам, господин Зигер выразил мнение, что здесь именно и кроется корень злополучия немецкого народа и что Тридцатилетнюю войну надо понимать как прямое следствие трагической неудачи крестьянского движения.

Хотя многое в рассуждениях господина Зигера было мне тогда непонятно, тем не менее мне казалось, что они гораздо больше, чем беседы со стариком Гартингером, дают мне представление о том, что такое народ и как народ усваивает и развивает наследие прошлого, и о том, что с жизнью по-новому дело обстоит вовсе не так просто, как мне казалось.

Когда мы бродили по Аллергейму, я вспомнил нашу семейную хронику, которая с отцовской стороны восходила к владельцу трактира «У весёлого гуляки», к «Тёмному пятну». Фек и Фрейшлаг теперь перестали быть для меня просто забияками и буянами; быть может, думал я, именно такие, как они, колесовали когда-то владельца трактира «У весёлого гуляки». Кличка «палач», навязанная мне моими одноклассниками и охотно принятая мною, отныне приобретала грозное, предостерегающее значение. Смутно и бессознательно почувствовал я, что эта кличка отделяла меня от родины, от всего моего народа. Ксавер, Гартингер, Христина, фрейлейн Клерхен — они из народа, Мопс и господин Зигер — с народом, но есть и другие люди, которые остаются чужими народу или идут против него.

Все эти мысли я бессилён был продумать один, я нуждался в помощи. Однако ни Мопс, ни его отец не повели меня дальше по этому пути. Господин Зигер уклонился от ответа на мои вопросы. — Это тебе ещё рано знать. Но есть одна вещь, которую тебе не мешает запомнить уже сейчас: в то время, как все окружающие нас народы преуспевали и объединялись, мы сумели добиться только расчленения, мы оказывали противодействие всякой великой идее, едва являлась угрозой, что эта идея может

воплотиться в действительность. И хотя мы утверждаем, что сегодня мы на заре новой эпохи Возрождения в искусстве и жизни, в глубине души мы полны тревоги и сомнений, что, быть может, и эта прекрасная химера есть не что иное, как своеобразный гематоген, морально укрепляющее средство против нашей безграничной дряблости и расслабленности... Короче говоря: мы в поисках нового человека... Что до меня, то в части, касающейся будущего нашего народа, я возлагаю все надежды на германского рабочего. А если уж он не выручит, тогда — смилуйся над нами бог!

### XXXI

И случилось во сне, что в утро пасхи 1908 года некий муж, который, по свидетельству семейной хроники, был колесован и сожжён в 1546 году, разбуженный колокольным трезвонем и пением хоралов, восстал из своей прохладной могилы и направился в город.

Я стоял у окна и видел, как человек этот поднимается вверх по Гессштрассе.

Он был среднего роста, слегка сутулый, с прищуренными, точно от близорукости, глазами, и, казалось, что его больше всего занимает мысль, как бы скрыть своё, не похожее на одежду всех других людей, платье, ботфорты с отворотами, кожаный камзол и высокую широкополую шляпу, но, о диво, в этом старинном наряде он не привлекал ничьих любопытных взоров.

Разглядывая людей и вещи, он силился понять, в какие времена и в какую обстановку он попал.

Как только человек этот приблизился к нашему дому, я перевоплотился в него, оставаясь в то же время на своём наблюдательном посту у окна.

Немногие звуки человеческой речи, на лету выхваченные мною из разговоров прохожих, открыли мне, как изменился язык за четыреста лет, миновавших со дня моей смерти, как он обогатился новыми, непонятными мне выражениями. Разглядывая вывески, я мог прочесть лишь отдельные, разрозненные слова, глазам было больно от ярких красок, после тусклых могильных сумерек они действовали на меня как ослепительные прожекторы.

Меня сначала очень мучила странная раздвоенность зрения. Моё время и это время ложились друг на друга, как два диапозитива, причём каждый из диапозитивов просвечивал через другой.

Под моим взглядом одежда современных людей превращалась в платье моего прежнего времени, но люди тут же снимали с себя это платье, и под ним обнаруживался их современный

костюм, вокруг меня происходило непрерывное, головокружительное переодевание, причём одновременно с платьем менялись и черты человеческих лиц, и бороды то исчезали, то вновь отрастали. Так же обстояло дело и с улицами, которые то суживались, то снова расширялись, и с домами, которые съёживались и припадали к земле только для того, чтобы в следующую минуту стремительно выпрямиться и буйно вырасти ввысь и вширь.

Так, ощупью, входил я в новую для меня жизнь, причём малозаметные вещи привлекали моё внимание чаще, чем крупные и видные, многое же я замечал лишь после того, как хорошенько с ним осваивался. Безупречную ровность улиц я заметил только тогда, когда преодолел головокружение и нетвёрдость в ногах, вызванные непривычной прогулкой.

Но как же я перепугался, когда с наступлением вечера повсюду вдруг вспыхнули огни, неподвижные, парящие, мелькающие, вертящиеся. Мне показалось, что я каким-то чудом перенесён в скалистый ландшафт где-то на луне, так как в ночи, залитой огнями, дома приняли очертания ровно высеченных скал, вздымающихся и нависающих по обе стороны улиц, которые скрещивались друг с другом, подобно оврагам, и образовывали, как мне казалось, бесконечный лабиринт.

Как далеко, далеко, повидимому, это время опередило то, что в моё время называлось будущим. Сновидения и грёзы никогда, разумеется, не были мне чужды, но так далеко от своего времени, в самую беспредельность времён, я никогда не решался заглядывать. Это могло бы называться вечностью, «тысячелетним царством», но священные песнопения ничего не говорили моей душе, а господь бог, сын его, или богоматерь, или хотя бы кто-нибудь из святых никогда не являлись моему нетерпеливому взору. Память моя постепенно слабела, бледные и призрачные теплились воспоминания; мне уже стоило больших усилий удержать в памяти собственное имя, и я непрерывно повторял его про себя; я уже начинал сомневаться, жил ли я вообще в то далёкое время; я потёр себе лоб, чтобы вытравить из сознания некоторые воспоминания, и нажал кнопку звонка в доме на Гессштрассе номер пять, где на медной дощечке значилась знакомая мне фамилия «Гастль».

Когда я нажал кнопку, мне показалось, что в городе зазвонили все звонки, поднялся вихрь звонков и одновременно из домов дослышался вой, точно в них жили одни бесноватые. О, так, значит, я попал в город воющих, беснующихся домов!

— Я тот, кто в стародавние времена был владельцем трактира «У весёлого гуляки», я восстал после мучительных пыток и сожжения и послан сюда.— Так я возвестил о себе, и, хотя

я произнёс эти слова не громче обычного, всё же они очень явно прозвучали сквозь трезвон и завывание.

Отец свесился через перила балкона и закричал:

— Сударь, вас уж нет на первой странице! Вас давным-давно изъяли из «Семейной хроники»! Постыдились бы! Нехватало ещё, чтобы покойник, умерший несколько столетий тому назад, да ещё такой позорной смертью, затесался в нашу современную жизнь. А ну-ка, убирайтесь подобру-поздорову, не то я велю позвать полицию!

Дома одобрительно взвыли, тут послышался и крик сумасшедшего дяди Карла, который телефонировал в Валгаллу и звал богов на помощь.

Я заговорил (при этом я сам смотрел на себя из окна), и заговорил спокойным, показавшимся мне самому чужим голосом, мощно вырывавшимся из моих уст, точно через звукоусилитель:

— Дорогой государь-отец! Высококочтимый наследник и потомок! Дорогой отец-государь! Долг был мой путь сквозь века! Я пришёл, дабы исполнились сроки. Я возвещаю новую жизнь... Иисус Христос, господь наш, сказал: «Придите ко мне все страждущие и обременённые...»

— Убирайтесь прочь туда, откуда вы пришли! Слышите вы — Тёмное пятно! Мы не желаем иметь с вами дело. Я важный государственный чиновник с правом на пенсию. Разве вы не слышите и не видите, как вы перебудоражили весь город?! Скандал! Повсюду вой, звон, грохот. Вы угрожаете спокойствию и порядку!

— Значит, ты отрекаешься от меня, твоего предка, ибо я тот, кто в стародавние времена содержал трактир «У весёлого гуляки».

Тут отец свистнул, и на его зов, в сопровождении огромных собак, примчались Фек и Фрейшлаг, а за ними — учитель Голь и директор Ферч, оба, потрясая палками, и по всему городу забили барабаны. Тревога! Скандал! Гартингера и Ксавера, Христину и фрейлейн Клерхен, которые в ответ на мой зов выглянули из окон пансиона Зуснер, полицейские оттащили за ноги. Отряд гвардейской пехоты, под улюлюканье толпы, повёл трактирщика в Обервизенфельде.

Зрители и войска выстроились четырехугольником вокруг помоста, на котором разместились отец, учитель Голь, директор Ферч, Фек, Фрейшлаг и хозяин трактира «У весёлого гуляки». По знаку отца, директор Ферч приблизился к арестованному, схватил его за волосы у висков и резким движением рванул их вверх.

Тот, кто в стародавние времена содержал трактир «У весёлого гуляки», состроил насмешливую гримасу — он ровно ничего не

почувствовал. Мы с ним,—а ведь я-то и был в стародавние времена содержателем трактира «У весёлого гуляки» — ровно ничего не почувствовали. А всё потому, что при каждой попытке директора рвануть нас за волосы мы вырастали ровно настолько, чтобы директорская маленькая, высохшая ручка не могла до нас дотянуться. При этом мы не отделялись от земли, мы твёрдо стояли на ней. На директора, стоявшего с вытянутой вперёд рукой и свисающей кистью, падал какой-то странный свет от проплывавших мимо чёрных туч, и этот свет, в котором тонули лицо, волосы и густые заросли усов, делал его каким-то неживым, одеревянело-неподвижным,— директор принял очертания виселицы, которая старалась схватить нас и вздёрнуть. Виселица тоже стала расти. Но мы росли выше и быстрее. Долго длилось это состязанье в росте. Наша тень и тень виселицы легли на весь мир, но наша тень всё время перегоняла тень виселицы. И это было так, потому что на горизонте мы увидели корабль, целый корабль. И даже когда Фек и Фрейшлаг крепко держали меня, а отец силился оторвать мне голову, я только насмешливо крикнул: — Жизнь пойдёт по-новому! — И тут загрохотали пушки, раздался лошадиный топот, это началась Тридцатилетняя война, а за Тридцатилетней последовала Семи-летняя, а за ней — ещё и ещё войны, и так до некоей отдалённой, очень отдалённой войны, когда Феки и Фрейшлаг обратились в бегство, а отец и директор Ферч были убиты наповал, — и окна пансиона Зуснер распахнулись, в них показались Ксавер, Христина, Гартингер и фрейлейн Клерхен, они смотрели на торжественную процессию, проходившую по Гессштрассе, а я в это время вместе с бабушкой стоял против них на балконе, празднично убранном пёстрыми лампами. Вдруг заиграла гармонь, и весь город плавно закачался, омываемый волнами счастья.

\* \* \*

Под впечатлением этого сна я назавтра снова, отправился на могилы шведов, спустился в Аллергейм и вернулся домой через Нердлинген. Взбираясь на крепостные башни и карабкаясь на валы, я чувствовал, что здесь я будто обретаю себя, ибо это была моя родина.

Тем временем пришло письмо, в котором отец писал, что после каникул я могу вернуться в родительский дом. Дату моего возвращения и время отхода поезда из Нердлингена и прибытия его в Мюнхен отец подчеркнул красными чернилами. К письму была приложена ещё раз сделанная матерью опись белья: «Твоя мать надеется, что ты сохранил свои вещи

в полном порядке; внимательно проверь ещё раз, всё ли в целости».

— Гм! Гм! — Я аккуратно укладывал в чемодан бельё, выстраивая его перед матерью во фронт. Ни одной штуки белья не пропало, грязное было уложено в отдельный мешок. Тщательно расправленные, построились в ряд друг за другом и друг под другом рубашки, кальсоны, носки и платки, и я подумал, что в родительском доме вещи весь свой век стояли во фронт на отведённых им раз и навсегда местах. Мать не терпела болтающихся пуговиц; отлетевшая пуговица была, как она говорила, «катастрофой». Незачем было доводить до того, чтобы носок протёрся до дыр. — Почему ты во-время не сказал, что у тебя протирается носок? — Она зорко следила за бельём, безустали шила и латала, сохраняя его в порядке, вся одежда ежедневно просматривалась на свет, — а не собирается ли она где-нибудь прохудиться? Отец кидался к пресс-папье: — Я не выношу беспорядка! — если оно было сдвинуто с обычного места, точно от этого нарушался мировой порядок. Мать охотилась за картинами, висевшими недостаточно прямо. Христина вызывалась в комнаты и получала выговор за то, что в кухонном шкафу среди больших тарелок затесались маленькие. Вся жизнь проходила навтыжку. Все мы стояли навтыжку, хотя и не держали руки по швам. Часы отбивали положенный час, и в положенный час делалось то-то и то-то, минута в минуту, — без всяких отговорок. Повсюду были свои звонки, пусть они не всегда так пронзительно трещали, как в интернате святого Иоанна, у всех был свой дневной завод, все делали тик-так и останавливались, как часовой механизм. Я спрашивал: — К чему, для чего всё это? — и всё искал, и так и не мог найти, где же он, наш всемогущий, невидимый повелитель. Ведь цепь наших повелителей не кончалась на кайзере, и над кайзером была повелевающая воля, которой он подчинялся. Это была отнюдь не воля народа, кайзер признавал её только на словах, иначе он не допустил бы, чтобы бедные нищали, а богатые богатели. Божья воля? Но божья воля не творила бы такой чудовищной несправедливости и не уготовила бы наивысшие почести как раз самым безбожным лицемерам. Правда, были люди, которые, стараясь доказать наличие божественной воли, усматривали в торжестве безбожных лицемеров одну из божественных хитростей, пусть-де верующие не успокаиваются, пусть душа их всегда ревнует о справедливости. Но если в жизни, так усердно управляемой, словно размеренной циркулем, царит образцовый порядок, как же из этого точного расчёта, из этого смысла в малом возникает такое торжество безотчётного, такое царство преступной бессмыслицы?

Тёмное пятно! Тёмное пятно!

Думая о жизни навтыяжку, я вспоминал о Тёмном пятне. Хозяин трактира «У весёлого гуляки», несомненно, не стоял навтыяжку. Таких Тёмных пятен было, верно, много на свете, но они были бессильны перед теми, кто стоял навтыяжку. Быть может, каждый человек таил в себе Тёмное пятно; и отец в том числе, но отец, пресмыкавшийся пред высокопоставленными любителями стоять во фронт, старался вытравить его в себе и показать себя перед ними в наилучшем свете.

Если бы я сейчас разбросал все свои так аккуратно уложенные вещи и перестал бы жить по расписанию, этим я ещё не обратил бы в бегство стоящий навтыяжку мир бессмыслицы. Вот объединить бы все Тёмные пятна... И корабль, целый корабль был таким Тёмным пятном, и темнота его обратилась в сияние.

Кончилось тем, что и господин Зигер решил не посылать больше своего сына в Эттинген, а определить его в гимназию в Нердлингене. Каждый вечер, перед сном, мы с Мопсом торжественно обменивались клятвами писать друг другу еженедельно. На летние каникулы мы предполагали снова встретиться, так как мой отец пригласил Мопса к нам «в знак признательности за гостеприимство, любезно оказанное моему сыну в пасхальные праздники, это кстати будет для вас поводом побывать в столице Баварии, в нашем великолепном Мюнхене».

Я обнял всех на прощание, и мы запели:

Мне сегодня уезжать,  
С вами расставаться!..

Когда лошади тронулись, раздалось:

Нет, скорей сойдутся вдрут  
Солнышко с луною,  
Чем покинет друга друг —  
Разлучатся двое.

Потом пение расстроилось, и мне вторил только чистый голос фрау Зигер, которая вместе с Мопсом некоторое время бежала за экипажем.

Знай, тебе я каждый день  
Вздохи посылаю..:

Сотни вздохов каждый день  
Вьются легкие, как тень,  
Дом твой овевая...

За завесой слёз скрылся «охотничий домик».  
Утраченная родина манила к себе и звалась: «Потерянный рай».

В последний раз возник передо мною осиянный лес.

### XXXII

Над дверью моей комнаты висел венок с надписью: «Добро пожаловать!» Мать помогала мне распаковывать чемодан.

Она похвалила меня за порядок, в каком содержалось бельё.

— Видишь, я переметила каждую штуку, поэтому ничего и не пропало.— Я сразу увидел, что одна картина висит на новом месте. Мать спросила:— Разве я тебе не писала... Да, мы долго обсуждали, перевесить ли... Ведь всякие перемены так неприятны...— Больше ничего не изменилось в отцовском доме, всё было по-старому. «Беда никогда не приходит одна»,— говорил отец, с трудом скрывая радость по поводу кончины моего сумасшедшего дяди Карла. Но тихая семейная радость омрачалась тем, что в день моего приезда дядя Оскар лишился своей должности придворного врача у принца Людвига. Причиной увольнения был шлепок, который мой отважный дядя дал шестилетнему сынишке принца, когда тот в ответ на просьбу:— Разрешите, ваше королевское высочество, посмотреть ваше горло,— плюнул дяде Оскару в лицо. Тётя Амели утешалась тем что дядя Оскар успел всё-таки получить—уже, так сказать, в последнюю минуту—чин надворного советника. Сам дядя убеждал моих родителей, что смерть дяди Карла представляет для всей семьи неопценное благо, с лихвой вознаграждающее за такой пустяк, как увольнение его, дяди Оскара, со службы, тем более, что теперь он сможет по-настоящему заняться частной практикой и, кроме того, случай этот не нанёс никакого ущерба фамильной чести, терпевшей немалый урон из-за душевной болезни дяди Карла, в которой «все мы в какой-то мере виноваты».

Христина, как тень, шмыгала мимо меня и, так как её искусственная челюсть была как раз в починке, невнятно шамкала беззубым ртом: «Ваша милость».

Дела обоих дядюшек настолько поглотили моих родителей, что на меня они обращали очень мало внимания. Отцу удалось снова поместить меня в Вильгельмовскую гимназию в мой прежний класс. Через несколько дней, когда разговоры о смерти дяди Карла и об увольнении дяди Оскара были исчерпаны до конца,

всем уже казалось, что я и не уезжал никуда, никто не спрашивал:— Ну, как ты там жил в Эттингене?— и я ни о чём не расспрашивал; только раз, во время обеда, мать сказала, пристально взглянув на меня:— Что за отвратительное «гм-гм-гм» ты привёз из Эттингена?

Как-то утром, проснувшись, я бросился к окну, чтобы спуститься вниз по дереву, но передо мной оказалась пустота, снизу мне грозили камни мостовой. Времени, между тем, ушло немало, вот уже и в пансионе Зуснер у меня не осталось никаких знакомых, кроме разве покойной фрейлейн Лаутензак; перевоплотившись в собачку и попугая, она всё ещё жила в бывшей комнате фрейлейн Зуснер, которая продала свой пансион швейцарке, фрейлейн Кунигунде Вилла, а сама переселилась в Гамбург.

Отец клал мне руку на плечо, мать обнимала за шею. Они как будто говорили: «Нет, мы ничего не намерены тебе облегчить, напротив, мы усложним тебе всё, как только можем, для этого мы и существуем — мы, твои родители». Отец говорил со мной ласково, деланным голосом, он говорил со мной совсем по-отечески. Как знать,— а вдруг он и в самом деле нежный отец?— В гостях хорошо, а дома лучше, верно?— Если бы не это, я бы наверняка аккуратно, каждое воскресенье, писал Мопсу, как мы клялись друг другу. Но теперь ведь я был дома! Когда я сравнивал отцовский дом с лесным домиком, я видел, что господину Зигеру далеко, очень далеко до отца. А я буду жить лучше, чем отец. Человек в моём положении, конечно, всегда сделает блестящую партию, вроде дяди Карла. А я чуть было не потерял этот прекрасный дом и будущий, ещё более прекрасный, из-за какой-то гармонии, какого-то корабля, из-за какого-то Тёмного пятна. Нет, даже с Мопсом я не помещался бы ни за что на свете. Я жалел, что не подружился с Кадетом. «Между своими что за счёт». Но что верно, то верно, я всегда находил вкус в простом, грубом, низменном.— Неужели ты не видишь, кто тебе истинный друг?— не раз усовещевал меня отец.— Почему тебя так упорно тянет вниз?

Фек и Фрейшлаг украсили цветами место, которое я снова занял между ними, и Фек торжественно вручил мне завернутые в розовую папиросную бумагу взятые у меня взаймы десять марок.

— Скажите на милость! Оказывается, он человек слова!— вырвалось у меня. В ответ на это Фек приосанился и выпятил грудь.

— Я не подведу! Я за тебя в огонь и воду!

— Дело в том, что я уже не тот,— попытался было я охладить

его пыл, но он живо ответил:— А я-то, я! Ты поразишься, когда узнаешь, какие ужасы я тут пережил!

Во дворе на большой перемене он рассказал мне, что Дузель покончила с собой. Бросилась с Гроссгесселозского моста по примеру Доминика Газенэрля. А может быть, действительно, всё переменялось? Фек плакал! Он на самом деле плакал, рассказывая о смерти Дузель, из глаз его обильно текли маленькие, быстрые слезинки, и, вытирая их, он выдавил из себя:— Она была такая хорошая, просто хорошая, с ней каждый сам невольно становился хорошим.

Я гладил его по волосам, своего старого друга, так что руки у меня запахли помадой, и утешал его:— Райнер,— никогда ещё я не называл его по имени,— Райнер, милый, славный, ну будь же благодарен!

— Ах, оставь! Оставь! — отстранился он и мелкими шажками забегал по кругу, точно пойманный в мышеловку.— Никто не любит меня, никто... Тьфу! Одно лицо моё чего стоит!.. Я сам больше, чем кто-либо, ненавижу себя. Тьфу! Тьфу!.. А разве я виноват, что я такой... Никому до меня нет дела, хоть погибай... Будь хоть ты мне другом, хоть ты... хоть ты... Клянись, друг!

— Клянусь! — сказал я серьёзно и выгнул Фека за руку из его мышеловки, ворча про себя:— Комедия, пустая игра... В чём ты клянёшься ему, что за вздор?!

Фек объявил Дузель своей святой, и дома, у себя в комнате, показал мне нечто вроде алтаря, на котором между двух свечей стоял портрет Дузель, обрамлённый еловыми веточками. Он с торжественным видом зажёл обе свечи.

— До чего она была весела за день до смерти, ты не можешь себе представить, насвистывала, прыгала.— Дузель, что это с тобой сегодня?— спросил я.— Со мной?! Ты разве не знаешь, что завтра большой праздник?— Праздник? Завтра? Нет, не знаю.— Ну, конечно, откуда же тебе знать, это ведь у меня праздник.— Что же ты празднуешь?— Что я праздную?.. Вознесенье, завтра вознесенье... Крылья у меня уже выросли...— Ну, от тебя толку не добьёшься!— Она подарила ему свою карточку, и, так как она случайно снова забыла портмоне дома, ему пришлось дать ей двадцать пфеннигов на трамвай.

Из трамвая она ещё раз крикнула:— Вознесенье, как хорошо, вознесенье! Будь счастлив!— На следующий день она поехала в Гроссгесселоз; прохожие видели, как она со своей собакой несколько раз пробежала по мосту, потом вдруг перевесилась через перила и упала вниз. Собака постояла мгновение на месте, а потом бросилась по крутому обрыву к воде. Только на следую-

щий день девушку нашли пониже Гроссгесселозского моста, её прибило к шлюзной решётке у одной из электрических станций.

Я продолжал расспрашивать его о Дузель, меня интересовало, совсем ли он отделался от своего слезливого настроения. «Раз в жизни и на меня напало слезливое настроение», — объяснил он мне тут же, после нашего разговора на большой перемене, словно торопясь передо мной оправдаться. — Неудивительно, что ты переменялся, Фек; такие вещи не забываются. — Что ты! Что ты... Время всё исцеляет... Главное — выправка! — И он вытянулся перед собой во фронт.

— А как ты думаешь, почему она бросилась с моста, ведь она, кажется, уже однажды собиралась проткнуть себе сердце шляпной булавкой?!

Фек решительно сказал:

— А потому!

— Разве это ответ?

Он повторил уже без всякого волнения в голосе:

— Ответ ли это? Единственный! Лучший!

Фрейшлаг шумно приветствовал меня и сообщил о блестящих успехах, которых они с Феком добились за это время в классе. Конечно, без меня им было особенно трудно прибрать класс к рукам... но наше «духовное превосходство...» Он произнёс это с такой спесью и самонадеянностью, что я невольно подумал, а может быть, Фрейшлаг и в самом деле обладает «духовным превосходством»?

«Еврейчику» — Левенштейну — всё возвращение не предвещало ничего приятного. Он егзил вокруг меня, точно надеясь выведать мои намерения, но я разгуливал на перемене в обществе Фека и Фрейшлага и только снисходительно поблагодарил его, когда он написал за меня, так же как и за Фека и Фрейшлага, немецкое сочинение.

На письменном экзамене по математике мы под партами протянули нечто вроде подвесной железной дороги, по которой к нам своевременно присылались правильные решения задач. Для греческого и латыни Левенштейн раздобыл нам подстрочники — крохотные книжонки, напечатанные на тонкой бумаге, содержавшие полные переводы классиков и удобно умещавшиеся под партой.

Из-за смерти Дузель «свержение» профессора Вальдфогеля, как я узнал, было временно отложено. Теперь оно снова стало на очередь. Профессор Вальдфогель поймал Фека и Фрейшлага за списыванием и отказался принять их работы. Мы посвятили Левенштейна в наш план. Он долго убеждал нас, что свержение

Вальдфогеля — это не только ничем не оправданная подлость, но и чудовищная глупость.

— Вальдфогеля, самого порядочного из всех?!

— Вот именно потому! — язвительно отпарировал Фек, а Фрейшлаг поддакнул:

— Да, да, именно потому, пускай знает — именно потому!

Их «потому» хоть и показалось мне малоубедительным, но они так решительно и твёрдо отчеканили это слово, что к нему уже и подступа не было, и я не находил ответа.

— Именно потому? Именно потому? — растерянно повторял Левенштейн, как будто за этими словами скрывалось что-то страшное.

— Дз, именно потому! — Фек стукнул кулаком о стену. — Ведь мы в конце концов не тряпки! Главное, выправка! — Мы уединились в дальний уголок двора, чтобы сговориться. Теперь и Фрейшлаг подошёл к стене и тоже стукнул кулаком.

— Вот, вот, именно потому!

Вопрос был решён, и, словно зарубленное на стене, решение не подлежало пересмотру.

Во время обычного посещения обер-штудиенрата Арнольда, в конце четверти, класс должен был проявить крайнюю дисциплинированность; кроме того, все и в особенности лучшие ученики обязаны были отвечать как можно хуже. — Вальдфогель «поплатится за это головой». — Головой и потрохами! — Фек стонал и захлёбывался от смеха. Если только умело взяться, ни одна душа в классе не пострадает. Поверх парт все будут сидеть, как мумии, ни у кого на лице не дрогнет ни один мускул, всё разыграется внизу, под партами. До появления Арнольда в классе у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться, а потом дьявольская машина будет пущена в ход по сигналу Фека.

Необходимые принадлежности Фек закупил в игрушечном магазине на Штахусе. Деньги он занял у меня, золотая десятка была разбита на одну пятимарковую монету и на пять — по одной марке, три из этих пяти монет пошли Феку на покупки.

Едва обер-штудиенрат доктор Арнольд, лысый карлик с лохматыми бровями и изрытым оспой крючковатым носом, переступил порог классной комнаты и окинул класс насторожённым взглядом, как наш преподаватель математики Вальдфогель преобразился, он стал похож на учителя музыки Штехеле; согбленный старик, тщетно прячущий свою дряхлость, он с натугою поднялся, судорожно прижал руки к полам сюртука и,

почтительно изогнувшись, предложил свой стул доктору Арнольду.

— Благодарю! Пожалуйста, продолжайте урок! — злобно пискнул карлик и, вооружившись карандашом и записной книжкой, стал у первого окна.

Вальдфогель, повидимому, колебался, сесть ли ему или не сесть, и вопросительно поглядывал на стул.

— Продолжайте урок, прошу вас! — карлик так нахохлился, что Вальдфогель, дрожа всем телом, отвесил несколько поклонов кряду.

Лучший ученик в классе, Левенштейн, при первом же вопросе запнулся, запутался, карлик стал что-то отмечать у себя, Вальдфогель хотел прийти на помощь Левенштейну...

— Достаточно! — резко скомандовал Арнольд.

Фек кашлянул. Тут Фрейшлаг толкнул бомбу-воючку, и она покатилась вбок к стене. Коротким, незаметным движением я швырнул под парты целую горсть пистонов-хлопушек. Фек покатиł вторую бомбу, а я, с помощью привязанной к ноге нитки, начал шуршать бумажным комком под одной из задних пустых парт.

— Кто это там шуршит?! — пронзительно взвизгнул обер-штудиенрат.

— Да, кто это там шуршит? — жалобно прошелестел профессор Вальдфогель, глядя в угол, откуда доносился подозрительный шум.

— Разве у вас в классе мыши?.. Что тут у вас...

— ...происходит, — повидимому, сказал ещё карлик, но его заглушил взрыв повального чихания, охватившего весь класс. Это Фек, делая вид, что сморкается, распылил через бумажную трубочку целый пакетик чихательного порошка. Под аккомпанемент чиханья карлик быстро обернулся и, с усилением переводя дыхание, распахнул окно.

— Открыть все окна! Позовите педеля, профессор! Всем выйти из-за парт! Обыскать карманы!

Бомбы-воючки распространяли ужасающее зловоние; не переставая чихать, мы вышли из-за парт, то тут, то там хлопали взрывающиеся пистоны.

Профессор Вальдфогель вместе с педелем обходил наши ряды, обыскивая карманы.

— Эх, жаль! — шепнул мне Фек. — Надо было подбросить что-нибудь «книжным червям» и этим графам.

Карлик, не попрощавшись, вышел вместе с педелем.

У порога он бросил через плечо:

— Мы расследуем это дело! Неслыханный скандал!

Он швырнул это в лицо профессору Вальдфогелю; старик

зашатался и ощупью схватился за стул. Он долго сидел с поникшей головой.

Фек громко, так что профессор не мог не услышать, сказал: — С головой и потрохами!

Мы шатались по Английскому парку. На этот раз мы потащили с собой Левенштейна и заставили его скатиться вместе с нами с Моноптроса. В кафе у «Китайской башни» мы заказали пиво и папиросы. Левенштейну пришлось пить вместе с нами:

Тупость, тупость, ты — моя услада,  
Тупость, тупость, ты — моя отрада!

— Фрейлейн, платит вот этот господин! — Фек кивнул на меня. Пришлось выложить на стол две монеты по одной марке.

Мы сорвали с Левенштейна очки: — Вот чем он думает! — И мы удивлённо их рассматривали, с любопытством ощупывали стёкла, надевали очки на нос и старались «думать». У нас разболелись глаза, и мы вернули очки Левенштейну. Он тщательно протёр их, точно мы замутили ему его мысли.

Оставшуюся у меня пятимарковую монету опять-таки одолжил Фек. — Ну вот, теперь мы квиты! — сказал он, сунув её в жилетный карман, потом встал и потянулся. — Объявляю празднование победы законченным. У кого есть деньги, тот может продолжить его в кабачке «Бахус»... Шикарные женщины... Пять марок за номер...

Спустя несколько недель профессор Вальдфогель получил отставку. Уже заранее распространился слух, что профессор Вальдфогель даст в этот день свой последний урок математики — «пробил его последний час», — торжествовал Фек. В конце урока, когда в коридоре раздался звонок, профессор Вальдфогель сошёл с кафедры.

— Прошу вас, не расходитесь ещё одну минуту, — обратился он к нам. — Сегодня я дал вам свой последний урок. Этим заканчивается моя почти тридцатилетняя педагогическая деятельность. Я не знаю, были ли у меня в жизни какие-либо иные интересы, кроме блага моих учеников. Поэтому и сейчас мне от всего сердца хочется пожелать вам всяческого счастья, но, предостерегаю вас: ни в школе, ни впоследствии в жизни не позволяйте, чтобы вами верховодили такие элементы, которые в конечном счёте доводят только до беды. Гимназия наша не напрасно называется «классической». А между тем, то, что здесь произошло, это больше, чем мальчишеская шалость, так могли поступить только варвары. Повидимому, возвращаются времена гуннов... Прощайте!

Во время речи профессора стояла такая напряжённая тишина, что я не выдержал и потупил глаза. Даже Фрейшлаг и Фек не посмели пикнуть, хотя вначале, едва только профессор Вальдфогель заговорил, Фек успел ещё прошептать:—Довольно! Хватит!

Вдруг, совершенно неожиданно для нас, поднялся Левенштейн. Он вышел вперёд и стал перед классом, словно собираясь говорить от имени всех.

— Дорогой профессор Вальдфогель! Немало среди нас таких,— я беру даже утверждать, что их большинство,— которые глубоко сожалеют об инциденте, имевшем место при посещении господина обер-штудиенрата, и, зная, что вы всегда желали своим ученикам только блага, они от всего сердца просят у вас, господин профессор, прощения. Обещаем вам, что в будущем мы никому не позволим больше подстрекать нас на такие дела, которые нельзя назвать иначе, как гнусными преступлениями. Зачинщиков мы заклеим презрением...

Не успел Левенштейн кончить, как вскочил Нефф.

— Простите нас! Мы все очень хотели бы, чтобы вы у нас остались! Мы не думали, что дело так обернётся!

Никто из нашей тройки не смел поднять головы. Все смотрели в нашу сторону. Весь класс отшатнулся от нас.

Последним встал Штребель. Он сказал:

— От имени всего класса прошу вас простить нас. Пусть у тех, кто не согласен с нами, хватит гражданского мужества заявить об этом. Видите, даже зачинщики просят у вас прощения... Все мы искренне просим извинения, господин профессор! Мы не потерпим в своей среде гуннов!

Все встали и стояли молча, пока профессор Вальдфогель не вышел из класса.

Молча шли мы домой втроём. Фек начал было:— Ха-ха-ха, варвары...— Но даже Фрейшлаг молча и с отвращением отвернулся.

Во время выступления Штребеля каждый из нас надеялся, что другой найдёт в себе мужество встать и открыто заявить:— Это я был зачинщиком, господин профессор, слышите вы, старый слюнтяй, вы... Потому!

Жалкий трус!— ругал я себя. Вальдфогель-Штехеле... Штехеле-Вальдфогель...— и в голове у меня глухо отдавалось:— Гунн... гунн... гунн...

— Гнусный, подлый тупица!— бормотал я, косясь на Фека, но взгляд мой отскакивал от него и рикошетом обращался на меня самого.

Потому... Потому... Что за чертовщина это «потому»?! Мне хотелось кинуться на Фека, но, отпрянув, я вместо этого набро-

силса на самого себя: «Слушай, ты, с твоими разговорами о новой жизни. Я сыт тобой по горло. Такие, как ты...»

Недалеко от угла Гессштрассе и Арцисштрассе, где мы обычно расставались, у меня вдруг вырвалось:

— Знаете что?

— Ну, что?— И Фек и Фрейшлаг отступили на несколько шагов.

— Вы мне осточертели!

Мне часто случалось выпалить что-нибудь не подумав. Вырвется слово невзначай, и только тогда задумаешься. Порой сказанное так, сгоряча, открывало мне то, что происходило во мне и в чём я до того никак не мог разобраться.

— Что такое? Почему?!— наперебой допытывались Фрейшлаг и Фек.

Последние дни я всё ждал случая подхватить, вернуть им то словечко, которое они кулаками зарубили на стене.

— Почему?— настойчиво наступали они на меня.

Я взглянул на них свысока и хладнокровно бросил:

— Потому!

Фек и Фрейшлаг смущённо отступили.

— Долго ли я буду таскаться с этой сворой?— негодовал я на себя.— Всё одно и то же! Всё одно и то же! Неужели нельзя вырваться и зажить по-новому! Эх, ты...

За этим «ты» никого не было.

Не было никого. Было ничто.

Высокую ставил я себе цель: стать хорошим человеком. А сам час от часу всё сильнее походил на того... На кого «на того»? Фек — трусливая баба и ничего больше, дело в собственном твоём ничтожестве. Дрянной засел в тебе человечиска и буянит: — Дорогу мне!

Его не схватишь, не дёрнешь больно за волосы, не укусишь, не настигнешь кулаком.

Он знай себе растёт и растёт, и издевается над тобой, когда ты пытаешься усовестить его.

Внешне он ведёт себя, как полагается, у него прекрасная выправка, у него своя профессия.

Непостижимый, неуловимый — дрянной человечиска в тебе.

Призывно поблескивая, манили узкие перила Гроссгесселюэского моста, перекинутого над пропастью, где с певучим нежным рокотом катил свои воды старый Изар. Высокий мост манил к себе, в забвение...

И я растроганно пожалел себя: «Гастль, бедный Ганс-Петер Гастль. Гушны мы...»

За забвением дело не стало.

Забвение давал «Мюнхенский фереин водного спорта».

Председатель, архитектор Штеге, при моём приёме в члены ферейна торжественно взял с меня слово — активно участвовать в жизни организации и высоко держать её знамя. Многозначительным жестом вручил он мне устав. Я затвердил устав на-зубок. Жизнь ферейна заключалась в регулярном посещении Луизенбадского бассейна по установленным для тренировки дням, то есть по средам, в восемь часов вечера; что же касается вечеринок по субботам, происходивших в «жёлтом зале» Матезеровской пивной, то я был от них освобождён как несовершеннолетний.

«Мюнхенский фереин» устраивал водные экскурсии и водные праздники, причём членам ферейна билеты предоставлялись по льготным ценам. Почётным председателем ферейна был принц Альфонс.

Принц Альфонс только и делал, что улыбался. Он улыбался в семейном кругу, улыбался в парадной форме полковника первого кавалерийского полка, улыбался на охоте, на прогулке, в непогоду и в вёдро, улыбался во все времена года. А уж кому принц Альфонс улыбался, тот тоже не мог не улыбнуться — такая у принца была заразительная улыбка, — оттого-то он и пользовался всеобщей любовью, оттого-то он и выбран был нашим почётным председателем, этот принц Альфонс.

Отец вполне одобрил моё вступление в водный фереин.

— Совсем не вредно, — сказал он, — в твоём возрасте заниматься спортом, спорт отвлекает от всяких глупостей, которые лезут в голову.

Наш «Мюнхенский фереин» — форма: белое трико с синей звездой — с презрением относился к «Мужскому водному фереину», тренировавшемуся в бассейне Народных бань — форма: чёрное трико с жёлтой каёмкой.

Не прошло и нескольких недель, как я был выбран капитаном команды подростков, в которой состоял. Жизнь ферейна целиком захватила меня. Чтобы стать первоклассным пловцом, мне мало было общих тренировок, и я стал тренироваться ежедневно, под непосредственным руководством нашего тренёра, господина Штерна.

Я жил в эпоху рекордов. Я получал газету «Пловец» и запоминал результаты всех германских состязаний. Я мог наизусть перечислить все рекорды с точностью до одной пятой секунды. Так, на состязаниях в Каннштадте, Шнеефогель

(команда «Нептун») побил всегерманский стометровый рекорд на две пятых секунды; германскому мастеру больших дистанций, Раушу (команда «Посейдон», Берлин), при заплыве на сто пятьдесят метров удалось превзойти свой собственный рекорд на три пятых секунды, а в Бреславле, при заплыве брассом на короткую дистанцию, пятнадцатилетний пловец (команда «Глейвицкого клуба любителей водного спорта») перекрыл мировой рекорд на целых четыре пятых секунды; на гамбургских областных состязаниях в плавании на спине, Шилле («Ферейн водного спорта», Каннштадт) вторично получил звание мастера, а команда «Эллада», Магдебург, как и прошлый раз, взяла первое место в плавании на дистанцию свыше трёхсот метров в смешанном стиле; «Франкфуртский клуб пловцов» обладал лучшей командой по водному поло; «Вена», Австрия, в лице Вернера Шеффа, послала на южно-германские состязания своего чемпиона, который, взяв с самого начала замечательный темп, опередил наших лучших пловцов на несколько корпусов в заплыве на самую большую дистанцию в пять тысяч метров.

Я готовился к состязаниям подростков на дистанцию в сто и полторы тысячи метров.

Когда господин Штерн со своим хронометром становился на борт бассейна и подавал команду: «Внимание, марш!», а я хорошо заученным рывком устремлялся к старту и, упруго оттолкнувшись от упора, бросался в бассейн, — тогда мне казалось, что по водной дорожке меня неудержимо мчит могучая сила, во власть которой я добровольно отдался. Вскоре я уже был уверен, что рождён только и единственно для того, чтобы стать чемпионом по плаванию.

Споры между нами возникали теперь реже. Мы носили маску взрослости и напускали на себя вид полного равнодушия. Попрежнему ходили в школу втроём — Фек, Фрейшлаг и я, — как неразлучная трёхконная упряжка, которую нельзя разделить и которая тащит за собой нечто невидимое — не прошлое ли?

Много наших школьников примкнуло к спортивным ферейнам, большая часть из них вошла в «Мужской гимнастический ферейн» или в гимнастический ферейн «Ян». Фек состоял в хоккей-клубе «Бавария», Фрейшлаг — в футбольной команде «Удалец». Только Левенштейн попрежнему верен был своим туристским прогулкам с Неффом и Штребелем, тогда как оба графа с одинаковым пренебрежением относились и к спорту и к туризму, и вместе с бароном фон Пфеттенем продолжали держаться особняком. В школе, на переменах, и по дороге домой мы щеголяли друг перед другом своими успехами, и все вместе хвали-

лись перед «книжными червями», что мы книг не читаем, в театры не ходим, это, мол, бабье дело, юным немцам это не к лицу...

Наконец наступил день юбилея нашего «Мюнхенского ферейна», мой день,— я участвовал в молодёжных состязаниях в заплыве на короткую и длинную дистанции.

Луизенбадский бассейн до самой крыши украсился гирляндами бело-голубых флажков.

Первый председатель ферейна проводил в почётную ложу принца Альфонса, улыбка которого на этот раз выражала особую благосклонность.

Инженер Гейзов в качестве представителя «Всегерманского союза пловцов» произнёс торжественную речь, которую он закончил троекратным «гип-гип, ура!»

Было торжественно, как в церкви, когда гремит орган, или как на параде. Стоя со своей командой в строю, я чувствовал себя призванным совершить неслыханные подвиги, я жаждал взвалить на себя любые трудности, принести любые жертвы, показать себя героем.

После торжественного марша названо было шесть имён участников молодёжного заплыва, в том числе и моё. Щеголяя выправкой и напряжив мускулы, мы направились к старту.

Едва раздалась команда «марш», как я, метнув взгляд в сторону почётной ложи и улыбающегося принца Альфонса, устремился вперёд, до пояса вынырнул из воды при повороте, подхлестываемый криками, и под возгласы «браво» и «ура» зрителей, повскакавших с мест, громко ударил в гонг у финиша. Я победил с преимуществом в четыре пятых секунды. Когда я снова взобрался на трамплин и раскланялся,— принц Альфонс из своей почётной ложи поощрительной улыбкой дал сигнал к мощной овации. Аплодировал отец, увлекая за собой бабушку, мать и Христину, поневоле хлопали Фек и Фрейшлаг, и мне хотелось думать, что где-то, в публике, фрейлейн Клерхен, Ксавер, Мопс и Гартингер разделяют общее ликование.

Мой триумф не уменьшился оттого, что при молодёжном заплыве на длинную дистанцию я занял третье место. Я обнял обоих коллег, опередивших меня,— после собственной победы я искренне радовался чужому успеху. У победы хватит места для многих, я не хотел победы только для себя, которая не доставила бы другим ничего, кроме горечи поражения. Многие вышли победителями в этот счастливый день. Какое это счастье — вместе побеждать, иметь соратников, соратников в победе!

Вечером в отеле «Баварское подворье», на Променаденплац, состоялась раздача призов и чествование победителей.

Представители иногородних водных фереинов произносили речи и поздравляли с рекордными достижениями первого председателя нашего ферейна, господина Штеге, и нашего тренёра, господина Штерна. Принц Альфонс лично взял на себя распределение призов. Я был одет в цвета ферейна: белый картуз с голубой звездой и голубая куртка со значком ферейна. У принца Альфонса, одетого в форму полковника первого кавалерийского полка, тоже красовался на груди наш значок.

Когда принц Альфонс — с улыбкой! всё с той же улыбкой! — вручил мне посеребрённый кубок с моим именем и возложил мне на голову лавровый венок с бело-голубой лентой, на которой золотыми буквами было оттиснуто «Первый приз за молодёжные состязания», — я, стоя среди остальных премированных товарищей, повернул голову и увидел себя в большом стенном зеркале: герой, увенчанный славой.

Да и отец был, конечно, горд, когда на следующий день он прочитал в «Мюнхенских новостях» моё имя среди победителей. — Разве я не говорил всегда, что ты всё можешь, если захочешь? Тебе стоит только захотеть! — Мать любовно тревожилась: — Как бы ты не надорвал своё здоровье... — А Христина испекла «пирог победы». Бабушка обещала нарисовать мой портрет, изобразив меня пловцом-победителем. В гимназии я был встречен хором радостных возгласов, на перемене профессор Зильверию остановил меня: — Мы все польщены, — сказал он, — выпавшей вчера на вашу долю честью! Поздравляю! — Только «книжные черви» и скучающие графы проявили полнейшее равнодушие.

Я принял окончательное решение: стать всегерманским чемпионом по плаванию на короткие дистанции.

Решению своему я оставался верен много лет.

За это время комната моя превратилась в своеобразный музей. По стенам висели лавровые венки с лентами, книжная полка была уставлена кубками, пепельницами и вазами, полученными мной в качестве призов, а над кроватью красовались почётные грамоты и газетные вырезки.

Я усвоил себе жесты силача-атлета, и весь мир делился у меня на пловцов и непловцов, так же, как делились посетители в Луизенбадском бассейне, причём пловцов я, в свою очередь, различал по времени, какое они показывали на стометровой дистанции. Жизнь наполнилась смыслом, всё обрело свою меру и место. Жизнь складывалась из стартов, дистанций и финишей,

из тренировок и расчётов,— хронометр никогда не подводил. Мир этот содержался в величайшей опрятности, служитель каждый раз тщательно вытирал кабину, повсюду стояли плевательницы, плевать в воду не разрешалось. Можно было часами мыться под душем, душ смывал всякую грязь. Мы существовали друг для друга только с того момента, как раздевались и надевали трико. Господин Штеге ничего не стоил, пока не облачался в белый картуз и голубую куртку, форму ферейна — и только тогда становился человеком, когда он подходил к борту бассейна с хронометром в руках. Белый купальный костюм с голубой звездой исключал все другие темы для разговора, кроме стилей плавания и продолжительности заплывов.

По примеру Фека, я приучился бессмысленно и грубо отмахиваться лаконическим «потому!» от всех вопросов, которые не входили в сферу моего мира, ограниченного Луизенбадским бассейном. «Шут гороховый, дурак безмозглый!» — потешался я над самим собой, возвращаясь мыслью к тому злосчастному времени, когда я ещё задавался вопросом «почему?» Допытываться до причин казалось мне теперь ребячеством, не достойным мужчины. Как не-пловец, бабушка, конечно, не понимала этого и время от времени принималась увещевать меня: — Неужели ты до сих пор увлекаешься своим плаванием? Это просто сумасшествие! Ты ни в чём, к сожалению, не знаешь меры! — Старомодная, отставшая от века женщина, она говорила мне это в то самое время, когда я готовился на звание всегерманского чемпиона! На финальных состязаниях в Берлине предполагалось присутствие самого кайзера. Во сне я не раз плыл и плыл мимо трибун, прямо в императорскую ложу, и кайзер самолично прикреплял мне на грудь орден, хотя на мне не было ничего, кроме купального трико.

Белое трико с голубой звездой я и днём носил под обычным платьем и не спинал даже на ночь, ложась спать, так что в любую минуту я мог доказать свою принадлежность к «Мюнхенскому ферейну» и был всегда готов к старту.

Здороваясь, я с победоносным видом бросал приветствие пловцов: — Счастливой воды!

Входил в моду новый вид плавания «темп-хили», названный так по имени австралийца Хили и дававший несравненно лучшие результаты, чем испанский стиль. Я тренировался в плавании стилем Хили постоянно: лёжа, сидя, стоя. За обедом я, держа голову под водой, спокойно и плавно разводя ногами, далеко выбрасывая руки и загребая ими, как лопатами, внезапно ударялся о край стола. Это я делал поворот в бассейне: я отталкивался от ножки стола и, повернувшись спиной к отцу и к матери, плыл к цели...

— Что с ним опять?

Отец вытягивал шею, стянутую высоким крахмальным воротником с отогнутыми уголками, и, мысленно став навытяжку, настораживался: а не страдает ли тут престиж государственной власти? Топорщась, стояла навытяжку его крахмальная манишка.

— Он тренируется,— отвечала мать.

— От него в доме ничего, кроме беспокойства,— говорил отец и снова принимался за еду, с трудом ворочая шейю в высоком воротнике.— Дело тут, конечно, не в плавании, а совсем в ином! Держу пари. Меня не обманешь. Говорите, что угодно.

Иногда в Унгерербаде, когда мы летним вечером, составив велосипеды, усаживались за длинные деревянные столы, чтобы выпить молока и закусить, до меня, вместе с звуками гармонии, доносилось дуновенье той жизни, которую я давно забросил и забыл. В этом дуновенье печально и настойчиво звучал и бабушкин вопрос:— Доколе же?— Я уже проплыл свою дистанцию, на этой дистанции всё достигнуто, а в достигнутом нет никакого смысла,— что же дальше?! В один из таких летних вечеров я обнаружил, что с меня довольно; я внимательно оглядел своих коллег. Меня с ними ничто не связывало. «Что за убогая компания!» — выругался я презрительно, и только мысль о том: «Что дальше?» — ещё удерживала меня, но я уже решил покончить с плаванием и выйти из «Мюнхенского фрейна». Господин Штеге, этот сверхидиот, строящий из себя в фрейне Бисмарка, и господин Штерн, покрикивающий на нас и дрессирующий нас по своему дурацкому хронометру, ещё услышат от меня немало неприятных вещей. Не мешало бы мне и этому расфуфыренному шуту, принцу Альфонсу, выложить всё, что я думаю, «сказать ему пару тёплых слов» насчёт его фальшивой улыбочки. Разве всё это не жулики и скоты?! Кто же втянул меня в это плавание? Удружил я себе, нечего сказать! Досадно. ведь верно?!

А в кабинах...

Наш мастер по прыжкам долго приставал ко мне и, наконец, заперся со мной в одной из кабин. Как раньше я заглядывал во все комнаты пансиона Зуснер, так теперь я подсматривал в щёлку, что делается в кабинах; я уже наперёд признался в этом директору Ферчу. Теперь, наконец, я начал понимать, в чём заподозрил меня отец, когда узнал, что я сижу наедине с фрейлейн Клерхен в беседке счастья. Теперь я догадывался, чего хотел от меня Кадет, преследовавший меня своими нежностями, и что делал Фек, этот коротконогий, пучеглазый, широкоротый Фек — с Дузель, чем, может быть, довёл её до смерти! Значит, люди ещё отвратительнее, ещё злее, коварнее, чем я

когда-либо предполагал, а немногие хорошие люди гораздо лучше, чем я думал о них! — Спасибо и вам, фрейлейн Клерхен! — обращался я куда-то вдаль.

Возможно, что мне и удалось бы завоевать звание германского чемпиона, если бы мои отметки по всем предметам не ухудшились до такой степени, что к концу года мой переход в следующий класс оказался под вопросом. Тут уж вмешался отец. Он заставил меня заниматься с репетитором, и так как я, назло ему, всё-таки усердно бывал в фереине, он нанял нашему первому председателю, заявив о выходе своего сына из «Мюнхенского фереина». С бесстрашием романтических героев, спокойно смотревших в глаза смерти, я заявил отцу протест, вступился за честь фереина и поклялся до гробовой доски сохранить верность господам Штеге и Штерну. Но едва я очутился в своей комнате, наедине с собой, как весь мой пыл мгновенно угас. Разве вся эта дурь имела какое-нибудь отношение к плаванию? Опять что-то скрывалось за этим. Так выйди же из своей засады, ты, толкающий меня на это дурацкое поведение. Я готов был оправдать отца, если бы только не его письмо председателю...

Вскоре я уже посмеивался над своей преданностью фереину и особенно над пристрастием к купальному костюму, с которым не расставался ни днём, ни ночью. Сложив в кучу все кубки, лавровые венки и почётные грамоты, я сунул их в самый нижний ящик шкафа.

Плаванье, дурацкое плаванье!

У Эхтердингена погиб в огне цеппелин, испанцы воевали с риффами и кабилами, итальянцы — с турками, в Китае вспыхнула революция, пошёл ко дну «Титаник», а с ним шестьсот человек, Райт и Фарман сконструировали свои самолёты, из Лувра украли «Монну Лизу» — а я плавал, плавал...

Я плавал, а в Барселоне — может быть, в ту минуту я как раз стартовал или нырял в одном из бассейнов — расстреляли Феррера, проповедника анархизма, организовавшего там восстание. Имя Феррера переходило из дома в дом, на улицах то и дело слышалось «Феррер», в классе школьники собирались вокруг Левенштейна, рассказывавшего об анархисте Феррере, — но в Луизенбадский бассейн это имя не имело доступа: там раздевались в кабинах, принимали душ, плавали, насухо вытирались и уходили...

— И куда ты всё плывёшь? — спросил меня однажды Левенштейн. — Ты, пожалуй, наплавал уже столько, что можно было бы переплыть океан от Европы до Америки!

— Куда плыву? Погоди, увидишь...

И вдруг, на мгновение, мне и самому начинало казаться, что моё плавание бесцельно, хотя на каждом соревновании особая дощечка указывает «цель»...

Я плывал, а «книжные черви» горячо обсуждали новую пьесу под названием «Пробуждение весны». Повсюду наигрывали, напевали и насистывали популярные мотивы из «Принцессы доллар», «Волшебного вальса», а я плывал.

Проплыл мимо меня, когда я мысленно плывал, и громкий разговор в гостиной во время одного из наших музыкальных вечеров: отец и майор Боннэ с большим оживлением спорили о некоем Ницше.

Мать с бабушкой ходили на выставку; там, должно быть, были ужасные картины; обе пришли оттуда потрясённые и не переставали наперебой причитать:— Нет, я отказываюсь понимать этот мир! Нет, я отказываюсь понимать этот мир!

Мне мир был понятен,— мой мир был легко обозрим, раз в неделю в нём сменяли воду,— я ходил в Лунзенбадский бассейн и плывал.

Ах, эти «книжные черви!» Никто из них не умел плавать, оттого-то они и бегали на всяких «Кавалеров роз», шпыряли по библиотекам и входили в раж по поводу какого-то «Юродивого во Христе Эммануила Квинта». А скучающие графы — им, собственно, не мешало бы смыть в бассейне свой сплин. Да и Гартингеры, пожалуй, никогда в жизни не видели настоящей воды, стоило бы им поплавать, и их брюзжание как рукой сняло бы... Темпы! Одна пятая секунды, вот что важно, а не ваши «грядущие времена»... Счастливой воды!

Так-то я плывал. Наплавался вволю. Проплыл всю дистанцию из конца в конец.

### XXXIV

«Мюнхенский ферейн водного спорта» не давал сколько-нибудь прочного забвения. Жизнь ферейна оказалась недостаточно непроницаемой, в неё всё-таки просачивались извне всякие беспокойные веянья. Я пришёл к выводу, что моя попытка обеспечить себе прочное забвение потерпела крах. О, как я завидовал всей этой ферейншовой братии, которая коротала свой век в этой деловитой суетне. Опасные вопросы, великие «зачем» и «почему» не проникали в сферу их деловитой суетни. Так, значит, для вас исполнение долга, торжественный обет, который вы даёте, заключается во взаимном обязательстве хранить молчание? Прикидываетесь тупицами, вытягиваетесь во фронт только затем, чтобы молчать... А может быть, ваша тупость не так уж глупа, быть может, это высшее благоразумие, даже мудрость, и ваше

стояние навьтяжку даёт вам устойчивость, единственно возможную в этом непрочном и неустойчивом мире! Ваша деловитая суетня никогда не позволяет вам притти в себя. Сколько же подлинного человеческого счастья принесит вся эта суетня? И сколько на свете всякой мелочной дряни, если она может целиком заполнить человека, занять его до конца его дней. Выходит, что почти вся жизнь сводится к тому, чтобы в суетне искать забвения. Когда же, наконец, и я обрету его?

Свою страсть к «дурацкому плаванью» я действительно вскоре преодолел, но примириться с письмом, которое отец отправил первому председателю «Мюнхенского ферейна», я никак не мог.

При мысли о письме кровь бросалась мне в голову, оно отдавалось нервной дрожью в поджилках, когда я стоял перед отцом. Какое впечатление должно было произвести на господина Штеге, нашего первого председателя, то, что отец, а не я сам заявил о моём выходе из ферейна? До каких же пор отец будет распоряжаться мною?! — Очень просто, — отвечал отец, — до тех пор, пока ты сам не начнёшь зарабатывать себе на жизнь. Тогда будешь независимым. — Но и эта независимость опять же не будет независимостью, ибо я достигну её по милости отца... Буду независимым? А сам отец разве был независимым?

Я вернулся в мир из Луизенбадского бассейна, точно с загородной прогулки. Мир этот полон был радостных воспоминаний: Христина, Ксавер, фрейлейн Клерхен, бабушкины картины и её игра на рояле; мир этот излучал тёплый свет; светился и лесной охотничий домик, отодвинувшийся, однако, слишком далеко, чтоб туда ещё можно было писать. Но и страхи, населявшие этот мир, не рассеялись: попрежнему существовали директор Ферч, учитель Голь и особенно вездесущий отец, сочинивший от моего имени письмо в ферейн и с неослабевающей строгостью наблюдавший за тем, как я готовлю уроки. При этом меня не столько пугало, что я каждую минуту могу получить затрещину или подзатыльник, сколько тревожила судьба предметов, которые, ничего не подозревая, безобидно стояли на столе и на комод; стоило отцу найти у меня ошибку, как эти предметы летели в стену или на пол и разбивались с звенящим вскриком. Эти звенящие вскрики, вскрики жертв, пострадавших в домашних батальных, воспринимались острее физической боли, они мучительной, звенящей болью, отдавались в мозгу.

Я заметил, что отцу в эти минуты хотелось, чтобы весь дом сотряснулся от звона. Он так и искал предлога, как бы что-нибудь разбить. Мои ошибки были для него пустой придиркой, не в

них было дело, совсем не в них. Отец восставал на весь свой дом, на строгий порядок в нём, который он создал собственными руками. Он с радостью разрушил бы всё это, он жаждал увидеть перед собой развалины, словно жизнь тогда началась бы сначала и пошла бы совсем по-иному.

В эти минуты ужасающего звона, когда я растерянно озирался по сторонам, взор мой влёкся к Тёмному пятну, и я видел его таким, как в тот раз, в охотничьем домике. Тёмное пятно, наверное, продолжало жить и в крови отца, время от времени давая о себе знать звенящим буйством.

И в то же время отец приходил в ярость, едва заходила речь о праздновании Первого мая.

— А что в этом страшного? — спрашивал я, прикидываясь дурачком. — Всё было так тихо, смирно, не понимаю, чего ты волнуешься, пускай их празднуют своё Первое мая.

В петлицах у них были красные гвоздики. Матери и отцы везли детские коляски. Мелькали ноги в спортивных шароварах, женщины и мужчины катили попарно на тандемах. Вся процессия, подчинявшаяся указаниям полиции, казалась вполне миролюбивой, мне ужасно хотелось услышать что-нибудь враждебное существующему строю, но ничего такого не было, и я недоумевал, почему господин Зигер тогда, в охотничьем домике, возлагал все свои надежды на этих бравых обывателей. А интересно, Гартингер тоже был с ними?

— Что страшного? Дубинками разогнать! Дубинками! — вне себя взвизгнул отец и, обрушившись на ни в чём неповинную вазу, со всего размаху грохнул её об пол. Мне пришлось собирать осколки, мать же со словами: — Я этого больше не вынесу! — убежала и заперлась в гостиной. «Чего он, в конце концов, хочет? — спрашивал я себя, ползая по полу. — Дом свой, который он называет государством в миниатюре, он готов разнести в куски, и в то же время он взбешён тем, что разрешается праздновать Первое мая, хотя по-настоящему он бы должен быть за празднование». — Потому! Потому! — чеканил шаг отец, маршируя взад и вперёд по комнате, словно он хотел этим привести себя в сознание. Он делал «Равнение направо! Равнение налево!», вытягивался во фронт и рвал запертую дверь в гостиную: — Отопри! Сейчас же, слышишь? Не то...

Я наблюдал его, как он сам себя готов был растерзать, когда колотил кулаком в дверь. Оттого-то, верно, отец и затевает ссоры с матерью или придирается к Христине, что он не в ладу с самим собой. Не для того ли он кричит, чтобы перекричать какой-то голос внутри себя? Нередко, когда он говорил со мной, я понимал, что дело не во мне, что он словно убеждает в чём-то самого себя. Быть может, мы часто причиняем зло дру-

гим не потому, что они вызывают нас на это, а просто мы не можем удержать в себе того, что рвётся наружу, и передаём это дальше...

Роясь в ящиках своего стола в поисках сокрытого, я вместе с «Искусством чрево вещания» обнаружил тетрадку стихов, которую завёл в охотничьем домике. Всего несколько страниц в ней было написано. Хотя стихи показались мне теперь беспомощными и потускневшими, всё же их музыка воскресила в душе смелые надежды той поры. Они были зыбким мостом к тому, что я называл в себе «добрым началом». Перечитывая стихи и декламируя некоторые из них про себя, я открыл чистую страницу и чётким почерком написал сверху: «Ганс-счастливец». Сказка о «Гансе-счастливце» подсказала мне эту повесть в стихах, рассказывавшую о поисках счастья.

Сидя над чистой страницей, я словно глядел не на белый листок бумаги, а в чкое волшебное зеркало; его незапятнанная гладь могла отразить всё то, что меня тяготило. При взгляде на него всё беспорядочно разбросанное во мне собиралось воедино и становилось обозримо.

Перо быстро летало по бумаге, и я никак не поспевал за ним. Ганс-счастливец, сын почтенных родителей, получил «первоклассное воспитание», чтобы с его помощью обрести счастье. Счастье заключалось в том, чтобы стать полезным членом общества, иначе говоря, успешно выдержав все необходимые испытания, добиться положения важного и обеспеченного чиновника с правом на пенсию. Ганс-счастливец, однако, упрямо противился такой программе счастья. Тогда воспитатели, заботившиеся о его счастье, надели на него:—Строй своё счастье! Строй своё счастье! Не хочешь по доброй воле, заставим тебя силой.— Между тем Гансу-счастливцу казалось, что подлинное счастье совсем не там, куда вели его чиновники по ведомству счастья. Украдкой выбрался Ганс-счастливец, «дитя, рождённое в рубашке», на волю. Хранители счастья преследовали его, но он всегда умел их обойти, навести на ложный след и на своём отважном пути неизменно ускользал от губителей счастья. Тихим, певучим голосом говорило с ним счастье, в мерном парении качелей открывалось оно ему. Но необходимо было найти мерилу счастья. В поисках счастья нельзя было уповать на счастливый случай. Ганс-счастливец всё думал да гадал, где же она, тропа счастья? Искателю счастья всё ещё не было ясно, что же такое «счастье»? Он мог, правда, сказать: нет, этого счастьем назвать нельзя, или: то, что вы превозносите как счастье, сулит только несчастье; но если кто-нибудь нетерпеливо спрашивал:—Так в чём же оно, твоё расчудесное счастье?—

Ганс счастливцев толково объяснить не мог. Ганс-счастливцев имел друга, но дружба с ним была ему заказана, потому что друг этот знал, в чём истинное счастье...

Вот до этого места я и довёл свою повесть и уже собирался замысловатым росчерком вывести «продолжение следует», но тут вошёл отец, чтобы проверить, как обстоит дело с уроками на-завтра.

Было слишком очевидно, что я и не думал заниматься уроками, никакая выдумка не могла спасти положения.

Отец схватил тетрадку со стола.

— Ага... Это твои уроки!.. Нечего сказать, хорошенькие гадости! Скандал!

На «гадости» я перестал реагировать ещё с тех пор, как меня так несправедливо заподозрили в другого рода «гадостях», а выражение «хорошенькие гадости» показалось мне очень смешным, и я с любопытством наблюдал за отцом, который стал читать тетрадь, страница за страницей.

В то же время я сторожил каждое его движение, чтобы вырвать тетрадь из его рук, если он вздумает оставить её у себя.

Лицо отца помрачнело:— И откуда это у мальчишки?! — Но в этом недоуменном возгласе чувствовалось всё же и невольное уважение.

— Славная же у тебя, повидимому, компания! — произнёс отец; он всё ещё читал стихи и не дошёл до рифмованной повести.

— Мальчишка! — вырвалось у него, когда он начал повесть.

— И какой ещё мальчишка! — и он продолжал читать вполголоса.

— То ли ещё будет! — не терпелось мне его поддразнить, но как раз в том месте, где «с правом на государственное обеспечение» рифмовалось у меня «я не давал ему такого поручения», он швырнул тетрадку мне в голову, я схватил её, и между нами началась борьба. Наконец, со словами:— Паразит! Чего он только себе не позволяет! — отец вырвал у меня из рук истерзанную тетрадь. «Паразит... гм, кто это паразит?! А как назвать того, кто в заботах о паразите отсекает голову Кнейзелю... Гм...» Я молча скрежетал зубами вслед отцу. «Погоди-ка у меня: короткий век не редкость среди гор...»

Я слышал, как он в столовой читал матери отдельные места из моей сказки и, закончив чтение, сказал:

— Будь он совершеннолетним, его надо было бы посадить за решётку... Ему явно не терпится угодить в тюрьму... Ну и фруктец, ещё и стихи кропает!.. И всё это валится на меня!

— Мальчишка, что с него спрашивать, — успокаивала его мать. Потом по всему дому захлопали двери, и наступила зловещая тишина.

Я уже привык к этому дням длившемуся безмолвнo, как к своего рода осадному положению.

В этом безмолвии я занялся восстановлением первой части моей повести «Ганс-счастливец». Отныне, чтобы застраховаться от случайностей, я переписывал все свои стихи в двух экземплярах и прятал их в самые потайные уголки — точно оружие, которое прячут, чтобы однажды извлечь его для открытого боя. Но с продолжением «Ганса-счастливца» так ничего и не вышло. Хотя я и вывел на сцену вестников счастья, которые провозглашали истинное счастье и подвергались гонениям со стороны множества его фальсификаторов — полицейские арестовывали добрых вестников, прокурор наказывал их, — всё же изложить, в чём состоит истинное счастье, мне никак не удавалось, никто из вестников счастья не умел внятно рассказать об этом, все они только произносили пышные, пространные речи. Дальше поисков счастья и вопросов:— Где же счастье? Что же такое счастье?— дело не пошло. В эту страну счастья можно было отправиться на корабле под знаком счастливой звезды. Корабль, благословенный корабль увозил туда...

Но вот молчание улеглось, и отец снова отвёл разговорам со мной скромное место, и тогда, чтобы хоть сколько-нибудь вознаградить себя за пережитое, я изобрёл так называемые «мучительные вопросы». Назначение «мучительных вопросов» заключалось в том, чтобы поставить человека в неловкое положение, обнаружив его невежество в той или иной области. Я охотно спрашивал и о вещах, мне уж известных, чтобы проверить, в какой мере собеседник мой придерживается правды.

Для этого надо было самому запастись кое-какими знаниями. И тут свершилось чудо: я, так пренебрежительно относившийся раньше к чтению, стал ненасытно поглощать книги. Я до того увлёкся, что вскоре позабыл о причине, побудившей меня приняться за чтение: ведь я имел в виду только «мучительные вопросы», которые выискивал со специальной целью отомстить отцу; но теперь мною овладела такая неистовая жажда, что я едва мог утолить её, читая без разбора всё, что попадалось под руку.

Мне нравилось читать о необычайном и страшном. Я любил книгу, если в ней было много таинственного, недоговорённого, оставлявшего достаточно простора для моей фантазии. Только те книги я читал в ту пору с интересом, которые позволяли мне, переверачивая страницу за страницей, уноситься куда-то в неясные дали. Точно боясь набрести где-нибудь на Тёмное пятно, я всегда перескакивал через те страницы, где описывались реальные события, я не хотел ничего, что отрезвляло, мне нужно

было только опьянение. Тайственную и притягательную силу имела для меня одна книжка из наследства дяди Карла, которую хранила у себя бабушка. Эта книга в светложёлтом переплёте с загадочным рисунком, изображавшим чудовище, похожее на дельфина, в пасти которого нагой мальчик играл на флейте,— называлась «Но любовь», имя автора было Рихард Демель. Мне никак не удавалось стащить эту книгу, бабушка, повидимому, тщательно берегла её, и однажды книга исчезла.

Даже «книжные черви», к которым я обратился, не могли ничего сказать мне, пока, наконец, Левенштейн не разузнал, что Демель — «символист»; мне чудилось за этим словом нечто загадочное.

И вдруг я обнаружил пропавшую книгу, и на этот раз — на отцовском письменном столе. Нелегко было подобраться к ней; через замочную скважину я выследил, что отец каждый раз после чтения особым образом укладывает её на письменном столе, так, чтобы без его ведома никто не мог сдвинуть её с места. Он обводил книгу со всех сторон тонкими карандашными штрихами, сверху ставил пресс-папье, точно обозначив пунктиром его положение, в самую книгу вкладывал лист бумаги, предварительно заметив себе страницы, между которыми был вложен лист,— положение листа, в свою очередь, соответствовало строго отмеренному углу. Так и лежала бы книга на письменном столе вроде приманки, которая, несомненно, завлекла бы меня в западню, не подсмотри я случайно, как отец расставляет эту западню.

Родители как-то ушли из дому.

И вот она передо мной, желанная книга, скованная кругом так, что, казалось, никакими силами не сдвинуть её с места. Только зарисовав положение книги, чтобы потом снова его воспроизвести, я отважился притронуться к ней и раскрыть её.

Чудесным, неслыханным пахнуло на меня с её страниц. Чем туманнее, непонятнее звучали стихи, тем больше сокровенного смысла я искал в них. В ту пору сущность поэзии я видел в том, чтобы затемнять ясное и светлое, затушёвывать и стирать контуры чёткого и очевидного, подменять расплывчатым устойчивое. В этой книге я нашёл неожиданное утверждение собственной сумбурности, жизнь явилась мне как извечный хаос, как безоглядное скитание от одного ничто к другому. За видимой причиной скрывалась другая, цепь причин уводила в бездонное, а в бездне притаилась страшная истина.

Когда же на страницах книги забушевала «Песнь к моему сыну», мне показалось, что автор рассказывает мою собственную судьбу и издали шлёт мне совет:

Когда отец на склоне дней  
Твердит о долге сыновей,  
Не слушай, сын мой, будь умней!

Я сразу почувствовал себя созревшим и достаточно крепким, чтобы вступить в бой с отцом, с государством, которое ежедневно садилось со мной за стол,— и, положив книгу обратно в очерченную для неё рамку, высоко подняв голову, я зашагал по комнатам. В гостиной перед портретом матери на мольберте, я остановился и продекламировал:

Не изменяй себе, не изменяй!

— Скажи, пожалуйста, отец,— простодушно спросил я за обедом,— кто открыл витамины?— И ещё:— Кто впервые использовал машину высокой частоты для непосредственного получения электрических волн?

— За обедом не разговаривают.

— Но мне необходимо это знать. И ещё вот,— что такое психоанализ? Потом объясни мне, пожалуйста, что это за комета Галея?

Отец мрачно и сосредоточенно молчал. Но как только он покончил со сладким, я снова приступил к допросу:

— А какое значение имеет преломление рентгеновских лучей, и что такое «оптофон Фурнье»? Потом, пожалуйста, расскажи мне толком об «эколоте» фон Бема.

— Послушай,— не удержался отец,— что это на тебя опять нашло, почему ты интересуешься только такими вопросами которые не имеют никакого отношения к твоим школьным занятиям! Кто тебе вбивает это в голову? Что за невоспитанность!

— Ему просто интересно,— сочувственно заметила мать.

— Так почему же его интересуют только такие вещи, которые заведомо не имеют к нему никакого отношения! Оставьте меня в покое, вы оба!

«Вы оба!» — Я торжественно посмотрел на мать.

«Не изменяй себе, не изменяй!» О, если бы я мог взять её за руку и вместе с ней покинуть отца!..

Отец согласился, наконец, сыграть со мной в шахматы. Я достал из книжного шкафа шахматную доску и торжественно развернул её перед ним. Высыпал на стол все фигуры, некоторые были с отбитыми головками. Отец сидел, ничего не подозревая, мы бросили жребий, и я устроил так, чтобы отцу достались чёрные.

— На что играем?— любезно спросил я деланным тоном.

... На первенство.

Я пошёл на кухню, вымыл руки и пригладил волосы.

Тебе начинать! — В голосе отца чувствовалась уверенность.

Я заучил наизусть исключительно редкий дебют «Дюфрен», и мне удалось вовлечь в этот дебют отца. Он сразу же потерял две пешки.

Отец начал проверять, не произошло ли какой-нибудь ошибки в расстановке фигур. Оказалось, что все фигуры на месте.

— Непостижимо!

Брать ходы обратно не полагается, отец, а вот ты тронул коня и, значит, должен пойти с него.

В дальнейшем, при обмене фигурами, я выиграл слона.

— Ну, это не игра! — начал было отец.

— Конечно, не игра! — поддержала его мать, которая сидела тут же со своими спицами и заставляла меня объяснять ей ходы.

— Как не игра?! Игра, как игра! — Я старался говорить сдержанно, чтобы преждевременно не выдать своего торжества.

Спицы матери лежали тут же на столе, спицы тоже следили за игрой.

— Твои дела совсем не так плохи, ты ещё можешь выиграть, — подбодрял я отца, опасаясь, как бы он не прервал партию.

Я видел, что отцу не по себе, мать спросила: — У тебя болит голова? — и он раздражённо ответил: — Ах, оставь, не мешай мне! — Он шнырял глазами по доске и по фигурам в поисках спасительного хода. — М-да, м-да, неважно, очень неважно, — мычал он, подпирая голову рукой, словно у него начиналось головокружение, как тогда, при восхождении на гору. Так вот оно что! Сам отец стал втупик, втупик стало государство, государственный отец. Бывает, значит, что и он, важный государственный чиновник с правом на пенсию, не знает, как ему дальше быть... Ожидание бесспорной победы веселило меня, обиды и горечь против отца улеглись, смягчённые близостью благоприятной развязки. Я намеренно затягивал её и ещё некоторое время гонял взад и вперёд по полю его беззащитного короля.

Дверь в гостиную была открыта. Портрет матери, стоявший на мольберте, тоже мог участвовать в игре. Отец сидел у стола неподвижно, точно под стеклом.

— Да не тяни, кончай уже! — заставил я его попросить и, захватив кончиками пальцев слона, двинул его наискосок и мягко остановил на одной из чёрных клеток.

— Мат!..

— Теперь мне многое понятно! — сказала мама, последовавшая за мной в мою комнату. — И та давнишняя история с топором... Этому уже столько лет, что ты спокойно мог бы мне во всём признаться.

— История с топором? Право же, мама, я ровно ничего не помню!

— Разве не ты положил или, вернее, оставил однажды топор у дверей спальни — тебе тогда едва минуло шесть лет...

Я действительно позабыл её, эту давнишнюю историю с топором, случившуюся однажды ночью, когда отец неожиданно вернулся из Берлина и мне пришлось освободить его кровать, которая стояла рядом с материнской и на которой мне разрешалось спать в его отсутствие. Я на цыпочках пробрался в кухню, чтобы достать топор. Он был такой тяжёлый, что, даже обхватив его обеими ручонками, я едва мог поднять его. Но что я собирался делать с топором под дверью родительской спальни?! Заглянув в замочную скважину, я увидел, что отец склонился над матерью, точно собирался задушить её, мать же улыбалась, улыбалась в неверном сиянии свечи! А на груди матери, выбросившей меня из кровати и взявшей к себе отца, узкой преградой лежала её обнажённая белая рука. Эта рука, только эта рука была тем, что заставило меня отпрянуть. Эту, эту самую руку мне пришлось бы прежде всего убрать. Тут до меня донеслось похрапывание Христины, я забыл о топоре и обратился в бегство. Всю ночь топор пролежал в коридоре у порога спальни... И письма отца к матери, которые он писал тогда из Берлина, я перехватывал; я на улице караулил почтальона, чтобы спросить: «Нет ли чего для Гастлей», и если было письмо, рвал его на мелкие кусочки и целыми днями носил при себе обрывки, пока не выбрасывал их в мусорное ведро. И письма матери к отцу, которые я брался опускать в почтовый ящик, я тоже рвал на мелкие кусочки, а потом уж разыгралась эта история с топором... Отец учинил следствие, Христина должна была давать показания, отец подверг её перекрестному допросу, были обследованы окна и двери, чтобы выяснить, не побывали ли у нас воры, — и вот, спустя столько лет, мать спохватилась: — Теперь мне многое понятно!..

— Нет, мама, я серьёзно не знаю, о чём ты говоришь. Что это была тогда за история с топором?

— Ну, что ж, тем лучше, если не знаешь. Это я так. Мне что-то померещилось, когда вы играли в шахматы...

Она обвила мою шею рукой.

Мать улыбалась, стоя в полосе света.

Бабушка умирала.

Она лежала в мягком облаке подушек. Лицо её покраснело и вздулось, изо рта вырывалось горячее, прерывистое дыхание. На этом трудном пути она уже не могла присесть на скамеечку и отдохнуть, смерть не давала ей передышки; задыхаясь, бабушка уходила от нас всё выше и выше, точно смерть была где-то высоко, на вершине, откуда открывались широкие просторы.

Жужжала муха. И казалось, что жужжание это исходит от бабушки.

Трудно было думать о том, что бабушка умирает, когда в комнате витала Аста Нильсен. С тех пор, как я увидел Асту Нильсен в кинематографе на Дахауэрштрассе, она всегда витала передо мной. Мерцающий экран становился нездешним миром: покойная Дузель, успевшая стать взрослой, сидела за столом и, играя глазами, грациозно вкушала всякие райские яства. Выйдя из-за стола, она не касалась пола ногами, а парила в воздухе. Её звали теперь Аста Нильсен; не странно ли, на мой вопрос Феку:— Скажи, ты ещё вспоминаешь когда-нибудь о Дузель?— он ответил:— Да, когда я смотрю на Асту Нильсен, я невольно вспоминаю Дузель.

Аста Нильсен парила здесь, и это делало смерть лёгкой, в её присутствии смерть становилась своего рода воспарением.

Старинный шкафчик стоял в углу, теперь уже безопасный, запертый, утративший свою притягательную силу. Вся комната готовилась к смерти бабушки: ждали соломенные плетёные стулья, уставившись на бабушку множеством испуганных, любопытных глазок, и спинки их тянулись вверх так, что совсем похудели; ждал стол, заваленный салфетками, заставленный мисочками и пузырьками из-под лекарств; ждала лампа, уныло и боязливо мигавшая.

Бабушка умирала во всём, весь дом заполонила бабушкина кончища.

Отец, мать, дядя Оскар, тётя Амели — все нерешительно и растерянно слонялись по комнате, все просили друг друга отойти, не мешать, все путались под ногами друг у друга.

Бабушка лежала лицом к стене. Одной рукой она водила вверх и вниз по стене, точно рисовала что-то, — уж не последнюю ли свою картину? Мне хотелось подслушать смерть, но мать и тётка Амели всхлипывали и сморкались, и это всхлипывание и сморканье пронизывало тишину.

Так же как и фрейлейн Лаутензак, бабушка умирала одна,

хотя в её комнате собралась вся семья. Каждому хотелось ускорить конец, чтобы открыть окна и убраться подальше. Все бежали от смерти, и я тоже бежал что было сил; я мчался мысленно на самый край света, но смерть бежала за мной по пятам и нагоняла меня. Опять я умирал, умирал с бабушкой вместе.

— Пожми на прощанье бабушке руку. В последний раз!

Отец подвёл меня к кровати, я шёл на цыпочках.

Сдавленное хрипение несло из глубины подушек. Одеяло вздымалось и опускалось при каждом вздохе. У меня было ощущение, что всё вздымается и опускается вместе с одеялом, что всё, хрипя и сипя, начинает качаться. Взъерощенное лежало на кровати одеяло — под ним неистовствовала смерть. Я осторожно дотронулся до бабушкиной руки, которая лежала на одеяле, словно её тут бросили. Бабушка смотрела на меня одним полуоткрытым глазом, и этот слепой, мерцающий взгляд так испугал меня, что я быстро, не спросив у родителей, убежал в кухню.

В тёмном коридоре бабушка как будто пела мне вслед дрожащим голосом: «Гансик-крошка вышел на дорожку и понёс шагать по белу свету». Потом меня обступила тишина, стало вдруг тихо, как в могиле.

В кухне всё было прибрано: кастрюля, в которой бабушка варила шоколад, блестела, как новая, и пахла порошком для чистки посуды.

Убегая подальше от слепого, мерцающего взгляда, я высунулся из окна: словно иллюминация, зажжённая в честь умирающей бабушки, горели сегодня фонари. Раньше мы часто с бабушкой сидели вдвоём у окна, глядя на улицу в час, когда фонарщик переходил от фонаря к фонарю со своим длинным шестом. Я подвигался в сторонку, чтобы дать бабушке место на подоконнике. Только маленькой бархатной подушечки не было, которую бабушка подкладывала себе под локти, когда высовывалась из окна.

В кухню вошла мать, она склонила голову набок и, всхлипнув, сказала:

— Иди, одевайся, мы собираемся домой... Бабушка мирно уснула.

— Мирно уснула... — повторил отец, и в голосе его прозвучало такое явное удовлетворение, как будто и смерть, благодаря его указаниям, протекала в полном порядке.

Они уже опять обманывают себя; мне стало тошно, — какие могут быть разговоры о мирном сне, разве с таким слепым мерцающим глазом можно уснуть мирно? Этот «мирный сон» нужен им для того, чтобы отвязаться от смерти.

Было приятно верить в загробный мир, от этого жить становилось уютнее. Я тоже верил в непреходящую жизнь. В каждом заложена эта потребность длиться бесконечно, а по возможности, и в улучшенном, более совершенном воплощении, и вот эту насущную потребность и удовлетворяет вера в загробную жизнь. Слепой, мерцающий взгляд моей бабушки, которым она прощалась со мной, убил во мне такую надежду. Всё это обман, сплошной обман. На него идёшь, потому что надо же как-нибудь примириться со своим рождением на свет. Обман может быть неуклюж или же искусен, обман может быть безобразен и туп или же, наоборот, утончённо прекрасен,— не в этом дело, цель у него всегда одна: обманом увести человека от жизни. Ибо одного никто из нас не в силах снести — это постоянного напоминания о том, что когда-нибудь всему этому будет положен неизбежный конец. Тут уж хочешь — не хочешь, а приходится обзавестись каким-нибудь обманом и уйти с головой в деловитую суету, ибо она даёт забвение. Разве во время моего идиотского увлечения плаваньем я не забыл обо всём на свете? А ведь это был глупейший обман, на который я ухлопал часть своей жизни. И разве с фрейлейн Клерхен я не забывал всё на свете? — прекрасный любовный обман. Человек, — думал я, — истинно велик в своей способности изобретать всяческие полезные ему обманы. И пусть эти обманы сериями изготавлиются для него на фабриках обмана, ему не тошно, нет, наоборот, только обманом он сохраняет себе жизнь. Каждый человек, как бы он ни был глуп, гениальный обманщик.

Смерть человека так поглощает внимание живых всевозможными хлопотами, что этим живым уже не до горестных размышлений об умершем.

Прежде всего надо было оповестить всевозможные официальные инстанции, затем дать траурное объявление в газеты и распорядиться насчёт похорои. Далее предстояло вскрытие завещания, обязательно в присутствии нотариуса. Заказать гроб взял на себя дядя Оскар, насчёт венков и цветов обещала позаботиться тётя Амели, надписи на лентах вызвался составить отец.

— Какой гроб выбрать, ведь есть гробы на разную цену? — деловито осведомился дядя Оскар.

— Гроб в умеренную цену будет самым уместным в данном случае, — решил отец.

— Женщина, что обряжает покойницу, спрашивает, какое платье надеть... — дожидалась своей очереди Христина.

— Я думаю, чёрное шёлковое, это было её любимое платье, да оно больше всего и подходит, — рассудила мать и крикнула

вдогонку Христине:— Христина, достаньте сюртук барина! Мы с фрау гофрат едем в город за траурной шляпой. Я привезу креп для мужа и сына, и ты нашёшь его, но только помни — на левый рукав, чуть повыше локтя, да, но прежде всего, Христина, не забудь отдать моё старое коричневое платье в краску, траурные вещи красят срочно, в двадцать четыре часа.

— Ну, а как траурное извещение? В порядке? Чего же ещё нехватает? Вот, послушайте ещё раз: «Вместо особого извещения. Сегодня вечером, после продолжительной тяжёлой болезни мирно опочила в бозе наша дорогая мать, бабушка и тёща Генриетта Бюрк, урождённая Эйзенлор, вдова аптекаря из Дурлаха...»

Отец нетерпеливо постукивал ручкой.

Дядя Оскар, подумав:— После продолжительной, безропотно перенесённой болезни...

Мать:— Наша горячо любимая мать...

Тётя Амели:— Почтительнейшая просьба воздержаться от изъятий соболезнования и от венков...

— Ну вот, опять придётся заново переписывать! — и отец сердито положил перед собой листок чистой бумаги. — Но больше — никаких поправок!

— А как же страховой полис? — Дядя Оскар задержался на пороге, он хотел предварительно забежать к нотариусу.

— Совершенно верно, — сказал отец и достал из ящика какую-то бумагу.

— Цветы принесли, — доложила Христина, появившись в дверях. — Платить сейчас будете?

— Конечно, сейчас! — укоризненно сказала мать.

— Какие-то они не очень свежие на вид, — заявила тётя Амели, вернувшись из передней. — Жаль, что мы не взяли побольше красных роз.

Раздался звонок.

— Господин обер-пострат Нейберт.

— Проводите его в гостиную, Христина.

Звонок.

— Господин майор Боннэ прислал сказать, что его сегодня задержало дежурство, он зайдёт завтра, чтобы выразить соболезнование.

— Ладно уж! — отец стал подталкивать дядю Оскара к выходной двери. — Не позже чем через час мы вернёмся, мы идём к нотариусу, затем я сдам объявление; возможно, что в завещании покойной какие-нибудь особые посмертные распоряжения... Кстати... в церковный приход уже заявлено?

Что осталось после бабушки?

— Удовольствие, нечего сказать! — произнесла мать, растерянно

оглядывая царивший в комнате беспорядок, между тем как Христина расставляла по местам стулья. Обер-пострат Нейберт сидел, забытый, в гостиной; чтобы напомнить о себе, он несколько раз громко кашлянул.

— Выйди к нему! — приказала мне мать. — Я себя плохо чувствую.

— Что мне делать с этой вонючкой?

— И не стыдно тебе? Разве ты не видишь, сколько у всех хлопот с бабушкой?!

### XXXVI

— Просто голова кругом идёт, — и мать рванула гардины так, что они затрещали. — Куда только эти мужчины запропали, ведь не могут же они столько времени торчать у нотариуса, не понимаю. Христина, ты отдала в краску платье?

— Завтра вечером ваша милость получит его.

— Ведь окраска траурных туалетов производится срочно. Не понимаю. Сколько хлопот!

Не снимая шляп и пальто, вошли отец и дядя Оскар.

— Христина, скорей подавай на стол! Что вы так долго делали у нотариуса? Не понимаю... Что ж это, вы как будто и не собираетесь снимать пальто?

Мать с укоризненным видом накрывала на стол.

— Какая уж тут еда, да и нельзя терять ни минуты, — сказал отец и присел в пальто к письменному столу.

— Что такое, ради бога?!

Мать вытолкала меня из комнаты.

Отец хлопнул по столу новым котелком.

— Твоя мать, да, твоя мать соизволила сделать посмертное распоряжение, — тут отец швырнул свою шляпу на стол так, что она покатилась, — чтобы труп её был сожжён и пепел развеян по ветру!..

— Не может быть! Не понимаю! — воскликнула мать и, опираясь на тётю Амели, дала отвести себя на диван.

— От земли взят и в землю возвратится, — пробормотала Христина. — Разве можно, ваша милость, итти против евангелия?

Мать и тётя Амели дружно всхлипывали на диване.

Отец схватил помятую шляпу и расправил её.

— Теперь ещё вы начните, Христина, и без того ад кромешный.

Я между тем старался припомнить всё, что знал о сожжении: во всей Южной Германии существует один-единственный крематорий — в Ульме, сожжение считается «вольнодумством». Кремацию ввели социал-демократы. Государство и, в особенности, церковь всячески затрудняют кремацию, и только в самых исключи-

тельных случаях представителям церкви разрешается участвовать в церемонии сожжения... В древности сожжение считалось благородным и почётным, в средние же века — см. «Костры».

— Придётся всё менять, — сказал отец, снимая пальто. — Итак: не погребение, а кремация, и не в Мюнхене, а в Ульме. У нотариуса мы уже связались с кремационным бюро... Вот и новый текст извещения... завтра газета разгласит этот позор на весь мир...

\* \* \*

Своей последней волей бабушка как бы объявила себя на стороне таких людей, как Гартингер. И вот, задним числом, я стал припоминать некоторые бабушкины замечания, в которых я видел теперь доказательство её сочувствия крамольным идеям.

Не кто иной как бабушка в ту новогоднюю ночь, в канун рождения нового века, заговорила о новой жизни. Когда она распекала меня за дружбу с Гартингером, она твердила: «Пока откажись от этих опасных встреч! Ещё успеешь!» Я тогда не обратил внимания на эти «пока» и «ещё», но, повидимому, дело именно в них и было, — это открылось мне из последней бабушкиной воли.

Теперь из-за гроба она открыла мне свои истинные мысли.

Среди бабушкиных рассказов, которые я перебирал в памяти, открывая теперь в них совершенно новый смысл, я припомнил и следующий.

Дедушка, портрет которого висел над комодом, совсем молодым человеком отправился в Италию в надежде стать художником. Он хотел писать прекрасное. Он искал прекрасное. Он находил его в твореньях старых мастеров, и он находил прекрасное в природе. В строгом единстве плана грандиозных соборов и многосложности их строения, в стройных рядах колонн и скрещении сводов, в вольной развёрнутости пространства чудился ему прообраз нового мира, населённого прекрасными изваяниями и картинами, среди которых в грядущий день творенья родится совершенный человек и красотой своей жизни затмит красоту искусства. Но чем ревностней молодой художник искал прекрасное, — он и сам стремился стать совершенным человеком, — тем уродливее должна была представляться ему жизнь, которая беспощадно тянула его вниз с высот его грёз о прекрасном и не только искажала прекрасное, но и презирала и отрицала его. Чтобы прекрасное восторжествовало в мире, молодой художник в прекрасной Италии писал, как сказала бабушка, картины, в которых совсем не было прекрасного, и картины эти вызвали такое осуждение, что художник пал духом и вскоре, затаив горечь, бросил живопись...

Картины, развешанные в бабушкиной комнате, все эти много-

численные копны старых мастеров, предсказывали мне сиянием красок то дивное царство, тот земной рай, который на языке Гартингера назывался «государством будущего».

\* \* \*

Вместе с отцом, матерью и дядей Оскаром я отправился в Ульм на кремацию. Гроб с останками бабушки следовал в багажном вагоне.

Мы ехали в сторону Нердлингена, и издалека на нас надвигался ослепленный солнцем лес. Отец ездил принципиально только третьим классом, потому что нужно жить по средствам, и об этом не раз говорилось в семействе, дядя же Оскар выбрасывал кучу денег на проезд во втором классе. Мать вмешалась в разговор, сказав, что бабушка тоже никогда не разрешала себе роскоши ездить вторым классом. Отец сердито заметил, что бабушка поступала так совсем по другим мотивам, что же до него лично, то его, с одной стороны, не интересуют, как дядю Оскара, аристократические знакомства, которые можно завязать в пути, а с другой — он не чувствует себя хорошо, как бабушка, среди так называемых простых людей. — Тогда почему уж не ездить первым классом или экстренным поездом? — Он, как уже сказано, ездит только третьим классом, он уже пояснил почему — «потому!» Наступило молчание, так как дядя Оскар предложил пойти в вагон-ресторан. Отец кивнул на рюкзак, который дома навьючили мне на спину. — Мы захватили с собой достаточно еды... — Мать укоризненно посмотрела на расточительного дядю Оскара: — Всё только лишние расходы.

Бабушка лежала в открытом гробу над трапом.

Мы поодиночке обходили вокруг гроба. По выражению лица и жестам я старался угадать, о чём думают отец и мать.

Отец прощался с бабушкой: «Это распоряжение насчёт кремации совершенно лишняя затея».

Мать: «Надо же считаться с людьми, я еще долго буду расплачиваться за это».

Оба упрека угодили покойнице в закрытые глаза, которые таили слепой, мерцающий взгляд.

Я теребил фуражку.

Чуть ли не полдня пришлось отцу провозиться, пока он нашёл священника. Только из уважения к отцу и занимаемому им положению церковные власти разрешили, чтобы священник произнёс надгробное слово.

Отец наспех сообщил пастору кое-какие данные из бабушкиной биографии.

В результате пастору удалось набросать такой портрет бабушки, который ни в чём не походил на оригинал.

Если верить этому священнику, то бабушка была пангерманкой, мыслившей строго консервативно, и притом верной дочерью церкви (на самом деле бабушка терпеть не могла пангерманцев и в церковь никогда не ходила!), которая только того и желала, чтобы воспитать в таком же духе своих детей и внуков... И отец, пока на гроб возлагался этот венок из казённой лжи, кивал с довольным видом.

Медленно опускался гроб в раствор пола, под звуки органа, исполнявшего хорал:

Когда и смерть и мука  
Придут на склоне дня,  
Когда придёт разлука,  
Не покидай меня.  
Когда я в страхе буду  
Таком, как никогда,  
Возьми меня отсюда  
И защити тогда!

Мне казалось, словно это бабушка говорит со мной голосом органа, и её голос наполнил собой всё вокруг, разрастаясь в мощную бурю звуков.

Органная буря утихала. Вот она сменилась тихими аккордами. Я увидел, как над клавишами заскользили руки. Бабушка в последний раз играла на рояле...

Пока пастор сплетал новый венок лжи, стараясь доказать, что последняя воля бабушки должна быть отнесена за счёт её долгой, изнуряющей дух болезни,— в действительности же бабушка составила своё завещание за много лет до смерти! — я, уставившись на свои сложенные руки, произносил про себя другую речь, в надежде, что она как-нибудь дойдёт до слуха бабушки, хотя ещё за день до того я объявил обманом всякие рассказы о загробной жизни и о бессмертии.

«Ты варила шоколад, а я тем временем обкрадывал тебя,— прости меня за это. Я нарисовал для тебя картину «Радость», но могла ли она тебе доставить радость, раз всё, что есть радостного, я испортил войной?— прости меня и за это. В новогоднюю ночь ты сказала на балконе: «Пусть наступит новая жизнь». Я хочу стать хорошим человеком, и новая жизнь наступит непременно: я обещаю тебе. Только теперь, после твоей смерти, мы можем поговорить и всё сказать друг другу. Точно так же как дедушка перестал писать картины, ты молчала, на всё кивала головой «да, да», а в душе была «против». Вот и мать, та, что на мольберте, совсем не похожа на ту, с вязальными спицами.

Но даже та, со спицами, часто ещё бывает «против»... Кто, в сущности, против? Да почти все. А кто за? Опять-таки почти все. И это потому, что их «за» стоит их «против». Собственно, за что же они? И против чего? Против того, что кругом ложь, а избавления не видно... А за что? За то, чтобы наступила новая жизнь... Ну нет, я не хочу быть таким, так жить я не хочу... Я хочу сказать правду не в своей посмертной воле, а сейчас, и сказать её во весь голос, как бы мне это ни было трудно. Новая жизнь наступит непременно, пусть только каждый громко скажет то, что говорит его внутренний голос... Почему это так! Нет ни одного человека, который был бы тем, за кого он себя выдаёт. Все навели на себя мишурный глянec, и получается не жизнь, а мишура. А с годами люди обрастают корой, под которой гложет всякое стремление к лучшему. Разве нельзя быть стойким? Гартингер держался стойко. Я же сразу сказал неправду, как только директор Ферч начал меня «подтягивать»... Я — это не один и не два, а целая куча людей. Которым же из них я стану? И могу ли я, — который же из всех этих «я»? — изменить это в ту или другую сторону? Кто же так расчленил меня? Неужели я никогда не буду настоящим человеком? Нет, нет и ещё раз нет, я не хочу всю жизнь стоять навытяжку перед ложью... Неужели есть только три выхода: стоять навытяжку, сойти с ума или же Гроссгесселоэский мост?! Безнадёжная неразбериха... Неужели нет такого моста, который уводил бы от бездны?! Зажить по-новому! Да, зажить по-новому! Но как это сделать? Как это сделать!..

Служитель подал знак: Исчезни! Бабушка, исчезни! Раствор в полу раскрылся. Гроб ушёл вниз.

— Идём, мальчуган, идём! — оттащил мальчугана от родителей дядя Оскар и пошёл с ним вниз по ступенькам прямо к толстому огнеупорному стеклу. Мальчуган невольно вцепился в руку дяди. — Ад! — бормотал он, глядя на огненную смерть, терзавшую его бабушку. В мгновение ока гроб лопнул. Столб пламени охватил тело, заключив его в бушующее море огня. Словно ожив на миг, тело пыталось противиться, но неистовый жар согнул и распрямил его, он вертел его во все стороны на горящих угольях. — Ну, как? — Дядя Оскар ждал одобрительного отклика, словно адский огонь был делом его рук. Точно пламя охватило и его, понёсся мальчуган по лесенке к родителям, и они со словами: — Уму непостижимо! — не дожидаясь дяди Оскара, покинули похоронный зал.

Когда мы вышли на улицу, над трубой крематория вилось нежное, лёгкое облачко дыма.

Я напряжённо всматривался в даль, где в заходящем солнце стоял осиянный лес...

Дядя опоздал к поезду.— Уверю тебя,— возразил отец, когда мать забеспокоилась по поводу дяди Оскара,— он намеренно опоздал, он хочет вернуться во втором классе. Да ещё курьерским.

Мать очень скоро уснула, прижавшись к отцу. Во сне она взяла его за руку и прошептала:— Ах, Генрих, Генрих! — Потом мать проснулась, и отец уснул, прижавшись к ней. Мать взяла его руку в свои, тогда и он проговорил со сна:— Бетти! Бетти!

Колёса швыряли меня из стороны в сторону, я подскакивал, не в силах усидеть, они словно спрашивали меня:— Что за бес в тебя вселился? Что за бес в тебя вселился?— О,— глухо стучали колёса,— такой, как этот, и вдруг захотел новой жизни!— Фу!— злился пар и шипел мне в уши свои проклятья.— Так, так, раньше мы, железная дорога, были для него игрушкой, теперь он для нас игрушка,— налетали один на другой буфера, точно решив раздавить мне грудную клетку. Звеня, кричали рельсы:— Он опять дал клятву!— Гайки на рельсах хихикали, я испугался, что они выйдут из гнёзд и поезд покатится с Гроссгеселозского моста в пропасть. Я обеими руками держался за сидение. Поезд, рассуждая обо мне, проделывал самые невероятные скачки вверх и вниз, а какое-то расстояние пролетел прямо по воздуху. С лязгом снова стучался о рельсы, а на стрелке опять сходил с рельс и нёсся по скользкой ледяной поверхности. Он раскачивался, как дьявольская карусель на ярмарке, и вертелся, как волчок, а потом опять с треском ввинчивался в рельсы. Этот ужасный поезд издевался надо мной, как только мог, и свистел, подвывая от радости, что нагнал на меня такого страху. Дым налетал на меня ураганом сажи:— Это за то, что ты плевал Гартингеру в лицо.— Я тёр глаза, но от жгучей угольной пыли я совсем ослеп.— За то, за то, за то! — пронзительно орал поезд и перечислял все мои скверные поступки. Опять скрежетали буфера, точно готовились размолоть меня.— Добрые намерения! Добрые намерения! Знаем мы! Знаем мы! Нам известны твои позорные проделки! Трус! Трус! Трус! — скрежетали тормоза, и вагоны, налетая один на другой, швыряли меня из купе в купе через весь поезд, так что все пассажиры увидели меня.— Выбросить его! Выбросить! — возмущённо закричали они, как только меня увидели.— Из-за такого молодца всем нам придётся плохо. Он весь поезд свёл с ума своими сумасшедшими выходками. Проводник! — Судорожно глотая воздух, распахнулись двери вагонов и вытолкнули меня вон, «гм-гм-гм-гм»

тарактели теперь колёса, и «хе-хе-хе-хе-хе» кромсали и резали они меня, пролетая по мне, потому что я лежал поперёк рельс... Потом поезд побежал беззвучно, воспарив над рельсами. Искры сыпались сквозь ночь, отец и мать крепко спали. Мне захотелось пить, меня мучила страшная жажда от адского огня, который я увидел сквозь огнеупорное стекло; я пошёл туда, где стоял ослепительный лес, и приблизился к охотничьему домику. Но над входом в охотничий домик висела вывеска: «У весёлого гуляки». За большим круглым деревянным столом сидел сам хозяин трактира и бабушка. Лица у обоих пылали огнём. Трактирщик поднёс бабушке кубок, потому что и её томила жажда, в горле у неё совершенно пересохло, до того, что она не в силах была слова сказать, когда я вошёл. Трактирщик пил, бабушка плала...

— Пить! Пить! — молил я. Мать проглотила и налила мне немножко лимонаду в бумажный стаканчик. Когда я попросил ещё, она удивилась: — Мы, кажется, ничего острого не ели. Не понимаю, с чего это у тебя такая жажда.

### XXXVII

Я охотно уклонился бы от встречи с Гартингером, но он уже пересекал улицу и шёл прямо на меня. Вот он идёт мне навстречу. «Француз?» Но для этого он слишком возмужал, слишком вытянулся и носит длинные брюки, и походка у него какая-то неуклюжая, точно он ещё не научился владеть своими длинными ногами и руками. В те немногие секунды, которые ещё отделяли меня от него, я с недоумением подумал, как это произошло, что мы так долго не видались с ним... А может быть, каким-то чудом он знает всё, что произошло со мной за это время. Где-то он был?!

Я невольно, точно задыхаясь, раскрыл рот и потёр себе лоб. Напротив находилось садоводство Бухнера, оттуда таранилась на меня пещера. Нет, я не мог теперь отмахнуться от неё; из широко раскрытых ворот выезжал фургон с таким скрипом, что садоводства нельзя было не заметить. Мелкими шажками, как в ту пору, подвигался я вперёд, а Гартингер уже издали крикнул мне: — Здравствуй! — Если бы время могло начать свой бег снова, с той минуты, как началась наша ссора... я мысленно желал бы себе: всё сначала, и по-новому, совсем по-новому! Я всё ещё задыхался, рот у меня был раскрыт, лоб горел.

Гартингер не переставал улыбаться. Чтобы придать себе духу, я вспомнил, что он учится на слесаря.

Нерешительно шёл я навстречу его улыбке.

Откуда эта улыбка? Может быть, издалёка, из того будущего, где уже наступила новая жизнь? Я тут же решил, что расскажу Гартингеру о последней воле бабушки и попрошу обстоятельно разъяснить мне, что это за «новая жизнь», вокруг которой столько разговоров. Я попрошу его порекомендовать мне какую-нибудь книжку — о государстве будущего, наверное, что-нибудь написано.

Но улыбка Гартингера угасала по мере того, как он приближался, и он еле-еле протянул мне руку, которой только что приветливо махал. Первая радость встречи уступила, повидимому, место каким-то неприятным воспоминаниям. Когда мы сошлись, он смерил меня подозрительным и враждебным взглядом. Видно было, что он уже раскаивается в своей приветливой улыбке. Я стиснул губы, словно подавляя зевок.

В ту пору мне часто случалось сказать такое, чему я и сам не верил, единственно для того, чтобы вызвать на спор других и, таким образом, лишший раз укрепиться в своих взглядах. Я и в душе вёл такие споры и то рвал и метал против себя в роли отца, то пикировался с собой в роли Фрейшлага и Фека; во мне сталкивались самые противоречивые мнения и взгляды, так что было бы трудно решить, кто же в конце концов прав.

Мне хотелось сказать Гартингеру: «Тебе не к чему раскаиваться, я ведь стал совсем другим», но я сразу же вспомнил, что это же самое сказал мне однажды Фек. А Гартингер сразу же набросился на меня.

— Если вы так и будете продолжать своё, добром это не кончится!

«Ты совершенно прав», — следовало бы мне ответить, так как я был такого же мнения. Я мог бы даже прибавить: «А что касается меня, то я постараюсь не участвовать в этом больше и стать хорошим человеком, ведь ты мне поможешь. Я дурно поступал с тобой, прости, Францль!»

Но меня уязвило это «вы», Гартингер валил меня в одну кучу с Фекком, Фрейшлагом, а может быть, и с отцом, между тем как я немало гордился, что кое в чём разошёлся с ними во мнениях. Разве не возмутительно со стороны этого подмастерья броситься ко мне через улицу и, даже не попытавшись узнать, что я собой теперь представляю, так обрушиться на меня!

Задирать нос или читать проповеди — это, если на то пошло, мы и сами умеем, так что, пожалуйста, не воображай, что вся правда у тебя в кармане.

И я решил козырнуть своими необыкновенными, припасёнными для отца познаниями.

— Знал бы ты, какие я изучаю предметы! Ну-ка, скажи, много ты за всю свою жизнь слышал про «диатермию», или же про «ессе homo». Ну, ясно, в этом ты ни бельмеса не смыслишь. А что такое «паранойя» или «кристаллообразование», а? Эх, ты, бахвал, всезнайка ты!

Нельзя сказать, чтобы мой научный багаж ошеломил Гартингера, скорее его позабавило то, как я старался правильно произнести такие слова, как «диатермия», «ессе homo» и «паранойя».

— Нисколько я не испугался этого твоего «кристаллообразования»; подумаешь, зазубрил несколько фраз и строит из себя учёного; на такую учёность я плевать хотел, эх, ты, простофиля. А я тебе ещё раз говорю, что добром это не кончится, если вы так и будете продолжать. Вот что я сказал. И остаюсь при этом. И так оно и будет.

Я чувствовал желание за «простофилю» съездить его разок по физиономии, потому что я не находил спокойного и разумного ответа, а у меня уже вошло в обыкновение пускать в ход кулаки там, где я не мог обойтись словами. Но я быстро сунул руку в карман поглубже, точно для того, чтобы связать её. Начал шарить в кармане, как будто позванивал там монетами.

— Что ж, чем хуже, тем лучше!

Я раздражённо бросил ему эту дурацкую поговорку.

Правда, я тут же смущённо заулыбался, но слово уже вырвалось.

— До чего ты напыщенно, загадочно выражаешься!

Гартингер вызывал меня на крайности, а я этого вовсе не хотел. Ведь меня тянуло к нему, да так, чтобы никогда уже с ним не расставаться.

«Не думай, что я это серьёзно, не верь ты моей болтовне! — хотелось мне подсказать ему. — Встреча с тобой смутила меня, и я несую сплошной вздор».

Но у меня уже вырвалось:

— Вот бы нам войну хорошенькую, а то слишком уж всё протухло.

Этот произвольный возглас снова раскрыл мне самого себя. С ужасом прислушался я к тому, что происходило во мне, какие тайные желания бурлили в моей душе! Меня прямо скрючило — так больно мне стало, что я брякнул такое.

Какой толк в том, что я хожу в гимназию, а Гартингер учится всего лишь на слесаря. То, что Гартингер происходил из бедной семьи, словно давало ему надо мной огромное преимущество. Мы — Гастли, Феки и Фрейшлаг — не были, разумеется, так глупы, чтобы не понимать, что только напористостью и самоуверенностью можем скрыть своё невежество. Как часто я прибегал к этому приёму раньше, чтобы запугать Гартингера и

заставить его помалкивать. Если нам нехватало аргументов, мы выдумывали какую-нибудь несусветную чушь вроде пресловутого «потому», на которое нечего и ответить.

Но на этот раз Гартингер не растерялся. На губах его мелькнула ироническая усмешка. Точно не желая терять времени на объяснения со мной, он только отмахнулся.

— Что вы за люди! Что за злобные, гнусные люди. Да и люди ли вы?! Вы просто опасны... Гунны вы, вот кто!

В его голосе звучало возмущение, и это только сильнее раззадорило меня. Ага, значит, и он, как мой отец, забрался на кафедру и отчитывает меня оттуда! Или, может быть, он из другого ферейна, где форма — красное трико, и он отстаивает честь своего ферейна. Гунны!! Он, кажется, сказал «гунны», я только сейчас схватился. Кто-то однажды сказал уже это: «Гунны!!»

— А как же называется твой ферейн, и где у вас происходит тренировка? Мы, гунны, видишь ли, люди высшей породы.

Гартингер постучал пальцем по лбу.

— Идиот!

Он быстро зашагал прочь и исчез за углом.

Неумолимо указывал на меня палец: «Такие, как ты!» Он указывал на мой лоб, на самую середину, куда плюнул однажды Гартингер. Он указывал, вдавливаясь в лоб глубже и глубже. «Хоть рот-то закрой!» — и я стиснул зубы. Я выставил вперёд руку, словно отгоняя указующий палец. Ксавер указывал пальцем, а потом и Гиасль, — указующий палец следовал за мной и теперь опять указывал на меня. Я тёр пятно, появившееся там, куда указывал палец.

Было время, когда я, пожалуй, только возмнил бы о себе, если бы меня назвали опасным человеком или же «гунном». Ввязываясь в какую-нибудь стычку, Фек всегда повторял одну и ту же угрозу: «Осторожно! Не прикасаться! Опасно для жизни!» А теперь я стоял пристыжённый, мне хотелось броситься за Гартингером вдогонку, но он уже вскочил в трамвай, проходивший по соседней улице.

«Идиот, идиот!» Это было написано у меня на лбу. На это указывал палец Гартингера.

И тут я вспомнил, как улыбался Гартингер, когда он подходил ко мне.

Стоило мне вспомнить эту улыбку, и сам я заулыбался, — откуда-то взялась уверенность, что мы опять встретимся с ним.

«Твоя правда! — обратился я к нему в пространство. — Во мне нет ничего устойчивого. Всё под вопросом. Я — вопроси-

тельный знак. Так помоги же мне выкарабкаться из этой мерзости!»

Я решил написать Гартингеру. Я не хотел допустить, чтобы наша будущая встреча снова была испорчена какой-нибудь из моих непредвиденных глупостей.

В письме я среди прочего предполагал написать:

«Но только прошу тебя, Францль, не задирай, пожалуйста, нос. Не разговаривай со мной свысока. А то на меня сразу что-то находит, и я делаюсь сам не свой. Не гони своей улыбки, Францль... Пусть тебя не отпугивают мои глупости... Ведь ты стойкий. Трудно таким, как я. Помнишь, это сказал твой отец... Я ни за что не хочу стать гунном!» А конец письма был такой:

«Я хочу доискаться настоящей правды, чтобы знать всё насчёт бога, вселенной и прочего. И насчёт новой жизни.»

Всю дорогу я мысленно разговаривал с Гартингером, и мне казалось, что это он мне посоветовал купить у букиниста Гугендубеля на Шеллингштрассе геккелевские «Мировые загадки». Много лет тому назад, роюсь в отцовском портфеле, я обнаружил такую красненькую, напечатанную в две колонки книжку в бумажной обложке.

Чтобы читать без помехи, я перед сном заводил будильник на два часа ночи и клал его под подушку. Свечу я со стороны двери завешивал полотенцем. Свет наружу не проникал, и ничто не выдавало меня на случай, если бы отец или мать вздумали пройти в «укромное место». Я усаживался в постели и клал перед собой на одеяло «Мировые загадки». Читая, я попивал холодный какао и ел булочки с маслом, которые каждый вечер контрабандой уносил из кухни к себе в комнату и прятал в свой потайной ящик. Никто не мешал мне чмокать губами сколько душе угодно.

И вот случилось так, что однажды ночью я заснул над моей заветной книжкой. Свеча догорела и подпалила полотенец. «Мировые загадки» лежали раскрытыми передо мной, когда, привлечённый запахом гари, отец вошёл в мою комнату.

— Нечего сказать, дожили!

Подоспевшая мать не замедлила заверить:

— Это у него не от меня!

— Так что же, от меня, по-твоему? Негодяй!

Отец заметил сыр и ливерную колбасу, которые я избрал для сегодняшнего ночного пиршества. Перед наполовину пустой чашкой какао и надкушенной булочкой отец буквально отпрянул. — Мне кажется, — сказал он, задыхаясь, — что тут устраиваются оргии... — Мать взяла меня под защиту: — Он просто проголо-

дался.— Проголодался?.. Это ты называешь проголодаться?— говорил отец, указывая на сыр, колбасу, булочки и какао.— Да тут целый гастрономический магазин... О, мне это знакомо из моей практики... Обжорство и пьянство... Страсть к мотовству... Так это всегда начинается, а кончается шампанским и толстыми сигарами!

Он потрясал надо мной «Мировыми загадками», спрашивая:  
— Откуда?

Хоть я был в одной рубашке, я гордо заявил:

— Гартингер дал мне эту книгу.

Мать бросилась вон из комнаты. Со времени бабушкиной смерти она часто спасалась бегством.

— Ну, уж... Дальше действительно некуда... С него станется...— запинаясь отец, ища и не находя слов.— И у тебя хватило наглости возобновить с ним дружбу... Вот, погоди, мы сейчас поджарим твоего Гартингера!..— Отец схватил меня за руку, и я вынужден был в ночной рубахе последовать за ним в кухню.

Он стал возиться у плиты, помешал кочергой тлеющие угли и бросил на них книжку, которая, однако, никак не воспламенялась. Мне хотелось спросить у отца, развеян ли бабушкин прах по ветру, когда и где, исполнена ли её последняя воля... Тут отец выхватил из печи книгу и поднёс к ней зажжённую спичку. Меня вдруг рассмешила вся эта процедура — и то, как я, застигнутый за запретным чтением, стою в своей ночной рубашке, и то, как отец осторожно, чтобы не обжечь пальцы, чиркает спичку за спичкой, а книга всё никак не воспламеняется.

— Облей её спиртом или бензином, тогда она наверняка загорится.

— Помалкивай! Я обойдусь и без твоих советов, я сам знаю, что мне делать. Беспремерная наглость!

Вне себя от бешенства, отец кочергой проталкивал книгу дальше, в глубь топки.

— А она всё-таки не горит, отец, ничего не поделаешь.

Отец взмахнул кочергой.

— Молчать! Кому я говорю, чорт возьми?

Глядя, как отец орудует кочергой, которую я привык видеть в руках у Христины, я думал, что теперь в нём гораздо больше отцовского, чем тогда, когда он сидит за письменным столом; он как будто стоял в крестьянской избе и разводил огонь в печи. Но тут отец бросил кочергу, видно, это занятие показалось ему недостойным его звания, кроме того, кочерга пачкала руки.

— Ты похож на угольщика, отец!

— Ещё одно слово н... Загорелась, загорелась!—Отец наклонился над разгорающимся пламенем, охватившим «Мировые загадки».

Я пил воду стакан за стаканом, словно вознаграждая себя за всю невыпитую воду в тот раз, когда меня мучила невыносимая жажда.

— Что ты прилип к водопроводу! Ну, что с тобой делать? У тебя одни только дурные наклонности.

Я улыбнулся ему в ответ, потому что утолил жажду. Отец не знал, к чему бы ещё придраться. Он обвёл взглядом кухню. Посуда, стоявшая навтыжку в кухонном шкафу, ничего, очевидно, не сказала его сердцу, и чисто вымытые окна не удовлетворили его, и белые занавески, и вычищенная плита, и блестящие кастрюли, и табуретки, покрытые голубым лаком, и стоявшее в углу ведро с половой тряпкой, и сверкающий медный кран — всё претило ему; взгляд его с отвращением скользил с предмета на предмет, но не затем, чтобы в приступе бешенства расшвырять всё это так, чтобы звон стоял, на этот раз отец словно хотел эти полезные предметы — творение его «собственных сил» — вычеркнуть все до одного из своей жизни, как бесполезные.

— Нет, нет, всё в корне должно обновиться.

Я насторожился.

Заметив моё удивление, отец отложил кочергу в сторону и, пока мыл руки, несколько раз грозно произнёс прокопчённым голосом:

— Новое придёт! Придёт! Дай только срок!

### XXXVIII

Ещё одно лето миновало.

— Всё ещё ни-ни?—юлил вокруг меня Фек.— Да ты просто чужак.

Как только спускались сумерки, по Герцог-Вильгельмштрассе начинали прохаживаться женщины, они щебетали: «Пойдём со мной», и стоили один талер.

— Чужак, да ты попробуй!.. В табачной лавочке у Костских ворот это много удобнее,— хочешь, познакомлю... Мне ты очки не втирай... От тебя прямо-таки разит целомудрием!

Фек немало открыл мне тайн, когда он — «наконец» — задался целью просветить меня. Вокруг, днём и ночью, неприметно для меня, страшное творится в домах, которые так невинно глядят на улицу: мужчины и женщины исчезают в подъездах, поднимаются по лестницам, звонят, либо, если женщина прошла вперёд, она оставляет дверь полуоткрытой, и вот они тискают и мнут друг друга, говорят непристойности и валяются нагишом в

постель, а потом моются, приводят в порядок платье и, как ни в чём не бывало, возвращаются на улицу. Эта игра завязывается повсюду: на катке, на пляже, в ресторане, в кафе, в трамвае и просто на улице. Уговариваются взглядами; взглядом, объяснял мне Фек, можно раздеть женщину или даже задрать ей подол. Это прodelывается и на скамейках в Английском парке и в скверах на берегу Изара, а поздно ночью, когда улицы пустеют, и в первых попавшихся воротах. Эта таинственная игра никогда не приедается, и хоть она очень однообразна и всегда, будь то Эдит, Анна или Луиза, кончается одним и тем же, тем не менее ею никогда не пресыщаешься, и каждая женщина заново прельщает. Женщины постарше, замужние женщины предпочтительнее всего, они не ломаются, они опытные и изобретательны. Их не стесняет, если мужчина при этом смотрит на них, наоборот: они находят в этом особую прелесть. В сущности, всё в мире вертится вокруг этого. И Фек вдавался в подробные описания своих последних приключений.— Попробуй и ты,— повторял он,— мне это ни пфеннига не стоит; на-днях одна вдова подарила мне за это талер. Если хочешь, пойдём вместе, я покажу тебе, как это делается.

До сих пор я только вглядывался в мир.

Так когда-то я глядел на витрины и, отделённый от него одним только стеклом, дивился на мир необычайных вещей,— а в морге лежали выставленные напоказ покойники,— так когда-то я подглядывал в замочную скважину за родителями в их спальне или за отцом в передней в то утро, когда он встал спозаранку; позже я глядел на бой под Седаном и на боксёрское восстание; я издали заглядывался на фрейлейн Клерхен, качавшуюся на качелях, и, сидя в беседке, точно со стороны глядел на неё и на себя. Заглядывал я и в самого себя, когда делал вылазки в мир, и лес стоял, озарённый солнцем, и я видел себя в Феке, когда тот, ухмыляясь, подмигивал мне, и я видел себя в учителе Штехеле всякий раз, когда я на другом вымещал терзавшие меня обиды и боль. Мои любопытные взгляды проникали во все уголки пансиона Зуснер и в кабины Унгербада... Так, юный соглядатай делил с фрейлейн Лаутензак её смерть и сквозь толстое огнеупорное стекло смотрел, как языки пламени смыкаются над телом умершей бабушки...

Д-р Генрих Гастль сказал бы: «Беззаботное детство кончилось...»

На дверях магазина колокольчик звякнул: «Войдите!»

Табачная лавочка находилась у Костских ворот. Дверь была завешена плакатом: два борца плотоядно обхватили друг друга

толстыми, как окорока, руками. В витрине пирамидами громоздились папиросные коробки.

Дверь звякнула «дзинь», и меня обдало тёплым чадом, смешанным с приторным запахом духов.

Продавщица, перегнувшись через прилавок, шушукалась с субъектом в грубошёрстном пальто. Багровое, покрытое светлой щетиной лицо уставилось на меня.

Когда колокольчик звякнул вторично и дверь захлопнулась, рот продавщицы отпрянул от уха её собеседника и раскрылся навстречу мне:

— Что вы желаете?

Грубошёрстное пальто, посасывая сигару, отступило в глубь магазина и, став ко мне спиной, занялось пристальным рассматриванием какой-то театральной афиши.

Глаза продавщицы юркнули за ним следом, она повторила вопрос:

— Что вы желаете?

Я спросил папиросы, кажется, «Саям Алейкум». Только после того как продавщица отвернулась, я почувствовал на себе её взгляд, и до моего сознания дошла какая-то необычная певучесть этого «что вы желаете?»

Заплатив, я вынужден был сам себя подтолкнуть: «Ступай же!» — мне не хотелось трогаться с места.

Очутившись на улице, я увидел продавщицу совсем рядышком: мне пришлось смотреть на неё сверху вниз, так она была мала ростом, взгляд мой задержался на её рыжеватых, взбитых на лбу волосах, глаза её беспокойно бегали и поблескивали, устойчивым в её лице был только вздёрнутый носик, шею до самого подбородка скрывал кричащий зелёный свитер.

Я терпеливо ждал на противоположном тротуаре. Лазочка казалась мне одним из тех ярмарочных балаганов, в которых творятся всякие таинственные чудеса.

Через некоторое время — дзинь! — из двери выскользнуло Грубошёрстное пальто, — дзинь! — и вот я уже опять в магазине.

— Что вы желаете?

«Фек подвёл меня, — думал я, краснея, — всё, что он мне рассказал про тайные отношения людей — враньё и выдумки, пусть бы он подсказал мне сейчас, что мне ответить». «Что ты пожелал себе?» — спросила меня бабушка на празднично убранном балконе в новогоднюю ночь, и я пожелал себе, чтобы началась война, но только, когда я вырасту.

— Что вы желаете? — повторила продавщица таким певучим голосом, точно в её власти было исполнить любое желание... «Возьмите себя в руки, молодой человек, не будьте трусом», —

говорило, казалось, её лицо с высоко взлетающими бровями, и я, став навтыяжку, твёрдо произнёс:

— Я бы желал встретиться с вами где-нибудь.

Затянувшись, она пустила в меня лёгкое облачко табачного дыма, за которым полыхнула её улыбка.

— Меня зовут Фанни.

С грохотом опустились жалюзи. Я ждал Фанни на углу. Всё напряглось во мне в ожидании этого грохота. Я считал: «Раз, два, три»,— и лишь на счёте сто с лишним, наконец, загрохотало. Незримо для всех стоял я в облаке счастья на перекрёстке, залитом уличной толпой.

Фанни перешла через улицу, ещё провожаемая грохотом жалюзи, на ходу спрятала в сумочку ключ от магазина, закрыла сумочку, в нескольких шагах от меня посмотрелась в карманное зеркальце и, так как она только чуть-чуть задержалась, спросила, беря меня под руку:— Видишь, до чего я аккуратна? Милый...

На Фанни была теперь коричневая юбка и красная блузка, как у фрейлейн Клер... «хен» я проглотил, словно фрейлейн Клерхен рассердилась бы на меня, если бы я мысленно произнёс её имя в присутствии Фанни.

Фанни понадобилось немало времени, чтобы выбрать в пивнушке подходящее местечко, так чтобы и уединённо было, и не слишком близко к музыке, и, желательно, у окна. Здесь можно было глядеть и на улицу, и в зал, в глубине которого, на эстраде, тирольцы пели гортанными голосами и плясали.

— Мы словно в беседке здесь,— сказала Фанни, удобно усаживаясь,— никто нас не видит... Даже папаша не увидел бы, если бы он случайно зашёл сюда,— хихикнула она.— Мы, как за стеной, как в отдельном кабинете.

Кельнер, в ведении которого находилась беседка счастья, был, очевидно, хорошо знаком с Фанни; он сразу же перешёл с официального: «Что прикажут господа?» на фамильярное: «Вы, фрейлейн, всё шутите?» Он, повидимому, заметил моё смущение.

Мы сидели, рука в руке, потом, когда Фанни высвободила руку, чтобы погрызть солёный крендель, я положил руку на её колено.

Склонившись над меню, мы близко-близко придвинулись друг к другу. «Славная девочка»,— я украдкой коснулся фанниных губ, они были влажные и открывали верхний ряд зубов.

Я не в силах был сдерживать свои движенья под столом. Я наступил Фанни на ногу, извинился, прижался бедром к её

бедру, рука тоже не знала удержу. Фанни не протестовала и, склонившись над столом, бойко смеялась мне в лицо.

— Сколько таких встреч с женщинами у тебя бывает в неделю?

— М-да, достаточно... как когда... — начал было я очень важно, но сейчас же сказал серьёзно: — Да нет же, я вру, ты у меня — единственная.

Она сунула мне в рот ложку брусники, и мне казалось, что надо подольше удержать эту сладостную горечь во рту, чтобы насладиться вкусом счастья.

— Ты ещё так молод! Я совсем тебе не пара. Моя жизнь загублена.

— Разве нельзя начать всё сызнова?

— О, это было бы прекрасно, чудесно...

— Пойдём! — Фанни встала и оправила юбку.

Я, между тем, считал, считал. Подсчитывал, просчитывался, присчитывал лишнее, опять пересчитывал, — всё равно денег у меня не хватало. На чаевые уж, конечно, нехватит, и зачем только Фанни заказала эту проклятую бруснику! Кровь густо прилила к голове. Это они так счёт нагоняют. Фанни уже звала кельнера: — Получите! — Карточка дрожала у меня в руке, цифры плясали перед глазами. Брусника! Брусника! — Ах, — протянула Фанни, — я и забыла совсем! — Как я был благодарен ей, что она выгручила меня в последнюю минуту. Бормоча что-то в своё оправдание, я смеялся её деньги с моими и дал кельнеру огромные чаевые, чтобы он ничего не заметил. Путь до двери показался мне бесконечным. Я чувствовал, что все оборачиваются и смотрят мне вслед: — Поглядите-ка на этого важного господина, он угощается за счёт продавщицы папирос.

— Вот и мой трамвай, — сказал я и хотел вскочить в вагон. — Что, пропала охота? — Фанни взяла меня под руку. Я ответил, как мужчина: — С чего ты взяла? Как это так, с какой это стати?

Фанни жила в нижней части города, в «Долине».

Движением, которое выдавало привычку впускать посетителей, она быстро отперла входную дверь. — Не оступись, здесь лестница!

Фанни прошла вперёд с карманным фонарём в руках, огонёк — блуждающий светляк — манил за собой вверх, и я следовал за ним, обвеваемый складками фанниной юбки. Я шёл вплотную за Фанни, впитывая её всеми своими чувствами, — казалось, с неё упали все одежды, и я, обхватив её сзади, несу её в потёмках высоко перед собой.

Ступеньки были истоптаны. От дома пахло, как от умираю-

щего. Задыхаясь, мы взбирались всё выше и выше, точно на обветшалую башню. Когда мы на мгновение останавливались на площадке, чтобы отдышаться, стены хрипели за нашей спиной.

Через длинный, заставленный шкафами, коридор Фанни довела меня до своей каморки. На зеркале всером красовались открытки, портреты артистов и атлетов, весело ухмылявшихся мне навстречу.

«Вот, значит, как она живёт», — подумал я и опять проглотил «хен».

Инженер, тот самый, в грубошёрстном пальто, готов жениться на ней, рассказывала Фанни, «но он — такая мразь, что, только накачавшись, согласишься лечь с таким в постель». Табачную лавочку купил ей этот же самый, в грубошёрстном пальто, — чтобы обеспечить ей приличный заработок.

Наливая воду в таз и вешая свежее полотенце, она спросила: — Ну, а что ты мне подарить? — но тотчас же спохватилась: — Ах, что же это я говорю! Брось! Не нужно. В другой раз. Ты сегодня не при деньгах. Это не к спеху!

Прежде Фанни служила кельнершей в кабачке «Бахус» на Герцог-Вильгельмштрассе, а до того жила в Кельне. Фанни очень насмешило, что я не знал выражения «итти на улицу». — Да ты просто золотко, золотко! — чирикала она. — Теперь таких и нет, ох, умора! Он не знает, что это такое!... Да ты и не представляешь себе, какая ты находка! За это и заплатить не жалко! — Хихикая, она вертела меня и так и сяк, чтобы осмотреть Золотко со всех сторон.

— Был у меня среди клиентов прокурор, — рассказывала она, — про него говорили, что такого мучителя поискать надо, а со мной — чего только я уж над ним не делала, а ему всё мало... Вообще заметь: эти отцы семейств самые страшные развратники, у каждого свои специальные причуды.

Ещё из Кельна увязался за ней один знакомый, Купник, по прозвищу Боксёр, он часто торчит у неё в лавке.

— От него я никак не могу избавиться. Возможно, он ещё сегодня заглянет мимоходом, но это ничего не значит, — раз весь день о нём не было ни слуху, ни духу...

Фанни уселась к столу, заложила ногу за ногу и взглянула на часы.

— Ну, а теперь расскажи мне что-нибудь, но только такое интересное, чтобы помечтать можно было!

О чём мог рассказать Золотко, чтобы при этом можно было помечтать?

Он стал рассказывать о фрейлейн Клер. Она звалась теперь фрейлейн Клер, без всякого «хен». Фрейлейн Клер была удиви-

тельной красавицей, такой же красавицей, как мать на мольберте в гостиной. Фрейлейн Клер сидела на качелях в саду, качели качались, качались под звуки гармонии. Золотко сидел с фрейлейн Клер в беседке счастья, они держались за руки, целовались и клялись любить друг друга «до гроба». Но вмешался отец и запретил им встречаться. Любовь их, однако, была так велика, что они решили вместе умереть. Лунной ночью они в лодке выехали на Альпзее, глубокое, как тысячелетия, как вечность, глубокое озеро, в котором отражался древний, как мир, месяц. Фрейлейн Клер обняла Золотко и заплакала:— Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!

— А ведь ты врёшь, Золотко, это тебе стало страшно, а не ей. Подумаешь, благородный рыцарь! Как это похоже на вас, мужчины! — Фанни возмущённо вскочила и взяла на руки куклу, которая лежала на подушке.

— Нет, уверяю тебя, Фанни! — вдохновенно врал я. — Именно я готов был умереть. Что хорошего в жизни? Я нисколько не боюсь умереть...

— Враньё! Враньё! — пронзительно визжала Фанни. — Зачем ты вообще всё это наплёл мне, какое мне дело до твоей фрейлейн Клер, зачем ты её сунул сюда, твою...

«...Фрейлейн Клер», — хотел подсказать ей Золотко, — вовсе не фрейлейн Клер, а фрейлейн Клерхен».

— Фрейлейн Клер! Фрейлейн Клер! — Фанни, словно важная дама, жеманно изгибаясь, прошла по комнате.

— Фрейлейн Клерхен, — тихо сказал Золотко.

Фанни стала обходить стол, чтобы подойти поближе. Но стол ещё разделял их. Золотко встал и как бы ненароком начал отодвигаться от неё. — Да постой же минутку! Мне надо что-то сказать тебе! — Она уже почти схватила его, но он успел вывернуться.

— Ну-ну, такие мне ещё не попадались... Ты, что же, женщины боишься?... Вот чучело... — загородив ему дорогу стулом, она, наконец, настигла его.

— Слушай! — она обняла его. — Я буду для тебя твоей фрейлейн... Я не испугаюсь... — Тс! Тс! — зашикал Золотко и, приложив к фанниным губам палец, отстранился от неё.

Внизу раздался резкий троекратный свист...

— Это тот самый... Боксёр... От второго я сегодня отдыхаю... В чётные дни он всегда у матери...

Фанни завернула ключ от входной двери в обрывок газеты и швырнула его вниз, на улицу.

Когда Фанни нас познакомила, Боксёр распахнул ворот рубашки, словно собираясь обнажить передо мной своё нутро:

на груди у него, отливая синевой, красовалась вытатуированная женская головка, похожая на Фанни.

Он плавным движением стянул светложёлтые лайковые перчатки. Ногти у него были длинные, заострённые и отполированные.

Затем он сообщил мне, что на свете ещё не перевелись дураки которые тратят бешеные деньги на драгоценности, и из жилетного кармана извлёк «приобретённое прошлой ночью» бриллиантовое кольцо и стал вертеть его под лупой.— Секрет в том, чтобы знать источники и обладать настоящими связями.

Он явно не одобрял, что на мне оплаченный костюм, да и за ботинки нет смысла платить деньги.

— Если вам что-нибудь понадобится, обратитесь попросту ко мне. Я смогу вам обеспечить всё — от мужских и дамских ботинок до мотоцикла. Всегда свежий товар! Высший сорт! — кричал он, как на аукционе.

«Чорт побери, — подбодрял я себя, — тебе, оказывается, повезло, наконец-то ты попал в подходящую среду. Вот это я понимаю! Уголовный преступник с манерами светского господина. Такой молодец может сразиться с государством».

— Знаю его по Штраубингу, — припомнил Боксёр, когда Фанни рассказала ему о моём отце, — как же, господин прокурор... — Он осведомился о коврах в нашей квартире и о столовом серебре, точно справлялся о здоровье самого близкого друга. Он проявил также интерес к привычкам моих родителей, и я с полной готовностью удовлетворил его любопытство. Когда я заверил его, что в доме нет собак, а Христина глуховата, он удовлетворённо кивнул и пожал мне руку, точно выражая признательность за оказанную услугу.

Некоторое время Фанни и Куник разговаривали на непонятном мне жаргоне, речь шла о какой-то «Лотте-кирасире» и о «Карле-Верзиле». Боксёр сказал: — Сегодня у меня ещё срочный вызов. — Потом он предупредительно спросил: — Не помешал ли я вам, господа? — Ну, я предпочла бы, чтобы ты заглянул ко мне в магазин завтра около полудня.

Она вынула из сумочки пятимарковую бумажку и протянула её Боксёру, вместе с ключом от парадной двери, «занесёшь по пути», — и пошла провожать Боксёра, который со словами: «Моё почтение, господа», откланялся.

— Гад! — выругалась Фанни, вернувшись в комнату. — Он ещё получит у меня, он ещё дождётся, что я сама выдам его полиции! А ты, ах ты, Золотко ты моё, глупышка, неужели ты не мог попрिдержать язык? Какое ему дело до ваших ковров и ва-

шего серебра? Ну, да ладно, пусть только он завтра покажется ко мне, гад!

Мысли Золотка упорно возвращались к описанию гибели влюблённой четы на Альпзее. И пока Фанни ругала «гада», Золотко обуревали мечты о прекрасной смерти вдвоём. Смерть представлялась Золотку воссоединением всего, что при жизни терпело разлуку.

Странно, что от всех этих разговоров о смерти я повеселел, меня охватила непривычная жизнерадостность, и фаннинию лицо тоже озарилось блаженной улыбкой, словно с высоты смерти перед нею открылась чудесная панорама...— С тобой, с тобой вместе я могла бы от него избавиться... Давно, давно я любила одного человека, он был похож на тебя!..

Мы сидели рядом на краю кровати. Фанни сложила наши руки в молитвенном жесте. Две пары рук тесно сплелись, моля о смерти... Я чувствовал себя всемогущим, ведь нет власти сильнее смерти...

Фанни дала мне альбом с фотографиями, на которых она была изображена в самых различных позах и костюмах, в качестве «интернациональной дивы Литтл Ленч — танцовщицы-престиж-жигитатора». Она извлекла из шкафа переливавшийся блёстками костюм и стала переодеваться за чёрной ширмой с вышитым серебром павлином. Переодеваясь, Фанни нечаянно сдвинула ширму с места. Она просунула руки в рукава: блестящая мишура, на мгновение скрыв её с головой, одела её всю сверху донизу; Фанни вынырнула из этого моря блёстков и предстала передо мной в переливающимся серебре. На щёки она наложила жаркие румяна и густо насурьмила брови. Губы навела кармином так, что они стали маленькими и круглыми, как гвоздика. Волосы высоко подколола, а на лоб начесала пышную чёлку. Вложив в музыкальный ящик валик с вальсом «Дунайские волны», она завела его и сунула под подушку, «чтобы звучало как будто издадека-издадека».

Делая крохотные па, Фанни вертелась по кругу, едва акцентируя ритм вальса. Руки её покоились на бёдрах. Но вот она помахала рукой, послала воздушный поцелуй, склонилась в низком поклоне. Она танцевала по сверкающему кругу, но казалось, она удаляется в танце далеко-далеко, в глубь своей жизни. Танцуя, она освобождалась от того, кто, повидимому, держал её в страшных тисках, она словно выскальзывала из этих тисков. Точно так же, как я, здесь, в фанниной комнате, думал о фрейлейн Клерхен, измышляя рассказ о нашей совместной смерти, так и Фанни, танцуя, забыла обо мне и видела перед собой только того, кого когда-то любила и кого она приветствовала своим луче-

зарным танцем. Но вот она вернулась ко мне. Танцевала передо мной, балансируя, как канатная плясунья, на высоком, парящем в воздухе, мосту. Как Дузель. То был тапец забвенья.

— Этот гад Куник раздобудет револьвер, и тогда нам ничто не страшно!

— Много было у тебя мужчин?

— Это тебя не касается.

Жаркий румянец на её щеках принял противный кирпичный оттенок и стал линять слой за слоем.

— А много?

— Не знаю. Брось! Теперь ты со мной.

Густые чёрные дуги её бровей стёрлись.

— И все они одинаковы?!

— Зачем ты мучаешь себя и меня?

— И этот...

— Все,— только ты не такой!

— Ты и этого знаешь, ну, сама понимаешь, о ком я говорю...

— Ах, так ты вот о ком! Райнер Фек... А почему ты именно о нём говоришь?

Кармин на её губах потрескался. Все губы в трещинах.

— Он ужасная свинья!

— Остроумный малый и очень шикарный, он мне даже нравится.

Переливающееся сиянье её костюма погасло.

Фанни открыла мне объятия.

— А ты не струсил?!

— Чтобы я да струсил! — хорохорился я, хотя меня томил страх и я озирался в поисках спасенья.

— О, ты, ты совсем другой... Ты не такой грубый, как все... Ну, скажи что-нибудь... Ты, ты не трус, нет... Но почему же ты молчишь, ах...

\* \* \*

С Гроссгесселозского моста глазу открывался такой необъятный, чудесный простор, что душу невольно охватывало спокойствие, точно с тобой уж ничего дурного не могло случиться. И близость смерти открывала взору такую же бескрайнюю даль. Этим я объяснял себе радостное настроение Дузель, когда она решила прыгнуть с Гроссгесселозского моста, и вот такое же настроение охватило теперь и меня. Смерть была вершиной, подобно высочайшей горной вершине; так высоко человек никогда в другое время не взбирается. Жизнь лежит перед ним, как на ладони, и он обзирает её с вершины, раньше чем отважиться на прыжок. В таких прыжках в глубину я часто

тренировался в Луизенбадском бассейне, где прыгал с десятиметровой вышки. Это полёт в бездну, его можно повторять до бесконечности, не упуская ни одной подробности полубессознательного односекундного пути, когда летишь, затаив дыхание, сквозь свистящий воздух. Вот мягко ныряешь на самое дно, подхваченный водой, жизнью... Можно, разумеется, упасть петовко и удариться животом или спиной об воду, а иногда уже над самой поверхностью воды тебя охватывает ужас, что вся вода ушла и ты упадёшь прямо на мраморное дно, — так насквозь, до самого мраморного дна, прозрачна эта вода.

И вот я стою высоко-высоко, на вершине, перед необъятным вольным простором и должен решиться на смертельный прыжок. Но я не отваживаюсь подойти к краю моста, мне достаточно уж одной этой картины, которую создала близость смерти, пусть Фанни прыгает без меня. Но Фанни не выпускает моей руки из своей, она тянет за собой меня и толкает к пропасти... Тут я проснулся и увидел, что лежу рядом с Фанни.

Целую ночь я вдыхал её жизнь. Моё тепло смешалось с её теплом. Я пропах ею, никакой щёткой я не мог бы счистить с себя её назойливый запах. Следы высохших румян остались на моём лице. Точно ей во сне подменили голову — рядом со мной на подушке лежала оципанная птичья голова.

Мы говорили друг с другом во сне. Её сон говорил мне:

— Виновата ли я, что я не твоя фрейлейн Клерхен! Нет, я тут совершенно ни при чём. Ню и ты, мой дружок, не слишком-то зазнавайся: и ты не тот, кто мне дорог. Ты мне, собственно, никто. Ты — вовсе не ты. Каждый из нас лежит здесь на месте другого.

Мой сон отвечал:

— Но ты здесь совершенно ни при чём... Ты — вовсе не ты... Я знаю, что я не тот, как и ты не та. Ты смотришь сквозь меня на другого. Я, перешагнув через тебя, устремляюсь к другой... Мы лежим рядом, но каждому из нас хотелось бы быть с другим.

Так разговаривали между собой наши сны.

### XXXIX

В предвидении близкой смерти я ступал легко, как на крыльях. Мир казался мне разумно устроенным и достойным любви. Каждому встречному хотелось мне сказать приветливое слово — и молочнице, оставившей свой ящик, полный бутылок с молоком, у подъезда, и мальчику из булочной, разносившему хлеб по квартирам. И к почтальону, который уже совершал свой обход,

и к газетчику — ко всем этим людям я чувствовал братскую близость, теперь, когда я отошёл на край смерти. В этот час прощания мне хотелось заключить в своё сердце и метель щизов, и развозчиков пива, которые, сидя на тяжёлых, груженых бочками фургонах, катили по просыпающемуся городу.

Изарские ворота и Мариенплац, Галерея полководцев и убегающая под уклон широкая Людвигштрассе — всё это казалось мне невиданно прекрасным, и я часто останавливался в радостном изумлении, точно выбирая, что бы из этих улиц и зданий захватить с собой в своё посмертное существование.

Огромный золотой крендель, поддерживаемый слева и справа золотыми баварскими львами, герб Зейдельбека, парил в воздухе на моём пути к смерти. Мужчины и женщины, со свёртками подмышкой, торопились на работу. Стремительным людским потоком меня прижало к стенам домов, я никуда не мог скрыться от взглядов, которые, как я чувствовал, останавливались на мне с выражением неприязни и презрения. Это были Гартингеры... «Оборванцы, недокормыши, крамольники», — подсказал мне господин прокурор, но господин Зигер из охотничьего домика возразил ему: «Надежда Германии».

К небу взвились гудки, протяжные, пронзительные, и Гартингеры ускорили шаги. Быстро вертящийся хлыст, со свистом рассекая воздух, пронёсся над головами людей. Мне не скоро удалось выбраться на одну из боковых улиц, человеческий поток спугнул, казалось, мои мечты о смерти, и мало-помалу, по мере приближения к Гессштрассе, мною овладевала тревога, и я стал ломать голову, какое придумать оправдание для этой моей первой ночи, проведённой вне родительского дома...

Меня удивило отцовское: «Ну, что же, ладно!», которым он ответил на моё: «Было уже слишком поздно, и я остался ночевать у Фека». Я прибавил как бы вскользь: — Я читаю теперь «Путешествие Петера Моора на юго-запад». — Отец ответил: — Так-так. — Непостижимо, как это он поверил моей дурацкой выдумке, но я уже снова был во власти моей мечты и мысленно готовился умереть вместе с Фанни.

«Нет, — останавливал я себя, — Фанни живёт в «Долине», я ночевал не в пансионе Зуснер».

...Куник достал револьвер. Я носил револьвер при себе, маленькую, чёрную штучку, такую прохладную и хорошо прилаженную в руке. Город, с его глухим рокотаньем, отодвинулся куда-то в неясную даль. Дома потеряли чёткость очертаний и погрузились в поблёскивающий глянцеви́тый туман. Люди скользили мимо, неподвижные, как куклы, приводимые в движение

проволоккой. Я и сам будто парил, будто покачивался на качелях. На мне словно был волшебный панцырь, который делал меня неуязвимым и от всего предохранял. Передо мной вышло большое чёрное пятно, оно светилось, как подземное солнце: то была смерть...

Суббота. День, как и всякий другой, но я оделся особенно тщательно, в последний раз. Галстук было заупрямился, когда я начал завязывать его, но я уговорил его, и он улёгся гладко и безропотно. На прощанье я обвёл глазами свою комнату. Уж будь уверен, обои из-за тебя не отвалятся. И на кухне не прекратится оживлённое мытьё посуды, и всё так же будет капать из водопроводного крана. Прощай, Христина!.. На одно только мгновение задержаться в гостиной перед портретом на мольберте, но — в распахнувшейся двери стоит мать:— Сколько раз надо повторять тебе, чтобы ты не смел входить в зал, паркет только что натёрли, и уже никакого вида! — ...«Марш! — подгонял меня револьвер.— Пошевеливайся-ка, да побыстрее!» Несколько кварталов меня провожал Гартингер, мы шли с ним по нашему старому школьному маршруту — вверх по Луизенштрассе, к Пропилеям. Магазины были всё те же: парикмахерская, кондитерская Зейдельбека, писчебумажный магазин. «Что с тобой, скажи», — задумчиво спросил встревоженный Гартингер. «Со мной? А что? Ничего!» — резко оборвал я его. «Ты что-то задумал!» — Гартингер протянул мне руку. «Возврата нет!» — пригрозил мне револьвер, когда я хотел вложить его в руку Гартингера, казалось, что револьвер сейчас разрядится сам собой... И вот уже револьвер на ночном столике в фанниной комнате. Фанни спит рядом. Я с удовольствием перевёл бы будильник на час назад, чтобы ещё хоть немного оттянуть момент нашей смерти, назначенной на шесть утра, но я боялся разбудить Фанни. Часы тикали всё быстрее и быстрее, утро разгоралось с грозной стремительностью. Посреди комнаты стоял стол с острыми краями, от забытого на нём стакана исходил холодный свет... Самое простое, конечно, было бы встать, открыть дверь и уйти. Но тут вдруг на ночном столике проснулся револьвер и повернулся ко мне дулом... Я снова отвёл его от себя, направил на Фанни и дважды выстрелил в упор, две жёлтые патронные гильзы вывалились на белое одеяло, скатились чуть ниже и застряли в складке... Фанни вытащила руку из-под одеяла и, конвульсивно растопырив пальцы, прикрыла ими простреленное место. Капля крови выкатилась у неё из носу... Я поздно спохватился, что лучший способ стреляться — в рот: наполнить револьверное дуло водой, закупорить его и стать перед зеркалом... Револьвер вместе с моей рукой надвинулся на меня вплотную, указательный

палец согнулся: «За то! За то! За то!» — трижды дёрнулся палец и нажал курок. «За то! За то! За то!» — стрелял револьвер. Он стрелял в меня за все подлости, которые я совершил, за каждую в отдельности... Что-то ударило в кончики пальцев на ногах и пробежало по всему телу. Я пристально вглядывался в стену, стараясь увидеть на ней картину, какую угодно, может быть, и очень давнюю, дающую ответ на всё сразу. Но беседка счастья, в которой я сидел с фрейлейн Клерхен, растаяла. Стена молчала, не рождая картины... Я проснулся, первым проснулся слух. Гудел трамвай. Хрусткое, негромкое щёлканье револьверных выстрелов всё ещё стояло у меня в ушах. Тут я услышал голос Фанни: «Не хочу умирать!» — «Не умирать! Не умирать!» — услышал я самого себя. — Какао готово! Завтракать, фрейлейн! Уже скоро десять часов! — стучалась в дверь квартирная хозяйка. — «Ради тебя! Ради тебя!» — и Фанни, умирая, тянулась к тому — далёкому, другому. «Ради тебя! Ради тебя!» — прощался я, умирая, с фрейлейн Клерхен. — Не хочу умирать! — крикнула Фанни, отчаянно борясь со смертью, и ударила своё Золотко кулаком в лицо. — Не хочу умирать! — крикнул Золотко и ударил Фанни. — Не хочу! — ногтями вцепилась в него Фанни. — Не хочу! — он схватил её и прижал к стене. — Не желаю иметь с тобой никакого дела! — крикнула Фанни и с силой толкнула его; он едва удержался на краю кровати. — Что мне за дело до тебя! Я не знаю тебя! — кричал он, выталкивая её из кровати и прижимая к стене. — Замолчи! — кричала она, вырываясь из его рук. — Прочь! Вон! Убирайся! Убирайся! — кричали оба наперебой. И вдруг замолкли. Шкаф внезапно отодвинулся от стены и накренился. Из-за шкафа выскочили люди в форменной одежде, и я на носилках скатился вниз по лестничному витку... Разве то не была смерть влюблённой четы в пансионе Зуснер, теперь, после стоюльких лет, я последовал за ней вместе с Фанни. И в то же время это была смерть Дузель и Газенэрля, ведь и с вершины нашей смерти открывался широкий простор, как и с Гроссгесселозского моста. — Нет, я никогда не была шикарной дамой, что это тебе взбрело в голову, — ответила Фанни, когда я спросил у неё, не приезжала ли она однажды шикарной дамой в пансион Зуснер. — Нет, и Куника там не арестовывали. Какие глупые вопросы ты задаёшь. — Но когда меня на носилках переносили через улицу, я сорвал с лица простыню, которой был прикрыт с головой. С испуганным «ах!» шарахнулась от меня толпа, собравшаяся перед пансионом Зуснер, а я посмотрел на противоположную сторону, на дом номер пять по Гессштрассе. Отец отвёл от окна плачущую мать: — Разве я не говорил этого всегда... — Юный самоубийца был слишком слаб, чтобы открыть глаза. Лёжа в темноте, он чувствовал, как чья-то рука

нащупывает его пульс. Рука держала его крепко, как бы внушая: «Всё будет хорошо». — В самом деле?! — Он глубоко вздохнул, как будто выдохнув всё бремя жизни. Это не могла быть рука отца. Его рука поднята вверх и на обращенной наружу ладони, словно на табличке, написано: «Это не мой сын!» Но это и не рука матери. В её руке вязальные спицы, они торчат в разные стороны и колотятся. Фаннина — но ведь её рука лежит на простреленной груди, как привязанная, и не шевелится.. Я хотел спросить державшую меня руку — чья она, но тут на меня напялили маску. Через маску на меня нахлынули воспоминания о героях, славные дела которых описаны в книгах; тут были старина Шаттерхэнд и принц Евгений, крестоносцы, Колумб, Робинзон, Александр Великий и спартанцы, сражавшиеся у Фермопил под предводительством Леонида, и владелец трактира «У весёлого гуляки», — ведь я дал себе слово быть таким, как они, и покорить мир. Жалкий же из меня вышел герой, герой, который валяется сейчас в хирургической клинике на Нуссбауэрштрассе, в операционном зале... Хорош герой, который промахнулся и даже в собственное сердце не сумел попасть, в самую близкую мишень. Почему я не встретил на своём пути ни одного героя? Я хотел принести себя в жертву, умереть за великое. Как тосковал я по дисциплине и муштре, по размеренному шагу в сомкнутом строю! Я нуждался в учителе, который научил бы меня жизненной стойкости. Научил бы меня не только умереть за великое, но и жить за великое... Я нуждался в руке, которая вела бы меня. Я хотел написать Гартингеру письмо. Но письмо не выходило и не выходило. Целую неделю я чертил на конверте адрес Гартингера. То адрес получался неверный, то буквы были неразборчивы... Я оставил мысль написать Гартингеру. Вдруг рубашкой мне закрыло голову, руки взметнулись вслед за ней. «Считай!» Я стал считать, я считал, как тогда, в ожидании, пока загрохочут жалози, считал, всё дальше уходя в воспоминания, отсчитывал часы до счастливого мига, я считал, и весь класс считал вместе со мной, как тогда, когда Гартингера из-за меня высекли, и всё вытягивался, точно собираясь дотянуться до Изартальского вокзала и покрыть собой весь мир... «Дзинь-дзинь-дзинь...» Всё дальше, всё отдаленнее... С неба дождем сеялись мягкие покрывала... Нелегко было вынырнуть в жизнь из забвенья, нехватало сил оттолкнуться руками от дна. Я лежал ничком, погружаясь всё глубже и глубже, тело моё возвращалось в это положение, как я ни силился повернуться... С меня сняли маску... Всю ночь в кресле сидела сестра. Я лежал лицом к стене. Высокой серой волной надвигалась на меня стена, захлёстывала беспамятством. Но вот стена тумана поднялась, и я увидел внизу гостиницу «У седого утёса». «Ах, ты...»

Этот совместный уход из жизни, когда я оставался жить, потому что стрелял мимо, продолжался весь день. На вечер мы условились с Фанни встретиться, чтобы вместе умереть. Я бы охотно остался дома, потому что смерть уже была изжита, но уклоняться от совместной кончины было поздно. «Ты не трус» — обызывало меня.

Вдруг в передней раздался звонок, и немного погодя в комнату вошла Христина.

— Т-с-с! К его милости пришла полиция!.. Они там...

Когда полицейские ушли, отец велел позвать меня.

Он сидел у письменного стола и перелистывал какое-то дело. Каждая перевёрнутая страница, — думал я, — это страница моей жизни, которую он тщательно изучает. Всё записано в этом деле — мелким, аккуратным почерком, — некоторые места подчёркнуты одной или двумя чертами, а некоторые даже красными чернилами. Отец быстро перелистал последние страницы и так крепко захлопнул папку, что у меня перехватило дыхание.

Спокойствие в лице и движениях отца колело меня, как иглками.

— Так. Значит, ты ночевал у Фека? — Это было сказано с язвительным самодовольством.

— Да, было уже очень поздно...

— Я боюсь, что на этот раз будет поздно совсем в другом смысле, если только ты немедленно, сию же минуту не скажешь всю правду.

— Да у Фека же... где же ещё...

— Нет, это прямо неслыханно, лгать с таким упорством!.. — Отец ударил себя по колену. — Чорт возьми! — воскликнул он и снова поудобнее уселся в кресле. — Ну, что ж, в таком случае я тебе скажу, где ты был... — В руках у него была записочка, в которую он то и дело заглядывал.

— В восемь часов ты был...

Верно! — безмолвно откликнулся Золотко. В восемь часов он действительно был в табачной лавочке у Костских ворот.

— В десять часов ты был...

Опять же верно! В десять он действительно сидел вместе с Фанни в пивнушке...

— В двенадцать ты был...

Поразительно верно — в двенадцать он как раз был у Фанни, они сидели рядом на кровати, рука в руке...

— А ночевал ты...

До чего же всё верно! И как это так всё сходится, точка в точку!

— Тебе известно имя некоего Куника?

Этого только недоставало. И это верно.

... Ты вступил в связь... Кельнерша из кабачка «Бахус»...  
Обыкновенная уличная шлюха...

Но как он всё это узнал? Чего-чего только нет в этой записочке?!

— Тебе семнадцать лет...

Всё верно. Всё верно!

— Ну вот, а теперь — прочти. — Отец взял с письменного стола вечерний выпуск «Мюнхенских новостей». В руке его была тайна, он поигрывал ею.

Стало так тихо, точно вся комната насторожилась. Даже портрет, стоявший в гостиной на мольберте, придвинулся поближе, чтобы послушать.

Прокурор, д-р Генрих Гастль, протянул Золотку газету. Протянул не спеша, наслаждаясь каждой секундой промедления. Не так же ли медлил я, прежде чем объявить мат проигравшему партию отцу? Под заголовком: «Убийство с целью ограбления у Костских ворот», было напечатано: «Владелица табачного магазина у Костских ворот фрейлейн Фани Фусс, служившая ранее кельнершей в кабачке «Бахус», сегодня около полудня найдена убитой в собственном магазине. Ввиду взлома денежной кассы полагают, что убийство совершено с целью ограбления. В качестве заподозренного в этом преступлении арестован один из многочисленных возлюбленных убитой, уже неоднократно отбывавший долгосрочное наказание, профессиональный убийца и сутенёр, по фамилии Куник, известный также под кличкой «Боксёр». Все сведения, могущие служить выяснению дела, просьба направлять по адресу Мюнхенского полицейского управления».

«Один из многочисленных возлюбленных» — от этих слов я не мог оторваться, пока отец не отобрал у меня газету.

Отец явно наслаждался моим видом, я стоял с открытым ртом, не в силах перевести дыханье.

«Фанни! Фанни!» — беззвучно звал я на помощь, кто-то дытил мне в лицо папиросой, и дверь в магазине непрерывно дребезжала — дзинь!

— Ну, чего ты рот разинул? Говорил я тебе или нет? Это всегда кончается эшафотом...

Сознание, что его пророчества сбываются, делало отца снисходительным.

— Завтра утром, в десять часов, ты явишься на допрос к следователю. Мама ничего не должна знать, она не перенесёт такого позора. Да и перед своими приятелями попридержи язык, иначе будет грандиозный скандал. Послушайся хоть раз своего отца! Как видишь, полиция уже производит розыски, от неё ничто не укроется. Будут приняты все меры, чтобы твоё имя в деле не фигурировало, иначе все мы будем поставлены

перед обществом в немыслимое положение... Чего-чего только не приходится переносить из-за тебя твоим бедным родителям?! Ну, скажи сам: разве твои родители заслужили это?!

— Да-да! Это могло кончиться много хуже,— вынужден был я согласиться. В эту минуту вошла мать, и отец ловко перевёл разговор на мои школьные запятия.

Где-то глубоко во мне шевельнулся довольный смешок. Я хотел было не заметить его, да не тут-то было, вот уж он вырвался наружу злобной широкой усмешкой. «Собственно, вышло совсем не плохо. Что было бы, если бы Куник не...» Злобная усмешка скрылась... «Что вы желаете?»—мысленно старался я произнести голосом Фанни. И— «меня зовут Фанни».

Сладостная горечь пронзила меня— брусника...

Обер-прокурор д-р Гастль, провожая своего сына, Золотко, на допрос в министерство юстиции,— в школу он сообщил, что сын его заболел и поэтому не придёт,— старался по дороге лишний раз внушить ему, что он должен говорить на допросе. Нет никакой необходимости припоминать всё, как было. Не доходя до фонтана Виттельсбахов, он остановился со своим сыном посреди бульвара и стал экзаменовать его.

— Если следователь спросит: «Но как же, молодой человек, могло случиться, что вы, сын почтенных родителей, получивший первоклассное воспитание, связались с особой самого низкого пошиба?»— ну, что ты ответишь? Следователь наверняка это спросит. Ну-ка, подумай... Не знаешь?.. Не полагаешь ли ты, что тут сказалось дурное влияние, ну-ка угадай, чьё дурное влияние... Гартингера?! Нет?.. Ну, хорошо, в таком случае мне придётся поговорить на эту тему... Дальше: о чём уславливались в твоём присутствии убийца и эта уличная девка? Имей в виду, что квартирная хозяйка уже побывала в полиции и сообщила, что вы втроем провели вместе не меньше часа.

— Фанни, вернее, фрейлейн Фусс...

— Надо говорить: «Эта Фусс», и никоим образом не «Фанни», да и «фрейлейн» советую оставить при себе... Эта Фусс завлекла тебя к себе в комнату, напоила допьяна, а что происходило потом, ты вообще не помнишь... Деньги она у тебя брала?!

— Фрейлейн Клер...

— Ты хочешь сказать «эта Фусс»? Запомни, наконец!

Пусть я вынужден говорить «эта Фусс», но мне хотелось хотя бы воздать Фанни должное.

— Эта Фусс пригласила меня в ресторан, я хотел вернуть этой Фусс истраченные деньги, но эта Фусс сделала вид, что обиделась, вот я и остался в долгу у этой Фусс.

— Какая низость с её стороны, это бросает на тебя тень, сле-

следователю незачем это знать. А если бы вопрос о деньгах всё-таки всплыл, то тебе следует сказать, что позже, на улице, ты вернул этой Фусс её деньги... Кстати сказать, в высшей степени благородно — принимать угощение от бывшей кельнерши...

Прежде чем меня вызвали, отец ненадолго зашёл к следователю, чтобы предварительно потолковать с ним. Судейский курьер, пропуская меня к следователю, низко поклонился.

Позади стола висел огромный портрет принца-регента, голова следователя едва доходила до нижнего края безвкусно раззолоченной рамы. На меня глянуло лицо с рыхлым, как пемза, носом, сплошь покрытое шрамами. Следователь предложил мне сесть, застегнул на все пуговицы сюртук на распяленном пивом брюхе, наточил карандаш, осмотрел свои ногти и подавил зевок.

— Ну-с, молодой человек, расскажите, как случилось, что вы, сын порядочных родителей, вступили в связь с особой самого низкого пошиба... Ничего, не торопитесь, подумайте спокойно, прежде чем ответить... Вы выступаете, правда, не в качестве обвиняемого, но ваши показания могут пролить свет на интересующее нас дело... Так вот, скажите, молодой человек, известно вам что-нибудь о ваших взаимоотношениях с неким Гартингером? Ну, вот видите, очень отраднo, что вы так открыто признаёте это... Не говорил ли Куник, между прочим, о своём сочувствии социал-демократам, или, может быть, — и в этом вопросе вы могли бы оказаться единственным авторитетным свидетелем, — убитая Фусс рассказывала вам о таких его настроениях?.. Вы можете говорить совершенно спокойно, вам не грозят никакие осложнения, наоборот, мы прекрасно понимаем, что вы не хотите выдавать друга или, вернее, отца своего друга, но речь идёт о чём-то гораздо более высоком, чем дружба, воздайте же должное истине... Имейте в виду, что Гартингер-старший очень опасный человек, он помешан на этих своих идеях... Он вас никогда не пытался совратить? Никогда?.. Не предлагал вам выкрасть у отца папки с делами? Ни разу? Никогда не говорил, что нужно бы кайзера... Никогда? Почему он именно с вами так подружился, этот вопрос не приходил вам в голову? Нет?.. Итак, Фусс сообщила вам по секрету, — ведь это соответствует действительности, не правда ли? — что Куник сочувствует социал-демократам, — ведь это верно, не правда ли? Вы видите, я формулирую коротко, мы сразу всё это занесём в протокол, — а более точных сведений о характере этого сочувствия она вам не сообщала?! Кстати, это благоприятно отразилось бы на решении судьбы Куника, если бы удалось установить некоторое влияние на него со стороны этой братии... Вы, конечно, знаете,

чем пахнет убийство с целью ограбления? Да и не исключено, что Куник сам сделает признание в этом смысле,— ну, неужели вы ничего такого не припомните?! Жаль, да и странно, и даже подозрительно, молодой человек, что память изменяет вам как раз в этом пункте... Но погодите-ка, раз речь зашла уже об этом, то не припомните ли вы другой вещи,— дело было, правда, давно, однако возможно, что это даст нам нить. Я могу освежить этот случай в вашей памяти. Ученик по фамилии Кезборер — припоминаете? фамилия такая, что легко запоминается,— показал в своё время комиссии, посланной министерством просвещения, что Гартингер-младший подбил вас на кражу, ссылаясь на слова своего отца: «У кого за душой ничего нет, тому и красть дозволено». Это верно, что Гартингер-младший хотел таким образом склонить вас на кражу?

— Нет.

— Предупреждаю, вы запутаетесь в противоречивых показаниях. В своё время перед членами комиссии вы не отрицали этого факта.

— Совершенно верно. Перед членами комиссии я не отрицал этого факта. Но мой товарищ Гартингер никогда ничего подобного не говорил. Я очень хорошо знаю, господин следователь, что я запутался в противоречиях.

— Ах, вы из таковских! Ну, значит, вашему глубокоуважаемому отцу можно только выразить глубокое соболезнование.

Тут следователь встал, внезапно преобразившись из толстого снисходительного обольстителя в неумолимого обвинителя, и закричал на меня срывающимся голосом:

— Одумайтесь, молодой человек! Не смейте так нагло отпираться, молодой человек! Извольте выложить всё, что вам известно, молодой человек! Извольте, наконец, дать полезные для следствия показания, молодой человек!..

Только после этой тирады ему удалось выдавить из молодого человека:

— Я не намерен, господин следователь, навлекать подозрение на невинных!

Следователь выступил из позолоченной рамы, обошёл вокруг стола и двинулся прямо на молодого человека, пронизывая его таким страшным взглядом, что эта наигранная грозность едва не заставила меня расхохотаться.

— Ого! Вы далеко пойдёте! Какое упорство! А мы-то—ваш почтенный отец и я — принимаем все меры, чтобы помочь вам выпутаться из этого дела... Я мог бы избавить себя от встречи с вами... Вопрос окончен. Ступайте!

В коридоре следователь обменялся с отцом несколькими словами. По дороге домой отец растерянно молчал и только у самого дома он заговорил:

— Я всё меньше и меньше тебя понимаю. У тебя, повидимому, с головой что-то не ладно. Толкуешь тебе, толкуешь, и всё попусту! Не дать ни одного полезного показания! К чему это приведёт в конце концов?!

То, что он не стал навтыяжку перед следователем, а сохранил стойкость, позволило теперь Молодому человеку твёрдо ступать рядом с отцом, точно стойкость была тем мостом, который вводил от пропасти.

Отец стоял в гостиной, на большом пушистом ковре, мать открыла буфет: оттуда блеснуло столовое серебро...

Нет, и в этом я больше не сдамся: я никогда больше не скажу эта Фусс.

## XI

— «Мюнхенские новости» читали?— орал Фек на весь класс.— Пристукнули эту потаскуху из табачной лавочки у Костских ворот... Десять марок она у меня вытянула, стерва...— Фек показал мне газету.— А ты прозевал интересное знакомство, и поделил тебе: не послушался моего совета... Был бы сейчас тоже «одним из её многочисленных возлюбленных»... Что, выкуси? — Ты страшно остроумный мальй...— бросил я ему и вышиб у него из рук газету.

— Что это значит?— насторожился Фек, почуяв что-то.

— Да ничего, ровно ничего, я просто так...— А может быть, он не такой уж противный,— я смерил его взглядом,— одет всегда с иголочки, и Дузель он, пожалуй, немножко любил когда-то...

Подозрения Фека рассеялись:— Надо прямо сказать, это просто счастье. Мне здорово повезло... Ведь я познакомился у неё с этим молодчиком...

— Так что же у вас было с этой — из табачной лавочки?— спросил я коварно. Я хотел сделать себе больно, я знал, что каждое слово Фека заставит меня корчиться от боли.

— Ах, доложу я тебе,— с готовностью стал выкладывать Фек,— всякая охота могла пропасть, пока дотопаешь к ней по лестнице. Она была когда-то танцовщицей. И был у неё дружок, Боксёр,— тот самый, который её потом и кокнул,— так вот она никак не могла от него избавиться. Сначала мы зашли в пивнушку. Форменная комедия была, как она всё искала подходящее местечко! А в общем, ничего особенного, такая же, как все. Десяти марок она не стоила. К тому же она без конца твердила о смерти.

На этот предмет, сказал я ей, пусть поищет себе другого. Вот ты бы ей подошёл в самый раз. Так уж всегда бывает, когда не слушаются друга. Такого, как ты, она всю жизнь ждала.

— Так, так,— пробурчал Золотко, как недавно его отец, и— гм-гм,— промычал он и отошёл от остроумного малого.

После занятий я долго кружил по городу, я шёл за гробом Фанни.

Впереди гроба реяли чёрные флаги, позади несли венки Бело-голубые флаги, сданные в красильню как траурный заказ, выкрашены были вне очереди. Прохожие на улицах останавливались и снимали шляпы. Завидев процессию, добродетельные отцы семейств спасались бегством в подъезды ближайших домов или на соседние улицы, руками или портфелями закрывали лицо; чтобы гроб не узнал их, но чёрные флаги развёртывались во всю ширь, и надпись светящимися буквами гласила: «Убийцы, вы загубили её!» Кельнерши из кабачка «Бахус» шли за гробом, все в коричневых юбках и красных блузах. Квартирная хозяйка Фанни, которая по утрам стучалась к ней со словами: «Какако готово, фрейлейн», шла вместе с кельнершами, напрасно стараясь удержать прямо плакат с надписью: «Нашей незабвенной Белоснежке»; плакат качался из стороны в сторону, так плакала она, квартирная хозяйка, чиновничья вдова Кресценция Шарнагель, добрая старушка,—ведь Фанни не заплатила ей за три месяца, а Грубошёрстное пальто отказался покрыть оставшиеся за Фанни долги, хотя до сих пор всегда это делал. Но вот, с карточкой подмышкой и с подносом, на котором были любимые фаннины блюда—грибы с клёцками и на десерт брусника,—к процессии приблизился кельнер из пивнушки. От искрящихся солнечных лучей, щедро падавших на гроб, казалось, что он обвешан лёгкими, сверкающими покрывалами. Его несли на плечах два атлета, те, что на плакате, у них были такие же, похожие на окорока, руки. Огромные, голые бёдра атлетов перевязаны были бело-голубыми шарфами, а спереди наготу прикрывал фиговый листок. И икры у них были, как окорока. Атлеты несли гроб на вытянутых руках, словно он был лёгкий, как перышко, они высоко подбросили его в воздух и ловко подхватили его снова через несколько шагов. Хоть гроб и не был стеклянным,—он был из чёрной ткани, напоминающей вуаль,—зато Фанни легко дышалось в нём, и она могла глядеть во все стороны, оставаясь невидимой. Часто казалось, что гроб поднимается над плечами атлетов и плывёт по воздуху. Заиграла похоронная музыка—это завели огромный музыкальный ящик, поставленный на колёса; четыре пары белых лошадей везли его, словно королевскую карету. Процессия двигалась впе-

рéd, вальсируя. Пушистый ковр из нашей гостиной стлался под её ногами, уходя в бесконечность. Все двери в магазинах звенели «дзинь!» и, вместо ладана, пахло табачным дымом. Золотко нёс на подушке альбом с фанниними фотографиями. Христина нашла ему на левый рукав, чуть повыше локтя, чёрный креп. За гробом следовал буфет со сверкающим серебром и чёрная ширма с павлином, за которой Фанни переодевалась. Боксёра Фанни простила и, при условии, что он оставит её в покое, позволила ему присутствовать на похоронах. Боксёр, этот гад, расстегнул на груди рубаху и так шёл всю дорогу. Синяя татуировка на его груди улыбалась, мерцая: «Что вы желаете?» Дамы из кабачка «Бахус» подхватывали в унисон: «Меня зовут Фанни». Грубошёрстное пальто, эта мразь, тоже припёрся. Он показывал плакат с надписью: «Закрýто по случаю траура», который по его заказу изготовил живописец из мастерской против табачной лавочки: плакат сегодня ещё надо было повесить над дверью. За гробом вели прокурора, того самого мучителя, какого поискать надо, который всё жаловался, что Фанни недостаточно жестока с ним, а также Остроумного малого. И тот шёл за гробом, милый, далёкий. Он шёл один, особняком от всех. Но казалось, что он идёт с Фанни рука об руку... И все мы превозносили Фанни, прославляли и хвалили её. Весь мир вспоминал многие и многие добрые дела, которые совершила Фанни, несмотря на греховность своего жизненного пути.

Мы уговорились с Левенштейном встретиться в субботу под вечер в Английском парке, у водопада. — Там нам никто не помешает, это самое надёжное место. У меня к тебе очень важное дело! — Левенштейн потребовал от меня честного слова, что всё это действительно всерьёз и что я приду один. Он, по-видимому, опасался, как бы я не пришёл с Феком и Фрейшлагом и как бы мы не учинили над ним какой-нибудь гадости.

Когда я с фон-дер-Таннштрассе свернул в Английский парк, меня густо облепили влажные клочья осеннего тумана. Всё точно окутано было сквозной дымчатой ватой, прохожие, одинокие покашливающие тени, бесшумно скользили мимо.

Водопад глухо бурлил. Кроны деревьев, как будто низко срезаемые туманом, расплывались, тонули в бесформенной мгле. Туман, обманывавший глаз своей серой однотонностью, непрестанно менял очертания: вздувался пуховиками, нависал завесами. В мире тумана роились призраки, там велась какая-то недобрая игра. Чёрная паутина тумана напoлзала из кустов на скамью, которую я не сразу разыскал.

Я затеял с собой разговор, густо пересыпая его остротами и едкими замечаниями, чтобы помешать появлению духов, которые

приближались к моей скамье, помавая в воздухе покрывалами и лентами.

— Я тебе свиданья не назначал, уходи, пожалуйста!—сказал я Фанни, опустившейся рядом со мной на скамью. Я подобрал ноги, под ними что-то булькало, словно на Изаре, когда вода прибывала. Ведь и Дузель и Газенэрль могли скрываться где-то здесь, поблизости, обречённые на вечное парение в тумане за свой прыжок с Гроссгесселоэского моста.

На скамье было достаточно места для многих.

Когда, бывало, летним вечером я оставался один на этой скамейке, скрытой в чаще деревьев и кустов, и водопад добродушно бормотал что-то своё, и в воздухе разлиты были одуряющие ароматы, а сквозь густые верхушки деревьев то тут, то там проглядывала звёздочка,— тогда я широко раскидывал по спинке скамьи руки, точно приглашая хороших людей посидеть здесь со мной. А теперь я беспокожно ёрзал по всей скамье, пытаюсь вспугнуть призрачные ужасы, носившиеся в тумане. «Разрешите, молодой человек»,—дохнул на меня из тумана бесплотный господин и «Не найдётся ли тут свободного местечка?»—прошестела следом бесплотная дама.

— Алло! Алло!—кричал я, обороняясь от наседавшего на меня страха.

Я пришёл за полчаса до условленного времени. Левенштейну тоже хорошо знакома была эта скамья, однако я опасался, как бы он не заблудился из-за непогоды. Сложив рупором руки, я бросал в нависшую стену тумана:

— Алло!

Туман струился. Никакого отклика.

— Ал-л-л-л-о!—кричал я снова и снова. Точно призывные звуки рога в тумане.

Прошло уже с четверть часа после условленного времени. Я решил в последний раз крикнуть, но тут послышалось отдалённое, неясное — «Алло!»

— Алло! Я слышу тебя!—раздалось уже поближе.

— Алло! Где ты? Ты один?—доносились отрывистые призрачные возгласы.

— О-о-д-и-и-и-и-и!—крикнул я раздельно, словно для того, чтобы раздвинуть туман.

— Честное слово?—опрашивала меня туманная мгла.

— Честное слово!—эхом откликнулся я в туман.

И снова заструилась тишина. Потом туман сгустился, от него отделилось тёмное пятно, и, предшествуемый клочком тумана, передо мной предстал Левенштейн.

— Садись! Садись!—я полой пальто вытер скамью подле себя.

— Ты один? В самом деле один?! Что за гнусная погода! Уже сидя со мной рядом, Левенштейн всё ещё подозрительно оглядывался, и мне пришлось опять заверить его, что в тумане никто не скрывается и что против него не готовится нападение.

— Ну что, зачем я тебе понадобился? Видишь, я пришёл. Ведь я сказал тебе, помнишь: если тебе понадобится моя помощь...

— Она мне понадобилась,—ответил я коротко.

— Так, я слушаю!

— Не скоро, очень не скоро прищел я к этому.

Очки Левенштейна запотели от тумана, он снял их и стал протирать носовым платком.

— Продолжай! Продолжай! Я слушаю.

Мне легче было говорить, оттого что он снял очки.

— Я сам себе опротивел. Я дошел до точки. Я конченный человек... Так дальше продолжаться не может... Я решил разделаться с этим раз навсегда... Должно же, наконец, притти что-то новое.

Протерев очки, Левенштейн надел их и искоса внимательно посмотрел на меня. Я повернулся к нему и сказал, глядя на него в упор:

— Я больше не могу так жить. И не хочу. Что это за мир, в котором человек не живёт, а стоит навтыяжку — перед чужой и перед собственной низостью... Но один я слишком слаб, чтобы устоять. Моих сил на это нехватает. Я живу среди круговой лжи, а стоит мне сделать попытку выкарабкаться, как она оплетает меня всё сильнее и сильнее... Но то, что я сейчас говорю тебе, я повторял себе бесконечное число раз. Мне невольно больше... Я у всех спрашивал, неужели нет выхода, но все, даже те, кто «против», молчали. Лишь один мог бы ответить, один. Но едва я открыл рот, как он, верно, подумал: безнадежный случай,— да так и оставил меня с разинутым ртом... Я спрашивал бурю, проносившуюся мимо. Но она не отвечала. Я спрашивал ночную тишину. Но она только сияла в беспредельности звёздного мира и не отвечала мне. Я спрашивал дороги, бегущие в широкий мир: куда вы ведёте? Людей, которые шли по этим дорогам: куда вы идёте? Я спрашивал у всех и у каждого, я непременно хотел допытаться. Быть может, кто-нибудь и ответил мне, а я просто не понял. В последней воле бабушки нашел я какой-то ответ, и появление хозяина трактора «У весёлого гуляки» истолковал, как ответ. И ещё я видел корабль, а отец моего друга Мопса сказал мне: «Немецкие рабочие...» Может быть, это и есть ответ? Ну, скажи же мне ты, чему поверить? Скажи! Но скажи твёрдо, с полной ясностью: что

мне делать? Я не отпущу тебя, пока ты не скажешь. Я всё у тебя выпытаю.

— Скажи, пожалуйста, в какое ты, собственно, время живёшь,—спросил Левенштейн, на этот раз открыто встретившись со мной глазами.—Чего только не происходит сейчас в мире...

— Ах, во-о-о-т как! — протянул я нараспев, но сейчас же извинился: — Прости, прости, пожалуйста, и не обращай внимания на мои глупости.

— Заря новой эры занимается! — Звонко и торжественно прозвучали эти слова в устах Левенштейна.

— Где это она занимается? Покажи мне её, эту твою новую эру! Мне уже давно не терпится взглянуть на неё! По чьей милости она занимается? В чём ты видишь, что она занимается? И что это за новая жизнь такая? Ну-ка, покажи мне её!

Я говорил раздражённо и сбивчиво, путаясь в словах, и с насмешкой тыкал пальцем в туман, чтобы вырвать у Левенштейна его тайну и узнать всё до конца.

— Когда-то я всё ждал наступления двадцатого века, да так и не дождался. Так, может быть, он всё-таки наступил? Ну, говори же, говори!

И Левенштейн поднялся, поставил одну ногу на скамью и показал рукой куда-то, словно сквозь туман.

— Социализм! — Отчётливо прозвучало это слово.

Я подскочил и схватил Левенштейна за руку.

— Теперь я тебя уже не выпущу, пока ты не выложишь мне всё, что знаешь! Берегись, если ты хоть что-нибудь скроешь от меня и не скажешь мне всей-всей правды! Но только говори просто и понятно, потому что я не очень-то сметлив и ровно ничего не знаю.

— Хорошо. Я попробую. Слушай же! — Мы сели. Я положил руку на спинку скамьи.

— Человек живёт не один. Он живёт в обществе себе подобных. Мы живём друг с другом и друг против друга, и всё совершается по определённым законам.

Я слушал, слушал Левенштейна и, наконец, взмолился:

— Стой, погоди минутку, повтори ещё раз.

Левенштейн раздельно повторил:

— Человеческое общество...

— Стой! Подожди ещё чуточку. Я ещё не усвоил!

Я повторил: «Человеческое общество», медленно, точно читая по слогам.

— Подожди! Ещё не дошло! — снова перебил я Левенштейна, собиравшегося продолжать.

Несколько минут мы сидели молча. — Теперь, пожалуйста, продолжай, но не так быстро, иначе мне не успеть за тобой!

откладывала её на тарелку и отставляла тарелку в сторону, но тут же сам и отвечал, каждый раз убеждаясь, что я не способен ответить ему.

Прокурорский сынок сразу встал во мне на дыбы, как только Левенштейн заговорил о классовой борьбе.

— Это ты брось,—сказал я,—это меня совершенно не интересует.

— Прости, пожалуйста, но это очень важно! — И, несколько не смущаясь моим протестом, Левенштейн терпеливо начал сначала.

— Ну-ну! — недоверчиво перебил я его. — И это говоришь ты, у которого отец — богатый банкир?! Ведь ты можешь иметь всё, что твоей душе угодно! Что за охота тебе связываться с рабочими? Когда Гартингер так рассуждает, это естественно! Но ты — нет, тут что-то нечисто!

— Существует только одна правда, нравится она тебе или не нравится. Это правда истории, и она против нас. Нам нельзя оставаться тем, чем были наши отцы. Настало время расстаться с удобной беспечной жизнью. Иначе мы пойдем ко дну вместе с великой ложью.

— Как ты додумался до всего этого?

— Мне помогла колбасная горбушка.

— Колбасная горбушка?

— Да, колбасная горбушка. За ужином мать срезала её. Она откладывала её на тарелку и отставляла тарелку в сторону, говоря: «Горбушку нельзя есть, она легко портится, это для Урсель. У Урсель желудок здоровее нашего...» Урсель — это наша горничная. Собственно, это не настоящее её имя. Её только называют Урсель. Всех девушек, которые поступают к нам в прислуги, мать называет Урсель. Так узнал я о классовом неравенстве.

— А ведь ты говорил, что мать у тебя вообще добрая?

— Вообще мать добрая, она прилично обращается с Урсель и подаёт милостыню нищим. Она даже состоит председательницей благотворительного общества.

— Так ты думаешь, всё ещё может измениться и мне незачем стреляться?

— Человек отличается от животного способностью мыслить. Человек, лишённый способности мыслить, — это либо отсталый, либо свихнувшийся, пропавший человек. Слышал ты о Стриндберге? Стриндберг сказал: «Человека жалко!..»

— А может быть, такого человека, как я, и жалеть нечего?

— Всякого человека жалко. Ты только страшно одичал.

Внезапно в тёмном клубящемся тумане вспыхнули далёкие огоньки.

Новая жизнь наступит. Наступит! Наступит!

Левенштейна огни не интересовали, он продолжал говорить.

— Тс! Тс! — шикнул я на него, — посмотри, какие огоньки. Помощи минутку и полюбуйся на огни. Можно сколько угодно ломать копья за социализм, но порою неврдно и помолчать, засмотревшись на огоньки. Смотри, как от света шарахается туман!

— А ты стихи не сочинишь? — иронически спросил после некоторой паузы Левенштейн.

— Да, конечно.

— Вот чего я не подозревал в тебе! Ты, и стихи!.. Значит, у меня о тебе было совершенно превратное представление. Прости!

Белым сиянием разгорался туман вокруг огней.

— Поздно уж, пойдём, пора! — Я встал.

— Ты лучше меня знаешь дорогу! — сказал Левенштейн, пропуская меня вперёд. Глухо бурлил водопад навстречу надвигающиеся ночи. — Ты идёшь? — позвал я в туман. — Я следую за тобой. Но только не беги так. — По извилистым, заросшим тропинкам вёл я его сквозь туман. — Осторожней, ступеньки! — А ты не заблудился? — донеслось до меня сзади. — Я шёл сюда другой дорогой. — Я подождал. — Я здесь. Мы правильно идём, будь покоен, это ближайшая дорога, я знаю её.

Когда Левенштейн опять потерял меня из виду и отстал, я нетерпеливо крикнул: — Чего ты зеваешь по сторонам! Ползёшь, как черепаха! — Но я вспомнил свою медлительность, когда требовалось пошевелить мозгами, и терпенье, которое проявлял Левенштейн, и тут же поправился: — Не торопись! Я вернусь за тобой, и мы пойдём вместе. — И я повернул назад, и так как тропинка стала шире, повёл Левенштейна за руку. — Мне нужно протереть очки, — сказал Левенштейн, останавливаясь. — Мне нужно достать носовой платок. — Он опять остановился. — Слушай, мне кажется, когда я протирал стёкла, я потерял носовой платок. — Жди меня здесь и время от времени окликай, я поищу платок. — В поисках платка я дошёл до водопада, по здесь Левенштейн не мог его потерять, он начал протирать очки много дальше. Так где же он их протирал? Чуть ли не ползая на коленях, всматривался я в скрытую туманом дорожку. «Однако это уж чересчур», — вскипело всё во мне, что я ниже пригнулся к земле, продолжая поиски носового платка. «Ты найдёшь этот носовой платок, чего бы это тебе ни стоило». — Алло! — кричал я временами, откликаясь на алло Левенштейна. Наконец я нашёл белеющий лоскут. Я размахивал платком в тумане: — Алло, я иду к тебе, платок у меня в руках!.. — Потом опять

мне пришлось дожидаться. Далеко позади шёл Левенштейн сквозь туман и пел.— Аллю, я здесь, сюда!— С песней шёл Левенштейн сквозь туманную ночь.— Что ты там поёшь?— Ты разве не знаешь «Интернационала»? Постой, я спою его тебе.

Сначала я чуть не расхохотался, глядя на Левенштейна, как он стоял, окутанный туманом, и пел. Он то и дело кашлял, фальшивил, сбивался с текста, повторял целые строфы. На последней строфе я уже подхватил припев.

Точно с невидимых туманных высот доносился голос Левенштейна, и туман клубился, и огни мигали.

Мы словно перенеслись в первые дни творенья. Из окружающего нас мрака времён вставал свет и прогонял тьму. Древние страхи, обступавшие нас, рассеялись перед лучами занимающегося света.

«Корабль! Целый корабль!»— ликовал я. Разве это не его огни загораются в море тумана?! Корабль! Целый корабль! Я только забыл спросить у Левенштейна название корабля.

Подняв воротники пальто, мы быстро вышли из Английского парка.

— Спасибо! До свиданья,— попрощался я с Левенштейном и, придумывая, как объяснить свой поздний приход, быстро зашагал домой.

Социализм. Человеческое общество. Классы... классовая борьба. Заря новой эры занимается. Интернационал. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мне казалось, что слова эти вознесены на столбах света и что через пучину, ещё неясный в своих очертаниях, воздвигся мост.

В один из ближайших дней я сидел в своей комнате и тихонько напевал «Интернационал»; припев — «Это есть наш последний...» — я громко насвистывал. Когда отец рванул мою дверь и спросил:— Кто это там свистит?— я ответил:— Кто-то всё время напевает и свистит, не то наверху, не то внизу, а может быть, рядом, слышно через стенку.

— Неслыханный скандал!— отец оставил дверь открытой и крикнул в кухню:

— Христина, это вы пели?

— Я бельё полощу, ваша милость, я ничего не слышала.

Отец отворил дверь в спальню, где мать складывала бельё.

— Ты пела?

— Я привожу бельё в порядок. Мне кажется, это наверху.

— Наверху? У обер-пострага?! Христина, сходите-ка наверх и спросите, кто это пел!

Господин обер-прокурор распахнул все двери в доме, а сам вышел на балкон и стал прислушиваться, то задирая голову вверх, то перегибаясь вниз через перила.

Глухим деланным басом я снова запел: «Вставай, проклятьем заклеймённый...»

— Теперь я отчётливо слышу это мерзкое гуденье! — крикнул отец с балкона.

— Похоже, что это внизу, в квартире майора Боннэ,— прокричал я в открытую дверь.

— Да, и мне так кажется,— подтвердила из спальни мать.

— Невозможно, совершенно невозможно! Вздор! Вздор!

— Ваша милость,— сказала Христина, вернувшаяся от обер-пострата,— господин обер-пострат изволили сказать, что они хорошо слышали, будто пели у нас.

— У нас? Ну, тогда, значит, это только ты и мог петь! — накинулся на меня отец.— Мы это сейчас же выясним.

Господин обер-прокурор стал со мной рядом. С минуту я стоял возле него молча, прислушиваясь. Вдруг где-то в доме послышался свист, трудно было понять, откуда он — сверху или снизу, а потом мне показалось, что он доносится с крыши, на которой работали кровельщики.

Я схватил отца за руку.

— Слышишь, она доносится со всех крыш! Ах, эта песня! Что за песня! Слышишь! Слышишь!

— Ключ от чердака, Христина! — бурей влетел отец в кухню.— Живо, на крышу! На крышу!

— Корабль! Целый корабль! — крикнул я ему вслед.— Начинается новая жизнь!..

## XLI

Без четверти двенадцать отец принялся зажигать на ёлке свечи.

В этот раз на «скромную встречу Нового года в узком семейном кругу, после ужина» у нас собрались обер-пострат Нейберт с женой и майор Боннэ, всё ещё остававшийся холостяком.

Я сидел рядом с майором Боннэ, которого мать настойчиво уговаривала отведать также и пирожков домашнего изготовления, в то же время усиленно убеждая обер-пострата Нейберта уделить больше внимания шоколадным ракушкам.

Отец взобрался на стул, чтобы зажечь самые верхние свечи на ёлке. Словно обвешанный леденцовыми сосульками, яблоками и орехами, отец говорил сквозь ветви новогодней ёлки,— а сверху, над ним, из стороны в сторону качался ангел.

— Что касается меня, то в случае объявления войны я бы в первый же день, не задумываясь, переарестовал всех вожаков и поставил их к стенке.

Майор Боннэ с пирожком в руке:

— А я предложил бы вожакам принять участие в войне и одобрить военные кредиты.

— Ну, плохо же вы знаете этих господ,— качнулся отец вместе с ангелом. Все свечи горели.

Майор Боннэ съел пирожок и отвесил поклон в сторону матери:— Первый сорт, сударыня, в самом деле замечательно!— и тут же снова обратился к отцу:— Если мы только сумеем воодушевить народ на войну, вожаки вынуждены будут уступить. Впрочем, насколько я их знаю, в случае войны они все, за очень небольшим исключением, вспомнят, что они прежде всего и помимо всего — немцы, в особенности, если будет идти речь о России. Ведь даже старик Бебель сказал: если придётся идти против царя, я сам возьму винтовку в руки.

Отец вернулся к своему месту за столом и благодушно уселся.

— Я, знаете ли, никак не могу освоиться с этими современными формами правления.

— Нам придётся привыкать ещё и к архисовременным формам, если только мы хотим удержаться наверху. В наши дни силами одного лейтенанта и десятка солдат уже, пожалуй, не разгонишь германский рейхстаг...

— То, что именно вы так говорите, господин майор, этого я действительно не могу понять,— включился в разговор обер-пострат Нейберт. Елка сияла всеми своими огнями, и на миг водворилась тишина. От огня на ёлке опять потеплело и засветилось лицо дедушки на портрете, всё ещё висевшем над комодом. Взгляд дедушки словно искал чего-то среди нас.— Ты ищешь прекрасное?— спросил я, здороваясь со старым портретом.— В нашем кругу ты вряд ли найдёшь его... Я расскажу тебе потом о бабушке и о её последней воле.

— Вот в том-то и дело, что именно я, военный, говорю это,— снова взял слово майор.— Как известно, в нашей армии представлены все сословия. В своей подавляющей части армия это то же население...

— Но ведь мы в конце концов не в России!— решительно перебил его отец не терпящим возражения тоном.

— А патриотический подъём, в дни празднования столетия освободительных войн? Я имею в виду прошлогоднее торжество в Лейпциге, у памятника Битвы народов,— стоял на своём обер-пострат, явно не желавший обременять себя тревогой.

Но майор Боннэ не сдавался:

— Два года назад социал-демократы вступили в рейхстаг

со ста десятью мандатами. Офицерство само подрывает свой авторитет семейными и всякими другими скандалами. Неужели вы думаете, что такие факты, как выступление этого графа Вольф-Меттерниха с женой в салонной комедии Камерного театра в Берлине не сеют в умах смятения, а это смятение не даёт себя немедленно знать в армии? А уж о шуме, поднятом частью нашей прессы в связи со скандальным делом Эйленбурга, лучше и вовсе умолчать. Нет, уж что-что, а дисциплина заметно падает...

Заметное падение дисциплины, о котором упомянул майор, всполюшило всех.

— Да, если уж дисциплина...

— Дисциплина необходима...

— Дисциплина — это всё...

— Дисциплина — это главное! Дисциплина! — смешались голоса в взволнованном хоре.

— Дисциплина! — скомандовал отец и ударил кулаком по столу.

— А что вы полагаете насчёт жёлтой опасности, господин майор? — ввязалась в разговор супруга обер-пострата Нейберта.

— Нам угрожает красная опасность, чёрная опасность и жёлтая опасность, — сказал майор Боннэ, всё ещё не выходя из рамок учтивости, — как видите, опасности всех цветов...

— Но ведь вы не станете отрицать, — снова подал голос отец, — что, в случае войны с Францией, мы не позже, чем через шесть недель будем в Париже!..

— Ну, конечно, в наше время война никак не может продолжаться больше нескольких месяцев, — с облегчением изрёк господин обер-пострат Нейберт.

— Мольтке ещё в 1870 году сказал, что самым опасным испытанием для Германии может оказаться одновременная война с Францией и Россией! — твёрдо произнёс майор Боннэ, словно это был его символ веры.

Он посмотрел на часы и поднял свой бокал.

— Милостивые государыни и милостивые государи!

— Можно позвать Христину? — тихо спросил я мать. Мать налила пуншу в бокал: — Нет, сегодня не стоит. Отнеси ей её пунш на кухню и передай от всех нас пожелание счастливого Нового года!

С улицы уже доносился колокольный трезвон.

— Милостивые государыни и милостивые государи, за что же мы чокнемся?! — Майор Боннэ водил своим бокалом по кругу.

— Ступай к Христине и немедленно возвращайся, мы сейчас чокнемся! — И мать открыла передо мной дверь. — Да смотри, не пролей!

В коридоре до меня ещё донёлся голос обер-пострата Нейберта.  
— Всё обойдётся. Главное — спокойствие.

— Ура! Ура! Ура! — Но я был уже у Христины на кухне и не мог оттуда разобрать, за что они там пили.

— За то, чтобы наступили новые времена! — громко прозвучал отцовский голос.

— А, ваша милость!..

Христина сидела в тёмной кухне у окна.

— Брось ты это, Христина, не надо! Я зажгу свет.

Её сморщенные губы шевелились, заскорузлая кухарочья рука придвинулась на подоконнике ко мне поближе.

— Чего ты пожелала в Новом году, Христина?

— Мира на земле.

— А там, в гостиной, все твердят о войне.

— Тс! Всё будет по-новому.

— А знаешь ли ты, Христина, что такое социализм?

— Господи ты боже мой, это ещё что за штука?

— Заря новой эры занимается! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

— Дай бог!

— Скажи, Христина, тебя зовут Христина?

— Христина.

— А ещё как?

— Фаслер.

— Значит, Христина Фаслер.

— Нет, это что-то не подходит... Погодите-ка минутку. Я должна подумать. Христина Фаслер. Нет, что-то не так.

— Тебя от рождения зовут Христина?

— Нет, не от рожденья. Но давно уж, очень давно.

— Как тебя раньше звали?

— Упаси боже, господа узнают, что я вам сказала.

— Бабушка тоже называла тебя Христиной?

— Да, блаженной памяти их милость тоже называла меня Христиной.

— А как звали девушку, которая до тебя служила у бабушки?

— Христина. Тоже Христина. О, блаженной памяти их милость была очень добра ко мне, я её ни с кем не сравняю. Я никому не позволю худого слова о ней сказать.

— А как тебя когда-то звали, ты совсем не помнишь, Христина?

— Это было так давно, так давно.

— С сегодняшнего дня ты должна говорить мне «ты», Христина, слышишь...

— Ах, ваша милость всё шутит... Нашему брату...

— Двадцатое столетие наступило. Заря новой эры занимается, Христина, ты должна говорить мне «ты». Мы с тобой товарищи.

— Тс! Тс! Ах, если бы ваш покойный дедушка дожид до этого! Он тоже был такой. Он всегда стоял за нас...

— А слышала ты когда-нибудь гимн, который они поют? Нет, не слышала? Ну, так я сейчас спою тебе!

Я взмахнул руками, как дирижёр, и тихо начал: «Вставай, проклятым заклеймённый...»

Руками я отбивал такт, и по мере того, как усиливался новогодний трезвон и чаще становился треск хлопушек, я пел всё громче и громче. Мне чудилось, что новогодняя ночь, с её хлопушками и перезвонном колоколов, вплетается в великий хор, которым я дирижировал. И Христина шевелила губами, не зная, что это та самая запретная песня, которая причинила отцу столько беспокойства, и кивала в такт головой. Я пел во весь голос, точно всё моё существо только для того и было создано, чтобы петь эту песню. На мгновение я останавливался и радостно улыбался, мне чудилось, будто снизу, из сада, доносятся звуки гармонии Ксавера, а в воздухе я чувствовал лёгкое дрожанье, вызванное отдалёнными взмахами качелей. Широко раскинув руки, я обращался во все стороны, я кивал наверх звёздам, чтобы и они запели, я пел, обращаясь к городу, приглашая и его присоединить свой голос к общему хору. Могучее, как буря: «Это есть наш последний и решительный бой», было мне ответом. Пел звёздный мир, пел мир человеческий. Отвернувшись от окна, я обратился к кухне, к шкафу, в котором стояли стаканы, тарелки, горшки и миски,— я и их звал присоединиться к этой священной песне, и вещи, точно откликаясь на мой голос, зазвенели и запели.

— Христина, милая, милая ты моя Христина! — И Дирижёр присел к Безьямной.— Вы так хорошо пели и дирижировали,— сказала она,— что я с удовольствием буду зваться Христиной.— Я спросил:— Почему ты не пьёшь своего пунша, Христина, он не плох, поверь мне, не плох...

На плечо мне мягко легла чья-то рука.

— Не так громко, тебя слышно даже на балконе. Ну, а теперь пойдём!

Я последовал за матерью, онемев от изумления.

Важно и осанисто стоял отец на балконе, как будто желая сказать всему миру: «Немалого я достиг собственными силами, вот пример для вас»,— а не столь осанистый обер-пострат Нейберт, казалось, горестно недоумевал, отчего за все эти годы ему так и не удалось добиться повышения.

— Где ты пропадаешь?— спросил отец.

— Он не совсем хорошо себя чувствует,— ответила мать за меня. Небо расцветилось вспышками ракет, кое-где на балконах пускали фейерверки.

Я ещё весь был под впечатлением загадочного поведения матери, когда майор Боннэ протянул мне бокал пунша.

— Молодой человек, чокнемся за немецкую молодёжь!

Бокалы зазвенели.

Это «дзинь!» перенесло меня в далёкое-далёкое прошлое, оно превратилось в назойливый пансионский трезвон, и в «дзинь!», с которым сменяли друг друга виды в панораме, и звон краденной кучки монет в моём кармане; позвонив, воспоминания входили в открытые двери и присоединялись к шуму на балконе: вот Ксавер, фрейлейн Клерхен, Мопс и Гартингер, Левенштейн и Христина — до сегодняшнего дня она только прозывалась Христиной, а сегодня это стало её настоящим именем,— звон разбудил Фанни, спавшую глубоким сном, и она снова задымила мне в лицо папиросой — все они пришли незванные, и, к ужасу отца, даже бабушка в своём чёрном шёлковом платье явилась сюда вместе с хозяином трактира «У весёлого гуляки», и я слышал, как бабушка прошептала, как в ту новогоднюю ночь, с которой началось новое столетие: «Пожелай, чтобы наступила новая жизнь».

Тут и в самом деле раздался звонок, и через столовую, отбивая шаг, промаршировал тот самый господин, который при нашей встрече в Английском парке в некий новогодний день всё посмеивался: «Хе-хе». Выйдя на балкон, он молодежато вытянулся перед отцом.

— Отчего так поздно? Где вы оставили свою супругу?

Снова зазвенели бокалы, и оберландс-герихтсрат Мауермейер засмеялся:

— С большим трудом удалось вырваться; я, так сказать, на одной ноге, внизу меня ждёт извозчик, я должен немедленно вернуться! У нас, ренанцев, сегодня тоже встреча...

— Вот это мило! Молодчина!

Все окружили отца.

— *Gaudeamus igitur...*

— Все, все хором. Ты почему не поешь?— кивнул мне отец; и я, подхватывая за пими то одно, то другое слово, в пику им запел «Интернационал».

— Да-да, мы, старые корпоранты...— мечтательно бросил отец в потускневшую ночь. Новый гость поставил свой бокал на стол.

— Обновление — вот что нам необходимо.

— Что касается меня,— сказал отец, слегка свесившись с балкона,— то я бы только приветствовал войну.

Оберландс-герихтсрат Мауермейер снова поднял бокал.

— Совершенно с вами согласен, немецкому народу пора вспомниться!

— Человек, возьмись за ум! — провозгласил обер-пострат Нейберт и налил себе стакан пунша.

— Какой здесь ужасный воздух! — Мать отворила окно и, точно извиняясь перед обер-постратом, у которого за эти годы ещё усилился дурной запах изо рта, добавила: — Вы чувствуете, как здесь накурено?

Я взглянул на мать, она сегодня была совсем такою, как на портрете, стоявшем на мольберте в гостиной.

— Милостивые государи, не шутите с войной, война не детская игра! — Голос майора Боннэ прозвучал энергично, почти угрожающе.

— Что вы на это скажете, — натянуто улыбнулся отец, — наш воин, оказывается, пацифист и заигрывает с социал-демократами!

— Один только вопрос, милостивые государи, — майор Боннэ стоял на пороге балконной двери, возвышаясь над всеми. Его чисто выбритое лицо с тонкими поджатыми губами казалось бесстрастным. На плечах поблескивали погоны. — Вы читали, господа, о похоронах Бебеля? Читали? И вы не задумались над тем, что за гробом шли сотни тысяч людей?.. В таком случае я, к сожалению, вынужден вам напомнить, как бы неприятно и нежелательно это ни было для всех здесь присутствующих: с этими людьми нам надо считаться, ведь воевать за нас придётся им. Подумайте же как следует над тем, что сотни тысяч этих людей получат в свои руки оружие... Нет, при нынешнем положении вещей война сопряжена с огромным риском...

— Так, значит, всё это не так просто?.. — упал в тишину испуганный голос обер-пострата Нейберта.

Все нерешительно топтались на балконе, а в воздухе ещё дрожали гулкие удары колокола церкви богоматери, в звоне которого был и мирный благовест и тревожный гул набата.

— Так больше не может оставаться, — произнесли в один голос господин Мауермейер и отец.

«Ай-ай, — смеялся я про себя, — и до чего же все упорно толкуют об обновлении! Ай-ай-ай, и до чего же никто не хочет, чтобы всё осталось по-старому. Ай-ай, гляди в оба! Ай-ай-ай, видно и в самом деле к тому идёт, чтобы всё переменялось! Внимание, господа! Погода меняется!»

Мне захотелось вскочить на стул и произнести речь. Можно прикинуться сумасшедшим и швырнуть им в лицо жестокую правду... Разве мать теперь не заодно со мной, и даже майор Боннэ употребил по адресу отца выражение «поджигатель».

Со словами: «Становится прохладно, господа», — отец настойчиво приглашал в комнаты. Большим пальцем он погасил свечи, которые ещё догорали на ёлке.

Майор Боннэ распрощался и ушёл, а господина Мауермейера отец уговорил остаться. Меня послали вниз, расплатиться с извозчиком.

Когда я вернулся, мать сказала:

— Тебе пора спать!

Мать и фрау Нейберт, сидя за рабочим столиком, раскладывали пасьянс. Они обстоятельно сговаривались о совместном посещении «Ведьмы» Вильденбруха при участии Поссарта. «Он неподражаем, этот Поссарт, он просто великолепен!» Фрау Нейберт жаловалась: — У моего мужа остаётся всё меньше и меньше времени для возвышенных интересов; мне, знаете, грустные книги не по душе, жизнь и без того достаточно печальна, я не хочу читать ничего грустного. Помимо «Практического руководителя», я подписалась ещё на «Садовую беседку», там печатается очаровательный роман, а ещё мы получаем ежемесячник «Фельгагена и Клазинга», иногда муж приносит мне «Неделю» или «Молодёжь», но право же, большая часть из того, что теперь выдаётся за литературное событие, это вопиющее безобразие, вы не находите, фрау Гастль?

Мать, казалось мне, отвечала дедаанным голосом:

— Ещё бы, я просто закалялась ходить на выставки. Вот хотя бы на-днях, в Зеркальном дворце, где обычно выставлялись солидные художественные организации, ну, что вам сказать — большей частью это просто бесстыдство. Я уже не говорю об их «баустиле» и о современных модах. Представьте, нам хотят навязать эти парижские жюп-кюлют, как будто мало прошлогодних шутовских юбочек... Нет, все эти модные выдумки не для меня. Возможно, конечно, что всё оттого, что мы стареем, но я просто отказываюсь понимать мир. Мюнхен, как город искусства, явно вырождается... Мы с мужем слушаем теперь одного только Вагнера. Советую и вам, это действует так возвышающе после всех наших будничных дразг... Я всё ещё с удовольствием вспоминаю мистерии в Оберамергау. А ведь прошло уже больше трёх лет. Там отдыхаешь душой и долго ещё живёшь под этим впечатлением...

За общим столом между тем усиленно воскрешали «доброе старое время». Когда воспоминания юности были исчерпаны и все уже наговорились о судьбе друзей и общих знакомых, — причём отец то и дело вздыхал о «невозвратных деньках», — голоса окончательно смешались, и их уже нельзя было отличить один от другого.

Ясно было лишь, что время пришло, больше чем пришло,

и что нельзя терять ни часу. Слышались возгласы:— Вот было времечко!— Ах, давайте уж лучше не вспоминать!— Я же говорю, нам, немцам, прежде всего необходимо взяться за ум.— Мы утратили веру в бога.— Голос отца опять властно ворвался в разговор:— Я, со своей стороны, твёрдо держусь того мнения, что только война может покончить с этим беззаконием и распущенностью!— Тут все заговорили наперебой, точно стараясь перекричать друг друга:

— Преобразователи мира — вот в ком зло!

— А еврей, а кёнигсбергский скандал, когда еврей осмелился провозгласить тост за кайзера!

Обер-пострат Нейберт под шум голосов указал на портрет дедушки.

— Вот, господа, воплощение доброго старого времени.

Вспомнив бабушкины рассказы, я ясно увидел, как дедушка брезгливо отвернулся.

Снова раздалась возмущённые жалобы:

— Ведь и мы были молоды, но уж нынешняя молодёжь!..

— А что вы скажете на это...— выделился чей-то голос, но отец перебил вопрошавшего:— Уже и в собственном доме не укроешься. Только сядешь за письменный стол поработать, а тебе прямо в уши насвистывают эту бесстыдную бунтарскую песню...

— Мы недостаточно энергичны!

— Энергия, милостивые государи, энергия!

— Только энергичными мерами можно заставить уважать себя!— энергично гудело за столом.

Казалось, там, за столом, готовится какое-то грозное решение. После долгих «ну и ну», «так-так» и «то ли ещё будет», снова раздался голос отца:

— Так дальше продолжаться не может. Нам нужен человек твёрдой руки!

Подкрутив усы и наморщив лоб, отец, видимо, изобразил этого человека твёрдой руки.

— Уж будьте покойны, я бы расправился с этой бандой!

«Вниманье! — смеялся я про себя.— Сейчас он, как дядя Карл, объявит войну всему миру и присоединит Америку к Германии!»

Все подняли бокалы и молча чокнулись.

— Тебе пора спать! — напомнила мать из-за своего столика.

Я сказал: «Спокойной ночи!» и пошёл к себе в комнату.

Прежде чем зажечь свет, я минутку повременил. Постоял в темноте и бесстрашно огляделся в окружавшем меня мраке. Свет был у меня в душе. Мать была со мной.

Фек и Фрейшлаг зашли за мной, чтобы вместе отправиться на карнавал. В этом году все мы избрали костюм Пьеро. Под этой маской я собирался всем говорить правду в глаза. Я решил широко воспользоваться той свободой, которая составляет привилегию шута. Пусть правда хоть раз в году, хоть под маской Пьеро, получит голос.

— Ну, вояки,—приветствовал обоих приятелей глашатай правды,—какой у вас нынче пароль: Иена или Седан, а? Глядя на вас, никак не скажешь, что вы рвётесь в бой, а уж на победителей вы и вовсе не похожи.

— Ты думаешь, верно, что сегодня можешь всё себе позволить?—проворчал Фрейшлаг из-под маски.—Но это дешевле пареной репы. Скажи лучше, читал ли ты «Морскую звезду» или «Берлин — Багдад», где описывается будущая великая война? Вот грандиозно!

Фек стоял перед зеркалом, он немного приподнял маску, голос его как бы исходил от отражения в зеркале.

— В бой вводятся воздушные корабли, целые эскадры воздушных кораблей, причём каждый корабль буксирует три других, на которых можно перевозить до тысячи человек. По воздуху будут носиться целые армии — вот это класс, верно?

Стоя перед зеркалом, Фек поднимался на носки, словно хотел прибавить себе немного росту. Горе вам,—словно говорил он, разглядывая себя,—горе вам, что я уродился коротконогим! Высокая, островерхая шляпа Пьеро как-то ещё больше пригибала его книзу; он не рос, никак не рос, даже костюм Пьеро не помогал ему. Казалось, глядя на себя в зеркало, он думал о том, нельзя ли переодеться великаном. Ребёнком он больше всего любил ходить на ходулях, его дразнили «Расти большой», и во сне он всегда видел себя страшно высоким.

В дверь постучались, и на пороге показалась Христина.

— Молодых господ просят в гостиную.

— Оказывается, в домах судейских крючков даже гостиные водятся! — съязвил Фек.— А у нас дома можно спустить штаны в любой комнате, для этого не нужна гостиная.

Фрейшлаг закашлялся от смеха.

Отец ждал нас в праздничном сюртуке, мать с какой-то излишней угодливостью спросила, не нагуляли ли себе молодые люди аппетита. В первый раз в жизни я видел, как мать унижалась, она говорила каким-то льстивым, смиренным голосом, какого я раньше у неё не замечал. Мне было стыдно за моих родителей, меня возмущало, что они так увиваются за этой парой.

— Вот это я одобряю!— сказал отец, когда Фек и Фрейшлаг в один голос заявили о своём решении пойти в военное училище, сразу же по окончании школы.

— А мой сын, к сожалению, ещё не знает, на что ему решиться, я возлагаю надежды на ваше благотворное влияние. Вот пример для тебя!— метнул отец презрительный и суровый взгляд в мою сторону.

Тут глашатаю правды под маской Пьеро представился случай высказать несколько горьких истин. Он мог бы заявить: «Мне брать пример с этой сволочи? И не подумаю». Но смелый глашатай правды промолчал. У смиренного же нашлась отговорка: я приберегу правду до другого раза, правда от меня не уйдёт.

— Господин советник!— в голосе Фека звучали покровительственные нотки.— Я знаю вашего сына, это благородный человек, благородный с головы до пят. Он доставит вам ещё немало радости. Вы будете гордиться им...

Польщённый отец положил мне руку на плечо.

— Приятно слышать... Ну, что ж, будем надеяться! Если он только захочет...

Но и я был благодарен Феку, что он так расписал меня отцу...

Отец, видимо, был совершенно пленён этой парой. Родители Фека и Фрейшлага занимали такое положение в обществе, о каком мои родители могли только мечтать. Отец, всего добившийся собственными силами, не в силах был смыть с себя пятно своего крестьянского происхождения. Мать, выросшая в глубокой провинции, не считалась в обществе настоящей дамой и занимала в нём лишь скромное место. Я вспоминал, как в утро Нового года отец всегда с нетерпением раскрывал газету, чтобы посмотреть, не награждён ли он орденом. Несколько раз перечитывал он список награждённых, казалось, он искал своё имя даже в рубрике «происшествий», не затесалось ли туда какое-нибудь дополнительное сообщение о награждении орденом. Немало прошло лет, пока из прокуроров он был произведен в обер-прокуроры. Медленно продвигался он по служебной лестнице, получая повышения только за выслугу лет, между тем как его более родовитые или обладавшие лучшими связями коллеги то и дело обгоняли его благодаря крупным процессам, которые поручались им. Кто знает, быть может фрау Фек, при её связях, известно что-нибудь о предстоящем производстве; произнесённое Феком «господин советник» благой вестью прозвучало в ушах отца.

Многое простил я в эту минуту своим родителям.

Глубокие морщины избородили лоб отца, и когда он, указывая

на них, говорил, бывало: «Видишь, это всё ты»,—я понимал, что не во мне тут дело и что моя «незадачливость» нужна ему только для того, чтобы не признаваться себе в горчайших разочарованиях, принесённых ему жизнью. Не раз подслушивал я разговоры отца с самим собой, когда он ходил взад и вперёд по столовой или отсиживался в «укромном месте», которое занимал иногда, к общей досаде, на невыносимо долгий срок.— Неужели я заслужил это?— гудел он про себя.— Работает, как вол, не жалеешь сил, и всё ни к чему... Наш брат, хоть надорвись, а всё один толк. Ты хоть из кожи лезь, всё равно ничего не добьёшься.. Ну что я для них—сторожевой пёс, старший дворник... Свиньи! Подлецы! Где же после этого справедливость?.. Нет, справедливости не существует...—Голос у отца, когда он вёл эти разговоры с самим собой, сразу грубел, таким голосом говорил дровосек, которого мы встретили однажды в Гогеншвангау. Даже когда отец в эти минуты бранился, брань эта звучала страшно непривычно, как отдалённый отголосок давних-давних времён... Отец с новой энергией окупался в работу, на столе у него вырастали огромные кипы папок с судебными протоколами.— Я,—поучал он меня,— всегда держусь протокола. Протокол это всё. Запомни это с юности, хоть ты и не хочешь слушать своего отца: я верю только в то, что занесено в протокол. «А вы видели протоколы?»—хочется мне спросить у тех, кто с необычайно умным видом рассуждает о чём угодно. Судьёй в любом деле может быть только тот, кто изучил протоколы.—Отец как-то рассказал мне о преступнике, приговорённом к многолетнему одиночному заключению в тёмной камере. Этот преступник спасался от безумия только тем, что изо дня в день рассыпал по полу своей камеры сохранившуюся у него, на его счастье, дюжину булавок и не успокаивался до тех пор, пока не подбирал их все до одной. Отец в своей работе был похож на этого заключённого. Он, очевидно, не без умысла рассказал о нём. Изо дня в день, ровно в пять часов, приходил судейский курьер и приносил кипу папок. Отец развязывал её и сидел потом над протоколами до глубокой ночи. Утром, до ухода в канцелярию, он собирал протоколы, складывал их, перевязывал верёвочкой и клал на письменный стол с левой стороны. Потом кричал Христине в кухню—так кричал он изо дня в день:—Христина, папки с протоколами лежат на письменном столе слева, за ними придёт курьер.—А иногда отец—и каждый раз это было сенсацией, мать выходила по этому случаю из спальни—важляла:—Сегодня я беру с собой всю кипу.—Мать неизменно спрашивала:—А тебе не будет тяжело... Не понимаю, зачем ты себя утруждаешь.—На что отец так же неизменно целовал

её и, уже выйдя за дверь, ещё раз повторял:— Значит, когда курьер придёт, скажите, что протоколы я взял с собой — Изо дня в день он читал эти протоколы и только временами вскакивал и рывком открывал балконную дверь, словно ему хотелось громко крикнуть: «Ведь это же всё бессмыслица!» И потом снова садился за стол и принимался за протоколы, чтобы не сойти с ума... Он сделал мать участницей своего жизненного крушения, хотя, конечно, в разговорах с ней никогда не признавался, что жизнь его не задалась. Из всего незаурядного и выдающегося, о чём он мечтал и ради чего он в своё время и голодал и без устали трудился, получилось нечто весьма рядовое, посредственное, будничное: размеренное существование, с определённым количеством служебных часов ежедневно и с двух-трёхчасовым судебным заседанием раз в неделю. На эту щемящую монотонность он обрёл и мать, и её — с юности, под влиянием бабушки, мечтавшую о самостоятельной профессии — он заставил всю жизнь отдать хлопотам по хозяйству. Мать была «против», лишь поскольку её «против» не нарушало семейного мира. Она ходила по выставкам и концертам, чтобы хоть краткий миг пожить этим «против», она и платье «реформ» носила потому, что оно в какой-то мере означало безобидное «против», она приветствовала создание женского клуба стрелков из лука, и когда солдат убил ротмистра Крозига, она склонна была оправдать солдата и предъявить обвинение убитому ротмистру, а во время процесса Дипольда, домашнего учителя и детоубийцы, она даже дерзнула взвалить всю ответственность на «господствующий порядок». Порой она отваживалась критиковать и речи кайзера, говоря, что они «не очень ей по сердцу», — например, когда кайзер отдал пресловутый приказ: «Будьте неистовы, как гунны. Пощады не давать. Пленных не брать». Но достаточно было отцу бросить: «Ты сама не знаешь, что говоришь!», чтобы мать умолкла на полуслове.

Сплошь и рядом я служил козлом отпущения, на котором они вымещали свое недовольство. Когда мать набрасывалась на меня: — Ну и ведёшь же ты себя сегодня! Что на тебя нашло? Это просто невыносимо! Ты добьёшься того, что я тебя видеть не смогу! — Или, когда отец метал громы и молнии по поводу ошибок в моих домашних работах, я сразу видел: «Дело тут не во мне». И я глубоко чувствовал, что здесь кроется нечто иное. Нечто совсем иное, гораздо более важное прорывалось тут наружу. Время от времени, с годами всё реже и реже, между отцом и матерью происходили ссоры. Они возникали неожиданно и разражались внезапно, как гром среди ясного неба. Ссору мог вызвать ничтожнейший повод. Столкновение начиналось с того, что один укорял другого в бестактности или недостатке вни-

мания. Затем с обеих сторон начиналось перечисление всех тех случаев в прошлом, когда тот или другой был не прав, и в этой фазе спор ещё вёлся с некоторой видимостью доказательств, оба ещё, повидимому, надеялись в чём-то убедить друг друга. Чем спокойнее протекала эта часть семейной сцены, тем необузданней был последующий взрыв. Вторая фаза ссоры уже не имела ни малейшего отношения ни к вызвавшему её поводу, ни к той или иной погрешности в прошлом: отец и мать винули друг друга в своей загубленной жизни. Никто уже не пытался что-либо доказать или в чём-либо убедить другого; родители били друг друга, душили и убивали словами. Эти акты убийства сопровождались соответствующей мимикой и жестикующей. Гром пощёлок стоял в доме: — В угоду тебе я отказалась от собственной жизни! — Ты искалечила мою жизнь. — О, зачем только я тебя слушала. — Пока оба судорожно не зажимали друг другу рот: «Молчи! Молчи!» В заключение оба, обессиленные, отступали и безмолвно протягивали друг другу руки, точно молча говорили: «Ни один из нас не виноват. Оба мы тут совершенно ни при чём».

То, чего я опасался, когда отец пригласил нас в гостиную, действительно случилось. Отец поправил галстук и приготовился держать речь:

—...нам навязывают даже египетские, ассирийские, вавилонские влияния. Разве не издевательство, что в Лейпциге основан союз буддистских миссионеров?.. Это всё равно, что заставить приговорённого к повешению собственноручно строить себе виселицу. Какое растление немецкой души! Загляните только в витрины книжных магазинов... А то, что два с половиной миллиона стояла одна только внутренняя отделка берлинского ресторана «Рейнгольд»... Выходит так, что положение обязывает каждого из нас жить выше своих средств... Кафешантаны, сокращение рождаемости... Несчастливая Германия!.. А процесс Мольтке-Гардена? Разве это не лакомый кусок для черни? А что себе позволяет этот бесстыдный еженедельник «Симплициссимус»!.. «Стремление к миру — яд для немецкого народа, — как говорится в прекрасной книге генерала фон Бернгарди. — Зато война совершит чудеса! Повсюду царит новое поколение беспардонных пролаз, они пробираются на первые места через головы ветеранов... Я уповаю на немецкую молодёжь, она призвана создать новую Германию. Неужели мы так и кончим свой век жалким поколением тряпок?.. Тирпиц, Гезелер — вот люди, которые должны стать нашим знаменем! Я это всегда утверждал...

Фек и Фрейшлаг были, повидимому, польщены этим излиянием красноречия. Они слушали отца, стоя навывтяжку, и, когда он

кончил, коротко поклонились. Настроенные у меня испортились. Я не сумел воспользоваться свободой, которую разрешала мне маска шута. Глашатай правды промолчал на речь отца. Такие речи отец теперь часто произносил дома, вознаграждая себя за то, что ему не дано было произносить их в рейхстаге или в совете министров.

Когда, уже в передней, Христина догнала нас с вопросом:— Может быть, молодые господа всё-таки соизволят покушать?— я набросился на неё:— Ты, что, с ума сошла, что ли, я тебя не понимаю!— Но она уже быстро-быстро засемила вперёд, чтобы молодым господам не пришлось самим отворять себе двери, и, застыв у порога, подобострастно подхватила усмешку Фека.

Отец и мать проводили нас до самой лестницы. Фек пощекотал мать павлиньим пером, на что она, покраснев, хихикнула. Отец, ошачливленный этой карнавальной шуткой, посмеялся, поправил галстук и, сунув мне в руку крупную монету, напутствовал нас:— Веселитесь, молодые люди, но только в меру!— И прибавил:— Очень рад был повидать вас.

— У тебя, оказывается, вполне сносные старики! Ты можешь из них верёвки вить. А как твой старик клюнул на «господина советника»! Эту пару ничего не стоит обвести вокруг пальца. А кто та дама, портрет которой стоит в гостиной — твоя мать?! Ах, вот как, значит, она знала лучшие времена, на портрете она прямо-таки царица бала... Кстати, старик твой часто произносит такие речи?

Опять глашатай правды промолчал.

— Идём уж, идём! — ответил я, уклоняясь от разговора с Феком.

— И мой старик не лучше, — сказал Фрейшлаг, шумно сбегая вслед за нами с лестницы. — С тех пор как кайзер столько разговаривает, отец чуть ли не каждый день произносит речь и только что не начинает её обращением «К моим доблестным войскам».

— Я бы на вашем месте запретил им эту болтовню, — бахвалился Фек. — Ну, а я-то, — и Фек выразительно толкнул меня в бок. — Плохой я товарищ, скажи? Не встал я за тебя горой перед твоим стариком? Ну, вот видишь! Для меня товарищеский долг — это всё. Оставить друга в беде или предать его — последнее дело.

Фек и Фрейшлаг взяли меня в середину и повисли на мне с двух сторон. Мне никак не удавалось от них вырваться, они вели меня, словно пленника. Я искал случая улизнуть. — Мне нужно в уборную, — выдумывал я, но оба приятеля терпеливо дожидались за дверью и, как только я выходил, снова подхватывали меня под руки. Наконец, потеряв надежду отделаться

от них, я прикинулся развязным и весёлым. Думая о тайне, в которую посвятил меня Левенштейн, я усмехался про себя. «Если бы вы только знали, кого вы с собой ведёте!» Я искося бросал на них презрительные взгляды: «Эх вы, буржуи!»

Мы слонялись по Максимилианштрассе. В воздухе густо носилось конфетти. В кафе «Максимилиан» уже не пускали, до того оно было переполнено, окна и балконы были сплошь облеплены публикой, ожидавшей появления большого карнавального шествия. Всюду слышался смех, в воздухе стоял визг и писк, тарактели трещотки. Ленты серпантина пёстрой сетью покрывали улицы.

Фек внёс предложение: — Давайте-ка сегодня раскошелимся на шикарную бабу! — Он вытащил визитную карточку с адресом: «Лина Фельднер, Майштрассе, 21, 3». — Породистая штучка! — он прищёлкнул языком.

— Отстань ты от меня с твоими шлюхами, — сказал я тоном надменной пресыщенности, — мне сегодня неохота. Справляйся один.

— Терпеть не могу нытиков, — прогнусавил Фек. — Не сходить ли нам в кино посмотреть Асту Нильсен? — простодушно предложил я, но тут Фека передёрнуло: — Оставь меня в покое с Дузель, она на том свете, и с неё взятки гладки. А вот, жаль, что эта стерва из табачной лавочки у Костских ворот приказала долго жить!..

«Погоди ты у меня, ты, остроумный малый! Дай срок, я ещё с тобой расквитаюсь!» — клокотало во мне, но глашатай правды во мне спросил: «К чему ты затеял это переодевание! Ты, видно, не знаешь, что и делать с твоей хвалёной свободой шута. Ты всё проглатываешь и молчишь». И тут пошли у меня споры с самим собой насчёт Фека. Он и в самом деле неплохой товарищ, ничего не скажешь. Он только напускает на себя этот отвратительный тюн, потому что на душе у него кошки скребут... Надо быть к нему повнимательней... Каждого человека жалко.

Мы шли по мостовой. Спутники мои забавлялись тем, что, шатаясь, точно пьяные, толкали и задевали встречных. Целые шеренги гуляющих, взявшись за руки, занимали улицу во всю ширину. Фек и Фрейшлаг швыряли меня, как мяч, то туда, то сюда.

При виде группы гренадеров фридриховских времён Фек воскликнул: — Скорей бы нам войну хорошую, уж очень всё прогнило!

Я вспомнил, что как-то я то же самое сказал Гартингеру, и теперь я ответил, как Гартингер:

— Если вы будете продолжать в том же духе, будет ещё хуже. Эх вы, гуны!

На что юба в один голос выпалили:

— Чем хуже, тем лучше!

А Фек прибавил: — Что до гуннов, то я не вижу тут ничего плохого! Ведь и кайзер сказал: «Будьте неистовы, как гунны!..»

«Мели, сколько твоей душе угодно», — промолчал я в ответ и бросил пререкаться с юбой о Феке. Он безнадежен. Спасайся, кто может... Надо свести Гартингера с Левенштейном, и тогда нас будет трое!

Мне и без того было противно, что оба крепко держали меня под руку, а тут Фек ещё повис на мне:

— Что в сущности, нас ждёт, если не будет войны, подумай сам? Тяни ляжку до сорока лет, пока тебя произведут в полковники, занимайся шагистикой в каком-нибудь провинциальном гарнизоне. Нет уж, спасибо! Живёшь ведь только раз!

И Фек и Фрейшлаг начали наперебой хвастать своими будущими воинскими подвигами.

Фек, который собирался в артиллерию, восторженно расписывал разрушительное действие бомбардировки; остановившись у ближайшего дома, он разъяснял, как снаряд замедленного действия пробивает крышу, чердак и все четыре этажа и разрывается только в подвале, отчего всё здание взлетает на воздух.

Фрейшлаг с увлечением описывал атаку. Он даже отпустил мою руку, чтобы показать, как на всём скаку колют пикой отступающую пехоту. — Всё искусство в том, чтобы, не обломив остриё, благополучно извлечь его из тела противника. — И Феку тоже понадобилась его рука, чтобы наглядно продемонстрировать действие снаряда. Разрывами бомб он превратил весь город в груды развалин. Огненные языки плясали по крышам, люди, обезумев, выбрасывались из окон прямо на улицу. Батарея тяжёлых гаубиц, которой командовал Фек, направила уже свой огонь на публичную библиотеку: — Зажигательные снаряды, понимаешь, тут можно изобразить недурной пожарик. — Я перебил его: — Ты расстреливаешь свой собственный город! — Фек ответил: — Как, по-твоему, сколько отсюда до Швабингенского госпиталя?

Они уже величали друг друга: «Господин юнкер! Господин прапорщик! Господин лейтенант!» и так, незаметно, дошли до его превосходительства командующего армией, при этом их голоса и осанка преображались каждый раз, как назывался новый чин, словно военная табель о рангах сидела у них в крови.

«Такие, как ты! — Глашатай правды сказал правду самому себе. — Вспомни, каким ты был! Вспомни свои игры!»

Я несколько отстал от них, и они этого не заметили в пылу сражений, которые развёртывались всё с большим ожесточением. Идя сзади, я слышал, как Фек кричал, захлёбываясь: «Будьте неистовы, как гунны! Пощады не давать! Пленных не брать!»

Я смешался с толпой. От королевского дворца до Максимилиан-плац колыхался живой человеческий поток. Гремели фанфары. Из-за угла Резиденцштрассе показались всадники — первые ряды карнавального шествия. Я бросился в одну из пустынных боковых улочек, миновал её и вышел на тихую, безлюдную площадь. Костские ворота. Табачный магазин закрыт. На дверях табличка: «Продаётся по случаю смерти владельца. Об условиях справляться у...»

Дверь звякнула: «Дзинь!» «Что вы желаете?» Я закурил папиросу и выдохнул дым. Дым растаял на чьём-то лице, далёком, как виденье. «Меня зовут Фанни». Опять я ждал у Костских ворот. Жалюзи с грохотом опустились. Опять мы сидели в пивнушке у окна и смотрели на улицу. Тесно придвинувшись друг к другу, склонялись над обеденной карточкой. Фанни дала мне ложку брусники. Опять я поднимался за ней по крутой винтовой лестнице, она шла впереди и светила мне. Сидел с ней, рука в руке, на краю кровати. А потом: сверкающий вихрь блёсток. Музыкальный ящик... Белоснежка.

Перо стоял у Костских ворот. На щеках его густо лежали белила, под глазами были чёрные, наведённые углём круги. Прохожие с удивлением оглядывались на него, но не потому, что в своём маскарадном костюме он говорил правду, а потому, что он без конца плевался.

Словно его тошнило, так неудержимо плевался он.

Отчего его тошнило? Что он выплёвывал?

Когда-то он плевал в Гартингера. И теперь он это выплёвывал. Гартингер плюнул ему в самую середину лба. И это он выплёвывал.

Тошнило ли его от самого себя?

«Ненавистные гунны! Сволочь!»

Он плевался от одной мысли о себе.

Я долго ещё плевался! Целыми днями. Я ничего не мог с собой поделаться, я плевал, как одержимый.

## XLIII

Я провёл рукой сверху вниз по щели, чтобы убедиться, упало ли письмо как следует, на самое дно. Узкий зев голубого ящика, таившего человеческие судьбы, поглотил письмо. Придёт день,

когда почтальон вручит мне мой приговор. Бывает, что письма теряются. Но это было слабым утешением.

Я ждал, пока почтовый ящик опорожнят. Почтальон соскочил с велосипеда, сунул под ящик мешок, дно ящика со стуком раскрылось, послышался шорох, что-то грузно упало, и вот уже почтальон закинул мешок за плечи, и письмо моё с целым роем себе подобных взвилось и исчезло из виду, и я уж ничего не мог сделать. Я мысленно следовал за ним на почтамт, в запечатанный сургучной печатью мешок и в почтовый вагон. Я разделял судьбу письма, которое проходило через бесчисленное множество рук. Письмо окунулось в жизнь, в повседневную, деловитую жизнь. Моя рука только написала его; тысячи других рук привели моё письмо в движение, понадобилось пустить в ход гигантскую машину, чтобы доставить начертанные мною знаки по адресу. Я писал письмо, не думая о его судьбе. Не заставит ли меня его познанная судьба больше задумываться над каждым словом, выбирать другие и лучшие слова? Разве не имели право все те, кто трудился над доставкой письма, прочесть его и рассудить, стоит ли оно тех ухищрений, которых потребовала передача его из рук в руки? Надо было и о них думать, когда я писал письмо, словно и они его писали...

В эту минуту я бы охотно вернул своё письмо, я опасался, как бы оно не натворило бед. По моим расчётам, не меньше недели должно было пройти до получения ответа. Письму предстоял длинный путь из Мюнхена до Гамбурга-Бланкенезе.

Неслыханной дерзостью казалось мне теперь то, что я послал несколько моих стихотворений Рихарду Демелю. Никому, даже Левенштейну, не решился я рассказать об этом.

Не прошло и недели, как почтальон передал мне на лестнице долгожданное письмо. Оно синело в белом ворохе других писем и газет. На обороте его, обведённое кружком, вытиснено было «Д».

В первый раз я прочитал письмо внизу, в подъезде, и уже не выпускал его из рук и всё перечитывал, бродя по улицам, хотя оно содержало всего несколько слов, и я скоро знал их наизусть.

Письмо гласило:

«Милый мой сорви-голова! Я собираюсь в Мюнхен. Жду вас двадцать первого, в пять часов дня, в пансионе «Интернациональ» на Каульбахштрассе. С приветом — Рихард Демель».

Этих немногих слов было достаточно, чтобы я предался самым необузданным мечтам о своём поэтическом призвании. Я уже видел себя причисленным к лику бессмертных. На доме по Гессштрассе, № 5 красовалась мемориальная доска: «Здесь родился...» От моего внимания, конечно, не ускользнуло, что знаменитый поэт ни единым словом не обмолвился о моих стихах.

Но я отнёс это за счёт поспешного отъезда. И даже необычное обращение «милый мой сорви-голова» я постарался истолковать самым благоприятным образом. Но всё же лаконичский ответ, ниспосланный мне судьбой, звучал загадочно.

Измятое и замусоленное от частого чтения письмо я носил в боковом кармане, и оттуда оно будоражило меня и заставляло улыбаться всем встречным: «Если бы вы только знали, что я ношу с собой!» Сокровище это доставляло мне немало беспокойства. Фек мог залезть ко мне в бумажник и выгащить письмо, да и отец, если бы он как-нибудь узнал, мог бы у меня его потребовать. Но никто не интересовался письмом, я мог бы спокойно убрать с груди руку, которая только выдавала меня. Мать тоже ничего не подозревала. Она спросила: — Почему ты всё время держишь руку на груди, разве сердце тебя беспокоит?

Свидание пришлось на воскресенье. Взволнованный, слонялся я в субботу под вечер по городу и вместе с толпой забрёл в универсальный магазин Оберполлингера и поднялся в лифте на верхний этаж, где помещался музыкальный отдел.

Здесь, среди хаотического шума множества одновременно пущенных грампластинок, я как будто улавливал «голос времени», возлагавший на меня задачу: описать чистилище двадцатого века, и, преисполненный высоких чувств, я спустился в глубины ада, и Гартингер повёл меня по ним, объясняя всё, что мы видели. Гартингер, мой Добрый товарищ, — ибо теперь он был им — показывал Страннику дорогу. Много ложных дорог вело сюда, а над входом, видимая лишь для избранных, была надпись: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». По ложным дорогам шли Маленький Лгунишка, Пакостник и Мучитель, Тупица и Чемпион по плаванию; их опекали ревностные «Руки-по-швам» из «Школы познати», которые убеждали их, толстых, глупых, ленивых и прожорливых, не отклоняться от этого жизненного пути. Эти гадинки очень любили обмазываться грязью, а потом полоскаться в воде: плеснёшь водичкой, и вся грязь долой. Они, эти гадинки, размалёвывали свои физиономии под страшные сатанинские личины и издавали неимоверное зловоние, но стоило им окунуться в воду, и они выходили оттуда чистые, как ангелы. С годами, однако, их облепляла другая грязь, её не так легко было смыть; и даже если кое-кто из этих грязнушек и говорил себе вначале: «Пустяки, при первом удобном случае я всё искупаю», всё равно, они вырастали и становились форменной дрянью. Теперь они уже заявляли, что грязь вовсе не грязь, а то, что иные осмеливаются называть грязью, вполне пристало взрослому человеку и вообще это человеческое свойство. Вот в какие чудища они с годами превратились... Огромное полотно,

по размерам такое же, как «Битва под Седаном», возникло передо мной: страшные фигуры нарисованы были на нём, с виду люди, а на самом деле — двуногие чудища, исполненные коварства, похоти и кровожадности. Вечное стояние навтыяжку породило их. Громко распевая песни ненависти к капитализму, всё дальше и дальше по аду со своим Добрым товарищем шёл Странник. Добрый товарищ указывал ему на фигуры «Палача», «Предателя», «Играющего в войну», «Живописца ложной радости». Был среди них и «Золотко», — но зато «Искатель счастья», «Тайно читающий книги», «Вдумчивый корреспондент», «Молодой человек на дознании у следователя» и «Дирижёр» не находились среди этих фигур, для них отведено было другое место, которое служило переходом к «Стойкой жизни». Ну, а поскольку мы были в аду, и поскольку ад на том и стоит, что грешники самым ужасным образом расплачиваются за свои прошлые грехи, то чудищам на этой половине ада было велено припомнить хотя бы один хороший поступок за всю их жизнь. Припоминание такого поступка доставляло им жестокие муки. Они расчёсывались в кровь, корчились, рвали на себе мясо до костей, чтобы найти хотя бы один хороший поступок в своем прошлом, потому что они принёс бы им избавление от ада! А как они визжали, лаяли, хрюкали и кричали, когда им казалось, что, после многих дней и ночей мучительных поисков, они нашли, наконец, такой хороший поступок. «Есть! Вот он! Я нашёл его!» — ржало какое-либо из чудищ, и тогда остальные поднимали страшный содом, дытаясь, на самом ли деле ему удалось найти хороший поступок. Но на поверку хороший поступок всегда оказывался чудовищным преступлением. В особенности же так называемые благодеяния оказывались при ближайшем рассмотрении подлым надувательством. Так, все эти чудища, обречённые на вечные поиски небывалого в их жизни хорошего поступка, сами себя непрерывно раздирали в клочья... Попрежнему преисполненный высоких мыслей всё дальше и дальше шагал Странник по стогнам ада, но постепенно он и сам преображался в эти отвратительные существа; больше того, всмотревшись в картину ада, он в каждом из этих грязных выродков узнавал своё изображение... Его уверенная поступь потеряла свою твёрдость, и, убегая от собственной скотской бразины, он бросился к выходу.

Уже за час до назначенного времени Сорви-голова, свернув с Людвигштрассе, вышел на Каульбахштрассе. Пансион «Интернациональ», в котором остановился Рихард Демель, расположен был примерно в центральной части улицы. Я начал размеренно ходить взад и вперёд по Каульбахштрассе, от Людвигштрассе до Английского парка и назад, то по левой, то по правой сто-

роне, причем всякий раз, проходя мимо пансиона «Интернациональ», ускорял шаги. А вдруг поэт стоит у окна за шторой и своими большими пронизательными глазами наблюдает за Сорви-головой!

Там, где Каульбахштрассе под лёгким уклоном спускается к Английскому парку, находилось в то время фотоателье «Эльвира» — одноэтажный яркозелёный домик, с рельефно выступавшим на фасаде гигантским лиловым драконом. Эта ужасающая безвкусица, вызывавшая в ту пору восхищение, ещё усиливала мою подавленность, и, глядя на дракона, я стал серьёзно сомневаться, итти ли мне вообще к Демелю, не дерзость ли это с моей стороны.

Тут я спохватился, что у меня опять вылетело из памяти стихотворение «Привет Рихарду Демелю от молодёжи», которое я целыми днями заучивал наизусть, декламируя его перед зеркалом.

Но вот на колокольне церкви театинцев и церкви святого Людовика почти одновременно пробило пять часов.

Я вдруг словно потерял сознание, непреодолимая сила подхватила меня, толкнула в вестибюль, подняла вверх по лестнице, заставила позвонить, проследовать по длинному коридору за отворившей мне дверь горничной, и вот я стою, точно окаменев, перед незнакомцем, который склонил надо мной лицо, изборождённое глубокими подёргивающимися складками. Среди этой игры морщин одни глаза светились покоем. Поэт пожал мне руку и пригласил сесть.

Всё было так буднично — и то, как он попал сюда, и приём, оказанный ему поэтом, — что Сорви-голова счёл неуместным передать Демелю «Привет от молодёжи». На столе лежали мои стихи, и меня удивило, что поэт захватил их с собой в такое дальнее путешествие.

Я медленно приходил в себя.

Обвёл глазами комнату и рядом со шкафом обнаружил один единственный чемодан, и это ещё больше повысило в моих глазах значение того, что мои стихи нашли себе место среди немногих вещей поэта. Мне очень хотелось посмотреть, остались ли стихи теми же, какими они были, и не изменились ли они под взглядом поэта. Я почувствовал, что мои стихи обрели какую-то новую, независимую от меня сущность и что я могу думать о них совершенно беспристрастно, как о чём-то, что ни в какой мере со мной не связано. Я не мог бы сказать, в чём она, эта их новая, чуждая мне сущность, и если бы мне предложили объяснить, что я написал, я испытал бы затруднение.

На вопрос Рихарда Демеля, как возникли мои стихи, я рас-

сказал, как однажды я открыл, что некоторые слова, если их расположить в определённом порядке и произносить вслух, делают меня до известной степени нечувствительным к школьным и домашним невзгодам. Только много позже я начал записывать эти странные слова. Стихи сообщали мне бесстрашие и, как мне казалось, непобедимость. В стихах была скрыта целительная, чудодейственная сила, и мне хотелось узнать, оказывают ли они и на других такое же действие.

Рихард Демель шагал по комнате из угла в угол, часто откашливался и произносил: «Так, так», подходил к окну, поворачивался и останавливался далеко от меня, потом снова подходил ближе — медленно и размеренно, точно следуя за чем-то печальным.

Очень скоро меня взяло нетерпение, и так как, вопреки моим ожиданиям, никакой торжественности не было, то, подавив своё разочарование, я стал мысленно иронизировать по поводу наскучившей мне беготни поэта: «Да ну же, скажи что-нибудь! Довольно разгуливать по комнате! Этим ты меня не удивишь!»

— Я должен вас предостеречь,— поэт остановился передо мной,— хоть я и знаю, что вы меня не слушаетесь... Советую вам прежде всего хорошенько осмыслить эпоху, на которую пришлось появление вашего таланта.

С каждым его словом мне всё неудержимей хотелось смеяться. «Продолжайте, продолжайте, господин Советчик! Ладно, давайте хорошенько рассмотрим эпоху, на которую пришлось появление моего таланта! Чувствительно благодарен. Очень приятно. Этот дяденька собирается дать мне слабительное».

— Мы живём в чуждый искусству, враждебный поэзии век... В этой нашей участи, как мне кажется, бессильны что-либо изменить те горячечные потуги, которые мы наблюдаем в современном искусстве. То судорожное, эксцентричное, что так характерно для этих попыток, как нельзя лучше подтверждает это. Наше время — это время великой, ослепительной, утончённой, головокружительной лжи и худосочной истины, которая разве только наполовину или даже на четверть является истиной...

«Внимание! Берегись! — хихикал я, — сейчас последует длинная проповедь».

— Вы найдёте сколько угодно охотников анализировать наше злополучное состояние, но анализ этот скользит по поверхности, он не доходит до того сокровенного, что бродит в нас... Возьмите античность и средние века, там руководящие идеи пронизывали... — «Браво, господин Советчик! — смеясь, аплодировал Сорви-голова, — по какой книге вы читаете? Вы говорите, как по-писанному!» — ... и охватывали все стороны жизни вплоть

до покроя одежды,— у нас же свирепствует непрерывная, омерзительная война, в которой тысячи жертв, но нет победителя и нет закона, дарованного победителем.— «Однако хватит!» — возроптал Сорви-голова, но господин Советчик, повидимому, не слышал.— Наши научные познания резко расходятся с нашими религиозными запросами, наши социальные представления — с существующим государственным строем, а тоска по искусству — с ожесточённой борьбой за существование, характеризующей нашу жизнь стяжателей.

Я склонялся: «Стяжатели, стяжателей, стяжателям», — и если бы я не заставил себя вспомнить о бабушкиной смерти, я прыснул бы со смеху. «Шиповник, цианистый калий!» — бормотал я про себя, всеми силами сопротивляясь хохоту, рвавшемуся наружу.

Поэт снова зашагал по комнате, он говорил теперь, обращаясь не ко мне, а куда-то в пространство. Мне казалось, будто поэт при мне репетирует речь, к чему он, по всей вероятности, прибегал нередко.

— Но одно дело признать это, а другое — изменить. Где та сила, которая повела бы нас за собою, которая спаяла бы нас друг с другом и с народом?.. Мы живём в узком кругу знакомых. Наша жизнь не выходит за пределы тесного, словно очерченного магическим заклятьем круга. Все попытки расширить или прорвать этот круг приводят нас опять-таки в новый, такой же ограниченный круг, смыкающийся вокруг нас и отгораживающий нас от жизни, едва мы в него вступаем...

«Куда это он гнёт?» — старался я угадать, но тут он чуть не растянулся на ковре, и я опять едва не задохся от подступившего к горлу смеха...

— Социализм! Рабочее движение! Но разве социализм может быть претворён в жизнь по тем ребяческим упрощённым рецептам, какие прописывают иные реформаторы и врачеватели человечества?.. Кто может так высоко подняться над своим временем, чтобы хоть до некоторой степени провидеть очертания будущего?

«Ваше время истекло, господин Советчик... Кончайте!» — орал и свистел я мысленно и вдруг испугался этой обуревавшей меня озорной развязности — я сам не понимал, откуда она взялась.— Какая судьба нам уготована?! Какое поругание наших человеческих взаимоотношений!.. Какой упадок в суждениях и вкусах. На какое разложение мы обречены! Какая от вас, дорогой мой Сорви-голова, потребуется сверхчеловеческая сила, чтобы достичь доминирующей высоты и утвердиться на ней!

«Хе-хе», — тихонько хохотнул я, но сейчас же прикрикнул на это «хе-хе»: «Цыц!» — и заставил его замолчать. Я велел Сорви-голове прекратить его idiotские мальчишеские выходки и при-

грозил, что выставлю его в галлерее «Скотская образина» рядом с «Малодушным» и «Трусом».

— Чем серьезнее и успешнее вы разовьёте свой талант, тем упорнее невежды и посредственности будут стараться окружить вас непроницаемой стеной зависти, ненависти и всяческой подлости. Ни одно унижение не минет вас, голод будет преследовать вас по пятам, пока вы в качестве письмоводителя не укроетесь за какой-нибудь конторкой. И это можно ещё назвать снисходительной, милосердной судьбой... Ницше, Вейнингер, Кале: безумие или самоубийство... Как же мне не предостеречь вас от удела, который немцы уготовили всем своим провозвестникам и глашатаям!

Конечно, если бы я бегал, как он, взад и вперёд по комнате, а не сидел, словно приклеенный к стулу, я бы проявил куда большую находчивость... А то:

— Я всё-таки попробую, господин Демель...

Я проклинал свой незадачливый визит и клялся никогда в жизни не иметь дела с поэтами, которые бегают из угла в угол, как лунатики.

— Значит, я впустую старался предостеречь вас. Ни один пример вас не убедил.

И тут вдруг в чертах поэта появилось что-то отцовское. Я старался отделить одно лицо от другого, но они были нераздельны в своём единомыслии. Вот так же слились в одно советник Тухман и отец, когда они в Беседке счастья согласно кивали друг другу и фрейлейн Клерхен была уволена без предупреждения. Я даже заподозрил, не сговорились ли друг с другом великий писатель и мой отец,—чтобы отбить у меня охоту к стихотворству?

За этим скрывается отец!—насторожился я и сказал вслух:— Я буду изучать право, а стихами заниматься только так, между прочим.

Уж я тебя столкну с твоих классических высот! Берегись! Обвал!

«Стихами заниматься»,—я выразился так нарочно, именно так сказал бы отец.

— Вот это приятно слышать, вот это разумно, в высшей степени разумно. Пишите стихи в свободное от занятий время, а в основном обзаведитесь серьёзной профессией, тогда вы не пропадёте...

«Мещанин»,—ответил на это про себя Сорви-голова, теперь уже ничто не мешало ему встать и откланяться:

— Благодарю вас, господин Демель, я всегда буду вспоминать ваши слова...—«Когда они уже будут излишни»,—решил он про себя и это тайное решение скрепил словами самого поэта:

«Не изменяй себе, не изменяй!» Поэт вручил мне мои стихи и проводил в переднюю. Многозначительно положив мне руку на плечо, он сказал на прощанье:

— Смотрите же, не изменяйте принятому решению.

«Чиновничья карьера, спокойное местечко и право на пенсию», — поблагодарил я мысленно за совет.

«Уж я тебе покажу! Погоди!» Я носился, негодуя, по улицам, вдоль и поперёк, не разбирая направления, пока не забрёл в какой-то отдалённый район города. «Я не позволю убить во мне веру в себя!» Я разорвал его письмо, которое всё ещё таскал с собой, и разбросал по улице горсть голубых хлопьев. «Как бы не так! Эх ты, поэт, с собственной виллой на Бланкенезе! Я не дам запугать себя демоническими ужимками... Мы ещё с тобою увидимся... Погоди...» — грозился я в пространство, пока ярость и разочарование не развеялись на незнакомых мне улицах. После многих расспросов и переспросов я вышел к Зендлингенскому кладбищу, и здесь взгляд мой привлекла большая фреска на кладбищенской церкви, изображающая Кохельского кузнеца в кровавую рождественскую ночь 1705 года.

В вихре снежной бури возвышался Кохельский кузнец над крестами Зендлингенского кладбища и дубинкой, густо утыканной железными шипами, отбивался от пандуров и кроатов, попиравших копытами своих коней могильные насыпи. Лес кривых поблескивающих сабель смыкался над головой кузнеца. Снег был единственным светлым пятном в этой ночи; как обагрённый кровью световой экран, освещал он со всех сторон фигуру Кохельского кузнеца, который стоял в этом царстве мёртвых, как вкопанный, широко расставив ноги, прямой и сильный. Тела его семерых убитых сыновей лежали вокруг него.

Картина излучала силу, она заставила меня остановиться, взять себя в руки и прекратить бессмысленную беготню... Почему он не указал мне ни одного примера, не назвал ни одного героя, достойного подражания? Вот как эта картина?

Великое существует.

Горе вам, смиренники!

Побеждают стойкие!

Неужто единственное призвание старости предостерегать от великого?

#### XLIV

Свернув за угол по Гессштрассе и выйдя на Луизенштрассе, я уже издали увидел Гартингера, он ждал у Луизенского почтового отделения. Без всякого уговора мы двинулись к Луизен-

ской школе. То был наш старый маршрут. Время от времени мы, как и в былые времена, останавливались перед магазинами, и я, глядя на своё отражение в витринах, старался держаться прямо и производить впечатление взрослого, чтобы ничто во мне не напоминало о «палаче»; Гартингер тоже подчёркивал свою возмужалость и держался так, точно стёкла витрин навсегда запечатлевали наши новые изображения. Гартингер не задирает носа, не поучал, не говорил со мной свысока. Мы болтали только о самых безразличных вещах, словно оба боялись коснуться чего-то важного. Гартингер скопил деньги и приобрёл велосипед.— Отчего бы,— сказал он,— не совершить нам вместе какую-нибудь экскурсию.— На пасху, пожалуй,— согласился я.— Ты, конечно, не будешь возражать, если к нам присоединится мой приятель Левенштейн!— Ясно. Хорошо бы прокатиться к Боденскому озеру, до Линдау можно добраться поездом.— Значит, решено?— Решено!— Мы ударили по рукам, и, когда на минутку остановились, с удивлением увидели, что стоим у входа в Луизенскую школу. Дело происходило в среду, во второй половине дня. В школе было тихо, старый педель с большой бутылкой чернил в руках ковылял вверх по лестнице. Гартингер взял меня под руку, и мы пошли назад, снова по старому маршруту. Так шли мы с Гартингером по его Голгофе, он и я, гнуснейший из злодеев, отравивших ему детство. Быть может, он уже и раньше простил меня, но теперь, шагая рядом со мной по старой школьной дороге, он простил меня вновь. Я чувствовал, как в нём оживает прошлое. Когда мы проходили мимо садоводства Бухнера, он выпустил мою руку, как бы говоря: тут я бессилён помочь тебе, иди один. Он скользнул по мне взглядом и устремил его вдаль, точно для того, чтобы развеять гнетущие воспоминания.— Ну, а как твои дела вообще?— спросил он, но мы подошли уже к почте, из гастрономического магазина напротив вышла мать Гартингера.— Я собирался написать тебе,— сказал я, подавая ему руку.— Так я и думал,— улыбнулся он.

Для организации предстоящей поездки мне понадобились Фек и Фрейшлаг. Я предложил им предпринять совместную поездку на велосипедах в Оберстдорф. Они поговорили с моими родителями и получили для меня разрешение.

Уже за неделю до срока я занялся своим велосипедом, которому хотел придать праздничный вид. Я не только основательно почистил и смазал его и вставил недостающие спицы, но также и тщательно закрасил эмалью каждую, даже самую незначительную трещинку, все места, где облупился лак. Я делал это в честь Гартингера и ради того, чтобы доставить ему удовольствие.

В вербный четверг у меня были назначены два свиданья: одно — с Фрейшлагом и Феком, которые собирались заехать за мной в два часа, и другое на Центральном вокзале, в час, — с Левенштейном и Гартингером. Уже с раннего утра я стал подгонять Христину, чтобы она подала обед ровно в двенадцать, а родителей обманул, будто в час мы условились встретиться у Фрейшлага, чтобы оттуда стартовать.

Таким образом, обман должен был открыться вскоре после моего отъезда. Но я не страшился этого разоблачения, в тот момент оно мне было даже кстати, — лишь бы меня здесь не было! Я давал понять Феку и Фрейшлагу, что дружбе с ними предпочёл новую дружбу, а в отношении отца это было демонстрацией, — я открыто объявлял себя другом Францля, так как расследование, которое отец не преминет учинить, неизбежно должно было привести его к Гартингеру.

С того самого допроса, на котором я давал показания в качестве свидетеля, моё представление об отце как о независимом и неподкупном судье, за какого он выдавал себя, значительно поколебалось. Я, правда, ещё не допускал, что он способен так же произвольно извращать закон, как его коллега, судебный следователь, но представлял себе, что он не только мирится с подобными нарушениями закона, но в известных случаях склонен даже, — конечно, под прикрытием юридической казуистики, — прибегать к ним сам. Если раньше он открыто высказывался о разных злоупотреблениях, не щадя и ответственное за них правительство, то в последнее время, когда речь заходила о таких злоупотреблениях, он отмалчивался, а порой даже пытался оправдать совершенно неоправдываемые вещи, запальчиво утверждая, что авторитет правительства надо всячески поддерживать и укреплять, народу всё равно ни к чему предоставленные ему свободы, поэтому желательно все эти свободы до крайности усечь и, прежде всего, упразднить рейхстаг, ибо своей безответственной болтовнёй депутаты только подрывают авторитет Германии во всём мире.

Вот и теперь, чуть ли не до самой последней минуты — уж пора было садиться на велосипед — отец напутствовал меня подобающей случаю речью, в которой он вновь упомянул о «бродягах, не знающих отечества», предостерегая меня от подобных встреч и знакомств.

Я уже дошёл до того, что из протеста всегда готов был заранее отвергнуть всё, что отец считал истинным и справедливым. И даже случись ему сказать о синем, ясном небе, что оно «синее и ясное», я бы из духа противоречия не преминул обнуржить в синеве неба что-нибудь такое, что не позволяло бы

ему называться «синим и ясным». Если отец говорил «еще очень рано», я говорил «нет, уже очень поздно», вместо того чтобы посмотреть на часы и точно установить который час.

Полный радостного возбуждения, я вскочил на велосипед и понёсся на Центральный вокзал, где меня ждали Гартингер и Левенштейн. Мы сдали велосипеды в багаж. Как только я уселся в купе рядом с товарищами и поезд тронулся, я вздохнул с облегчением, словно поезд мчал нас навстречу новой жизни.

Я не мог надивиться тому, с каким глубоким пониманием Гартингер слушал Левенштейна, рассказывавшего о новых течениях в своей любимой области — естествознании. Оба пользовались какими-то сокращёнными названиями и обозначениями, так что целые куски их разговора оставались для меня недоступными. Я вынужден был сказать себе, что, очевидно, я круглый невежда: я никогда не слышал об Эйнштейне, Михельсоне, Мишковском или Лоренце, имена которых приводил Левенштейн, рассказывая Гартингеру о теории относительности. Возможно, что и для Гартингера в этих рассуждениях было немало нового, но то, как он спрашивал и как старался во всём разобраться, обнаруживало в нём ясный и развитый ум. Я не рисковал даже вопроса задать, и в то время как Гартингер на лету схватывал разъяснения Левенштейна, я в конце концов утратил всякую способность мыслить и следить за ходом беседы.

Поезд плавно вошёл в сгущающиеся предвесенние сумерки.

Прошлогоднее жнивье уже подёрнулось нежно-зелёным флёром ранних всходов. За полосатыми бело-синими шлагбаумами ждали длинные ряды телег. Многоголосо звенели колокольцами возвращавшиеся с пастбищ стада. Два ряда тополей по обе стороны проезжей дороги убегали вверх к гребню холма, туда, где медленно вращались крылья ветряной мельницы, которые, подобно стрелкам, в своём непрерывном вращении указывали одновременно на землю и на облака.

О вы, зеленеющие пашни! О вы, бегущие облака!

Отсюда я родом. Вы моя родня...

Гартингер не согласен был с Левенштейном, который считал, что война немислима, потому что социал-демократы и профессиональные союзы никогда не допустят массовой человеческой бойни.

— Среди самих социал-демократов нет на этот счёт такого полного единомыслия, как это кажется на первый взгляд... ..Быть может, на ближайшем международном конгрессе — он должен состояться в Париже — удастся добиться единого реше-

ния, но сомневаюсь, можно ли всеобщей забастовкой помешать возникновению войны... Правда, за последние годы у нас неизмеримо больше мест в рейхстаге, но порой, когда я слушаю отца, мне становится и страшно и тошно от того мещанского духа, который всё сильнее и сильнее даёт себя чувствовать в партии... Взять хотя бы какого-нибудь Фольмара или Ауэра... они настолько «умеренные», что, мне кажется, правительству ничего не стоит привлечь их на свою сторону и заставить плясать под свою дудку...

Я услышал голос майора Бонне, который сказал на последней встрече Нового года: «Надо, чтобы они приняли участие в войне и одобрили военные кредиты...» — да и в первомайской демонстрации не было и следа непримиримости и грозной силы, звучавших в голосе Гартингера, когда он заговаривал о новой жизни... Но как же она наступит, эта новая жизнь, если... «Если уж немецкий рабочий не выручит, тогда...» — донёсся до меня из охотничьего домика далёкий голос... «Тогда... тогда... тогда...» — стучали колёса, но сейчас это не был страшный поезд, как тот, в котором я возвращался в Мюнхен после бабушкиной кремации. Это был специальный праздничный поезд с проездом по удешевлённым ценам, и пассажиры делали вид, что им очень весело. Они радовались, предвкушая праздничные удовольствия, а колёса всё стучали и стучали: «Тогда... тогда... тогда...»

— Да, если на нас нападут, то это возможно, — согласился Левенштейн, — тогда другое дело, тогда может, конечно, случиться, что они припрячут свой социализм подальше... Но по всей видимости нападающей стороной будем мы.

Гартингер рассказал о приятеле своего отца, крепком старике лет пятидесяти пяти, бывшем печатнике, который в первую субботу каждого месяца приходил вечером к его отцу за партийными взносами. Старик тщательно и любовно выполнял порученное ему дело, записывал и подсчитывал, сам наклеивал марки в членские книжки, аккуратно, ровно; все члены партии в отведённом ему районе круглый год платили взносы вовремя. Наклеив марку, он ласково проводил по ней рукой... Францля посылали за пивом. Потом товарищи садились за картишки. С важным видом, как и подобает в таких случаях, один из них тасовал карты. Переговорив за игрой обо всех политических событиях и поругав подстрекателей войны, старик пускался в воспоминания о войне семьдесят второго года, о «великой войне», как он говорил, в которой он участвовал в качестве канонира Ландсбергского артиллерийского полка. «Батарея наша была осбенная, все люди как на подбор». «Наша батарея», — многозначительно повторял старик и поднимал руку

с картами, как бы торжественно и грозно возвещая о тех событиях, о которых пойдёт рассказ. Итак, батарея расположилась на холме. Старик уже не был простым канониром, это был его высокоблагородие командир батареи, господин капитан Ксиландр — «замечательный малый, кстати сказать», — он командовал: «Батарея сми-и-и-рию! Готовсь!» Старик поочередно превращался во всех лейтенантов, во всех командиров орудия и наводчиков, которых он помнил по имени, он был всей батареей «до последнего винтика», лафетом, пушкой, картечью, когда батарея, в полной боевой готовности, занимала позиции на холме. Старик, казалось, молодец и оживал. С размаху хлопая картами по столу, он изображал кавалерийскую атаку неприятеля, ряды которого батарея осыпает картечью... Вот в тучах пыли неприятель несётся на холм... Густой храпящей тучей... Сверкают палаши, блестят каски... Топот лошадиных копыт... Слепящая лавина, едва касающаяся земли... Хлоп — первый залп. Хлоп — градом сыплется картечь. Туча задымилась. Кони — на дыбы, наскакивают друг на друга. Хлоп, хлоп, хлоп — следует залп за залпом. Кони, вертясь на задних ногах, сбрасывают с себя всадников. Всадники хватаются за шеи коней, цепляются за гривы. Всадники летят вниз головой. Хлоп-хлоп-хлоп — и туча рассеялась. Всадники, застревая ногами в стремях, кровавыми лоскутьями волочатся по земле. Кони, перекачываясь в кровавой жиже, погребают под собой всадников... Хлоп-хлоп-хлоп — хлопал он картами по столу, пока от атакующего кавалерийского полка не осталось ничего, кроме стонущей, воющей, ревущей мешанины из человеческих и лошадиных тел. Теперь ему понадобились уже обе руки, чтобы как можно нагляднее показать расстрелянную кучу тел, этот бесформенный, безнадежно спутанный клубок, а изображая пронзительное ржание скачущего в смертном галопе коня с вываливающимися внутренностями, он так увлёкся, что игра прервалась. Потом старик — хлоп! — дал последний залп в честь победы и возобновил игру. «Ни один, — он внушительно поднял указательный палец, чтобы подчеркнуть это «ни один», — ни один француз не избежал кровавой мясорубки...» Описание боя увенчалось появлением генерала фон-дер-Тапа, который пожал руки всем офицерам и солдатам батареи, в том числе и ему. Гордо показывал он ту самую руку, которую пожал фон-дер-Тан, забыв, что всего несколько минут назад он этой же рукой любовно наклеивал марки в членскую книжку. Тут отец Гартингера поднимал глаза, которые он не отводил от карт, стыдясь за своего старшего товарища, а мать, сидевшая за швейной машинкой, придвигалась ближе, чтобы посмотреть на знаменитую руку, редкость широкую, похожую на лопату...

— К своим военным воспоминаниям старик возвращается гораздо охотнее и рассказывает о них с гораздо большим воодушевлением, чем о временах «закона против социалистов», а между тем он держался молодцом и несколько месяцев отсидел в тюрьме, — продолжал Францль. — Судя по всему этому, товарищ Ибелакер, как зовут старика, не такой уж страшный противник войны, каким он может показаться на первый взгляд и каким, вероятно, он сам себе рисуется, а он ведь не один... Определить же, кто на кого напал, в начале войны очень трудно. Ведь нельзя же полагаться на официальные сообщения...

Была уже ночь, когда поезд, миновав длинную дамбу, соединяющую остров с материком, прибыл в Линдау. Со стороны Брегенца, там, где разбросаны хижины нагорных пастухов, мерцали огоньки. Совершенно так же, как в то утро, когда мы прогуляли школу, я во всех встречных видел подосланных к нам шпионов. Лихорадочно протискался я к багажному вагону за велосипедами и, потом, нажимая на педали, всё время оглядывался, не организовал ли отец погоню, и не следуют ли за мной полицейские с ищейками. Даже огоньки высоко в горах, там, где стояли разбросанные пастушьи хижины, зловеще мигали и выслеживали нас.

Мне казалось, что я совершил нечто чудовищное! Нечто несравненно более страшное, чем если бы я тогда столкнул отца с горной вершины. Я бежал, приказ о поимке беглеца разослан во все концы. Я совершенно точно знал, когда отец обнаружил обман: ровню в два часа Фек и Фрейшлаг зашли за мной. Волной страха меня отнесло через весь обратный путь назад, в Мюнхен, хоть и взрослый, я с трясущимися коленями стоял перед державным отцом, от которого пытался бежать...

Мы сидели в небольшой деревенской гостинице «Корона». В столовой с потолка свисала цепь с железным ядром — память о 1647 годе.

Я поковырял в носу, как Гартингер в то утро, почесал колено, которое ещё минуту назад так плачевно дрожало, когда я стоял перед отцом, поверженный к его ногам волною страха, и посмеялся над тяжеленным дурацким ядром 1647 года, свисавшим с потолка на цепи. Левенштейн поднял глаза — он читал газету.

— Здесь отрывок из Толстого... Толстой был...

«Как-то совсем по-иному плыли облака по высокому бесконечному небу...»

Левенштейн рассказал нам один эпизод из романа Толстого, и эти слова запечатлелись у меня в памяти. Я сам лежал на поле сражения под высоким, бесконечным небом

Опять вращались по кругу стрелки ветряной мельницы, кавшейся меня своими крыльями. Крылья-стрелки показывали одновременно на зеленеющие пашни и на бегущие облака.

— Послушайте, я давно хотел спросить, не знает ли кто из вас, как назывался тот корабль, это был целый корабль...

— Это... это был,— стал вспоминать Левенштейн и вспомнил: — Броненосец «Потёмкин».

Да это, это оно и есть! Всё это одно: ростки новой жизни, единое, великое целое. Совсем другой, новый мир...

Мы поднялись с зарёй и по широкому шоссе покатали в Меерсбург. Не раз нам приходилось слезать с велосипедов и вести их в гору. Мы ехали, будто по сплошному огромному саду, засаженному яблонями и виноградными лозами. Когда мы достигли Меерсбурга и перед нами широко раскинулось озеро, покрытое солнечной лазурью, Левенштейн спросил меня:— Ты читал книгу Готфрида Келлера «Зелёный Генрих»? Нет?!— Гартингер, конечно, читал. Левенштейн помнил наизусть слова: «Если в каждом вечернем облачке я вижу знамя бессмертия, то пусть каждое утреннее облако станет для меня золотым стягом всемирной республики».

«Это — да, это оно и есть!» — звучали во мне отголоски моих вчерашних дум. Горы, покрытые снегом, стояли полукругом, будто замыкая озеро высокой зубчатой каймой. «Это самое важное, самое важное...» Какне-то совсем иные облака плыли в высоком, бесконечном небе. Страхи рассеялись, и: «Зачем? Зачем?» — спрашиваю высокое, бесконечное небо, взирая сверху на поле сражения. Прекрасен мир, прекрасен, и потому, что он так неизъяснимо прекрасен, должна наступить новая, совсем новая жизнь.

Через всю эту красоту, охраняя что-то внушительные владения, тянулась ограда, перевитая колючей проволокой, и грозная табличка предупреждала о злых собаках. Снова зазвучали деланные голоса юнца и дровосека, и прекрасный мир раскололся на две части. Но и прекрасная часть мира потускнела, ибо тени из другой, тёмной части мира омрачали и мutilи её.

Мы поехали дальше, до Кресборна. Там мы поселились у владельца мелочной лавочки, который жил у самого озера и, помимо торговли, занимался сдачей лодок напрокат. Мы оставили у него велосипеды и побрели по берегу, швыряя в воду плоские камешки. Я смотрел вслед каждому пароходу, проплы-

вавшему вдали, словно это и был тот благословенный корабль, встречая который, я когда-то, во сне, побежал на берег и от радости швырял камешки в воду.

Утром, когда мы проснулись, из лавочки к нам на сеновал донеслись звуки крестьянского говора, почти непонятного, чуждого нам говора, точно в родной стране жили бок о бок с нами неведомые чужеземцы. «Трое чужаков» и «городские» — называл нас лавочник в разговоре с крестьянами. Местные жители чуждались нас, но совершенно так же кресборнцы чуждались людви́гсгафенцев, да и между жителями одного и того же селения не было единства, и они часто оспаривали друг у друга право называться «здесьними». Общины враждовали с общинами, злобились друг на друга и вели друг против друга нескончаемые тяжбы. Гартингер ещё мог бы, пожалуй, найти общий язык с «чужеземцами», но и он, невольно, говорил с ними деланным голосом, да и они недоверчиво оглядывали его.

Опять стало мне страшно при мысли о том, что будет с новой жизнью, особенно, когда я вспомнил ещё и о городе: все отгородились друг от друга, точно колючей проволокой, и грозная табличка предупреждала: «Осторожно! Злые собаки! Вход воспрещён!» Разве отец Гартингера не обнёс высоким, чуть ли не в метр вышиной, забором приобретённый им на заднем дворе жалкий клочок земли, на котором он разводил фасоль? И как он гордился своим забором, как тщательно и любовно каждую весну приводил его в порядок и красил, не упуская случая повесить табличку: «Осторожно! Окрашено!» А мой отец состоял в корпорации «Суэвия», куда более аристократической, чем «Франкония», не говоря уже о каких-то там буришеншафтах; игроки в кегли презирали игроков в скат, различные вероисповедания и партии проявляли абсолютную нетерпимость друг к другу; мужские хоры постоянно воевали со смешанными хорами; ферейны, различавшиеся по цвету трико, состязались друг с другом... Казалось, весь мир взят на откуп ферейнами...

Левенштейн пренебрежительно бросил: — Мне бы их заботы: доит корова или не доит?.. — Но Гартингер спокойно возразил: — Доит корова или не доит — это, по-твоему, неважно?! Неважно, как и чем живёт человек? Ну, знаешь, ты очень заблуждаешься... Вообще, всё то, что ты говоришь о крестьянстве... — С крестьянством нам недолго справиться, только бы в городе решилось дело... — упорствовал Левенштейн.

«Можно ли всё это объединить? — растерянно спрашивал я себя. — Каждая половина мира раздроблена и расщеплена в себе, обезображена своими изъянами, так где же она, и что она такое, эта Германия?»

В Констанц мы попали в пасхальное воскресенье. Колокола громко благовестили о воскресении из мертвых. В узких извилистых улочках пузатые дома с островерхими фронтонами нависали над тротуарами; и это тоже она, это — моя родина. Время, отделявшее Нердлинген от нынешнего дня, сжалось в юдиз короткий день. Я сел и написал письмо Молсу, словно исполняя обещание написать «немедленно».

Дом на улице Гуса у Шпецских ворот, где Гус был схвачен своими тюремщиками, украшен был мемориальной доской и барельефом. Расположенный на юдном из озёрных островов доминиканский монастырь, в котором Гус находился в заточении, был превращён в гостиницу. В центральном нефё Констанцкого собора, прямо против входа, в шестнадцати шагах от него, на одной из больших каменных плит, проступало пятно, обозначавшее то место, на котором стоял Гус, когда церковный собор приговорил его к смерти через сожжение.

Один за другим ступили мы на большую каменную плиту...

Мы сидели в тесной, низенькой, отделанной деревом комнате в погребке «У святого Стефана». Последний вечер: завтра мы возвращаемся в Мюнхен. Разговоры не умолкали.

— Вот сейчас ты дело говоришь! — воскликнул Гартингер, кивая Левенштейну, который рассказывал много интересного из истории крестьянских войн. — Разве ты не видишь, как ты себе противоречишь? Помнишь, что ты говорил вчера о крестьянстве?

— Революционер — и верит в бога, как это сочетается? — спросил я нерешительно; у меня не укладывалось в голове, как это Иоганн Гус и Томас Мюнцер были революционерами и вместе с тем верили в бога.

Левенштейн только усмехнулся на мой вопрос и собирался пропустить его мимо ушей.

— Ничего смешного тут нет! — почти грубо одёрнул его Гартингер, — да и на глупый вопрос надо отвечать без высокомерной усмешки. Эта усмешка может в конце концов привести тебя к полному одиночеству.

Левенштейн говорил очень гладко, легко увлекался и тогда забывал обо всех и обо всём, меня поражало его умение удивительно красиво строить фразу, но порой мне казалось, что удачному обороту он готов принести в жертву даже смысл и что это часто приводит его к неожиданным и не желательным для него самому выводам. Но, раз придя к ним, он упорно отстаивал их и только на следующий день, если разговор заходил на ту же тему, молчаливо давал понять, что признаёт свою вчерашнюю ошибку. В присутствии Гартингера Левенштейн стал

другим, он в значительной степени утратил ту уверенность, с какой говорил там, в Английском парке, у водопада. Быть может, он чувствовал превосходство Гартингера, хотя тот и уступал ему в знаниях, и, желая отстоять себя, впадал в излишнюю крикливость, а может быть, говорил всякие благоглупости из желания порисоваться. То ли стараясь сгладить разницу в происхождении Гартингера и своём, то ли считая себя обязанным доказать, что, несмотря на своё буржуазное происхождение, он всё же подлинный социалист, Левенштейн сегодня из кожи лез вон, демонстрируя свои социалистические убеждения, причём делал это часто в неприятной преувеличенной форме, иногда во вред тому, что он пытался доказать. Гартингер говорил вперемежку на двух языках. В свою естественную речь он вплетал выражения, позаимствованные из газет и книг, уместные, пожалуй, на каком-либо собрании, но только не в частном разговоре. Нередко, произнося такую книжную фразу, он сам спохватывался и, не договорив до конца, возвращался к своей обычной речи. Он не находил общего языка с Левенштейном, говорил тоном непререкаемого авторитета, точно учитель с учеником, и это тоже мало содействовало их взаимному пониманию; в результате, едва обменявшись несколькими словами, они, хоть и были единомышленниками, начинали спорить. Они спорили ожесточённо, каждый старался больно уколоть и уязвить другого, и в конце концов оба они почти забывали о предмете спора. Мне казалось, что они втайне сводят какие-то счёты. Гартингер как бы ставил в вину Левенштейну то, что у него столько знаний, которые он, Гартингер, не имея возможности учиться, не мог приобрести. А Левенштейн, казалось, был на Гартингера в претензии за то, что, несмотря на недостаток знаний, тот судит о многом правильнее, чем он, считая, что такое преимущество даёт Гартингеру его происхождение и соответствующий жизненный опыт. Проходило немало времени, пока этот подспудный спор перегорал и оба они убеждались, что, учась друг у друга, они лучше служат общему делу. На меня Левенштейн не обращал сегодня никакого внимания и ясно давал мне понять, что моё мнение в счёт не идёт. Гартингер же, наоборот, говорил со мной, как добрый товарищ: когда он видел, что я не успеваю следить за ходом его рассуждений, он и раз, и другой останавливался, давая мне время догнать его. Так говорил со мной Левенштейн у водопада в Английском парке, и так я ждал Левенштейна в тумане и искал его носовой платок, а он потом в благодарность спел незнакомую мне песню. Своими речами Гартингер как будто бережно помогал мне переступить через самого себя. Временами он на какую-то часть пути предоставлял мне выпутываться одному, как тогда,

у садоводства Бухнера. «Правильно!» — спешил он поддержать меня, едва я делал малейший шаг в должном направлении, и поощрял меня, в моих усилиях разобраться в новых для меня мыслях. — Правильно, понятнее «бог» было в то время незабываемым для каждого, так что революционером можно было быть только «в боге». Всё находило себе выражение в религиозных представлениях... Вне «бога» можно было просто остаться непонятым...

— А как вы представляете себе нового человека? — спросил я уже смелее, на что Левенштейн, сдержав, правда, усмешку, но всё-таки раздражённо заметил: — Какне-то бредни у него в голове... «Грёзы» Шумана... Кому это нужно?

— Нужно, нужно! Надоело это ваше узколюбое «нужно», — горячо возразил ему Гартингер. — «Грёзы» Шумана, по-моему, прекрасная вещь.

— И по-моему! И по-моему! — крикнул я так громко, чтобы и учитель Штехеле меня услышал.

Я нарисовал «Радость». Но я испортил свою картину тем, что пририсовал к ней безобразную войну. Бабушка стёрла войну, и на месте войны засинело поле васильков, излучавшее мир... Дедушка в юности отправился в Италию, чтобы запечатлеть «Прекрасное». Вместо этого из-под его кисти вышла картина «Голод». И он забросил живопись... Я нарисовал «Ад» и себя изобразил в нём в виде «Скотской образины»; и точно так же, как сам я был многолик, так и этот образ преисподней складывался из множества личин. Но «Искатель счастья», «Молодой человек на дознании у следователя», «Неотступно вопрошающий» и «Вдумчивый корреспондент», «Дирижёр» и «Тайно читающий книги», выйдя из картины «Ад», устремились, хоть и неясно ещё различая её контуры, на поиски новой жизни.

Я видел «Совершенного человека».

Он вырос в среде, дававшей простор всем его хорошим свойствам и с детства питавшей его разносторонним знанием. «Совершенный человек» был равно совершенен телом и духом. Он не знал, что такое ложь и лицемерие, ибо не было ничего, что заставляло бы его лгать для своего спасения или лицемерить со страниц ваших книг, когда уста их умолкнут навеки... необъятная жизнь была раскрыта перед ним, не было в ней ни укромных уголков, ни тёмной возни, да и что было прятать, раз всё совершалось открыто и люди свободно жили друг подле друга. Они не угнетали друг друга и властвовали только над природой. Дружный, высоко организованный труд безгранично умножал богатства земли, и все люди, без различия, пользовались её обильными плодами и наслаждались её красотой. Голод и

войны отошли в область прошлого. Энергия человечества, некогда расточавшаяся в бессмысленной взаимной вражде, слилась в единый поток, и над мечтой о «Совершении человеке» зажглись слова: «Нет силы выше силы человека...»

Свободно говорил я о том смятении чувств, в какое я был повергнут, и о той нерешительности, которая ещё и до сих пор швыряет меня то в одну, то в другую сторону. Возможно, что я трус, но страх одолевает меня, страх... Впрочем, в эту минуту я не чувствовал никакого страха, я смеялся, вспоминая наш приезд в Лидау и дурацкое ядро, такое же здоровешное и дурацкое, как моя собственная дурацкая башка.

— Вот ещё проблема! — пренебрежительно отмахнулся Левенштейн. — Дело не в единицах, наше движение обращено к массам.

— Единицы нас очень интересуют... — возразил Гартингер. — Наше массовое движение тем и отличается, что оно высоко ставит интересы единиц.

\* \* \*

Я стоял на большой каменной плите, вроде той каменной плиты в Копстацском соборе, на которую все мы ступали поочередно. Плита поднялась и подняла меня так высоко, что я коснулся головой облаков, плывущих в высоком, бесконечном небе. Но я не оторвался от твёрдой земли. Я стоял стойко. Вдали, на холме, ветряная мельница указывала крыльями-стрелками и на землю и на облака, и дурацкое тяжёлое ядро страха разлетелось в куски.

«По-тём-кии», — произносил я по складам во сне, а Гартингер сказал: «Мы в поисках подлинного революционера, мы в поисках нового человека».

«Да, это оно, наконец!» — Я проснулся.

## XLV

Мать и на сей раз была «против», когда отец, по возвращении беглеца, встретил его словами: — Ну, за это ты у меня заплатишься! — Мать стояла у двери в гостиную. — Хоть бы открытку прислал! — сказала она. — Как можно доставлять родителям столько беспокойства?

— Этому негодяю до нас никакого дела нет, он только того и добивается, чтобы прежде времени свести нас в могилу. Ну так вот, на летние каникулы ты останешься дома, а мы едем в Гармиш-Партенкирхен, так и знай.

«Чудесно!» — радовался я про себя: у меня в кармане лежал ответ Мопса, в котором он сообщал, что в середине июля собирается недели на две в Мюнхен. «...Наконец-то, немало утекло воды...»

— А что касается твоих встреч с Гартингером, которые ты опять возобновил, — закончил отец, отпуская меня, — то имей в виду, что всякому терпению есть границы. Если ты с сегодняшнего дня не прекратишь эти встречи, я должен буду тебя попросить, — ты видишь, я говорю совершенно спокойно, — не переступить больше порога этого дома. Старик Гартингер, при его блестящих связях, конечно, немедленно обеспечит тебя доходной службой. Он, может быть, даже усыновит тебя!

«И всё это кончается эшафотом...» — мысленно передразнил я отца.

Но отец говорил размеренно и спокойно, так говорил бы он, выступая в суде, в его тоне чувствовалось даже некоторое равнодушие, — возможно, он уже отказался от мысли переубедить или «исправить» меня и хотел только договориться до полной ясности и решить всё по-деловому.

«Какое мне дело до твоей жизни, до твоей незадавшейся жизни? — хотел я бросить отцу в лицо, — я не свалочное место для перегоревшего в тебе мусора», — но я сказал Болтуну и Пустозвону: «Молчи!» Эта незадавшаяся жизнь мне вовсе не безразлична. То самое, что изуродовало жизнь отцу, и меня насильно толкает на неверный путь. В моём нежелании жить стоя навзятку, в моём непослушании отец видел, вероятно, упрек себе в том, что он слишком далеко зашёл в своём послушании; он, быть может, опасался, что я когда-нибудь выдам его тайные помыслы и стремления, осуществив их в своей жизни, и тогда сын разоблачит отца, его загубленную и нежитую жизнь.

— До чего же упрям! До чего же упрям этот негодяй! От кого только он унаследовал такое упрямство! — не раз говорил матери отец, заранее отводя от себя всякое подозрение и взваливая всю ответственность на мать.

— У нас в роду этого не бывало! В нашем роду — никогда! — Этим отец заканчивал своё обвинительное слово и поспешно выходил из комнаты.

Прошло всего несколько дней, и я почувствовал, как дом наш снова забирает надо мной силу. Я сопротивлялся этому; мрачно бродя по комнатам, я до последней мелочи восстанавливал в памяти свою пасхальную поездку. Обороняясь от неумолимой власти дома, я без конца бормотал, точно молитву: «Это оно, это оно, наконец». И ввысь, к плывущим в бесконечном небе облакам обращал свой взор. Но повсюду подстерегали меня

тенёта воспоминаний, я всё более и более запутывался в них, и вот уж я снова один из жильцов дома № 5 по Гессштрассе, без надежды на избавление.

Все сговорились против меня. Всё в доме удерживало меня от стремления к новой жизни, даже вид из окна на пансион Зуснер. Удерживала Христина, возившаяся на кухне, и портрет матери, стоявший на мольберте в гостиной, и сама мать, которая была «против». «Тебе никогда, никогда не вырваться отсюда, если ты будешь цепляться за всю эту рухлядь»,— твердил я беспомощно...

Не было ли так: весь наш дом казнил меня теперь за то оскорбление, которое я нанёс ему своим бегством. Бесчисленными, нечувствительными ударами бил он меня, чтобы сделать мягким и податливым. Каждая вещь, стоявшая навывтяжку на указанном ей месте,—цветочные горшки, фарфор и вазы, картины, письменный стол, шкаф и кушетка—набрасывалась на меня, покинувшего своё место, и, взяв под стражу, призывала к порядку. «Изменник!—ругал я себя.—Трус!» И чем сильнее ругался, тем податливее становился. «В конце концов у нас здесь преуютно, премило»,—издевался я над собой и, расслабленно скучая, удобно усаживался у окна после сытного обеда.

Они не выносили его, этого Гартингера. Я часто мысленно приводил его сюда.—Вон!—кричал ему весь дом.—Не смей переступать наш порог!—Стул отодвинулся бы, если бы «этот самый» захотел сесть на него; да что там!—стул предпочёл бы скорее сломать себе ножку, по не подставил бы «этому самому» своё сиденье. Стопан лучше разбился бы вдребезги, но не позволил бы ему напиться. Самая дверь, когда я отворял её, просила:—Только того, пожалуйста, не впускай!—А ковёр свёртывался в трубку:—Меня только что выбили! Смотри, чтобы тот не замарал меня! Гони его вон!

\* \* \*

Все улицы по пути в гимназию были в заговоре против новой жизни. Все улицы по пути в гимназию гнали от себя «этого» и враждебно молчали, когда «этот» провожал меня. «Брось ты этого Гартингера,—говорил мне весь путь, который вёл в гимназию,—он для нас «тот, тот самый», даже имени его запоминать не стоит».

Тоскливый путь нужно было пройти до конца. Однажды он протянется дальше—в казарму, такой же тоскливый, и все многочисленные продолжения тоскливого пути составят в конечном итоге жизненный путь—очень разнообразный, интересный путь, не правда ли?

Едва я шагнул через порог, как Фрейшлаг проревел на весь

класс, в котором уже все были в сборе: — Ах ты, свинья вероломная! — А Фек угрожающе подскочил ко мне: — Только попади в армию, мы тебе припомним этого паршивого Еврейчика.

— Замолчи! — резко оборвал я его и быстро сел на своё место: мне стыдно было за Левенштейна, который жался за моей спиной, ница защиты.

«Только попади в армию», — эта фраза угнетала меня до конца уроков. Оставалось всего три месяца до окончания гимназии, а там нужно будет на чём-то остановиться, да, нужно... «Ведь и среди офицеров есть порядочные люди, например, майор Боннэ, — уговаривал я себя, — он вовсе не такой уж противный». Но я тут же возражал себе: «Ну, а как же новая жизнь?» По-настоящему следовало бы начать совершенно новую жизнь, стать другим человеком. «Жить по-новому — тоже призвание! — издевался я над собой. — Надо знать, чего хочешь». Но чего хотеть, к чему стремиться?! «В конце концов мой отец важный государственный чиновник с правом на пенсию», — оставалось доводом, который не мешало ещё хорошенько взвесить. Надо было чего-нибудь хотеть. Но как я ни старался, я не мог выжать из себя никакого желания, я не способен был ничего желать, я ровно ничего не желал. Опять всё перемешалось. «Сложи свои кубики!» — сказал я себе и убрал в строительный ящик высокую башню, которую я себе построил... Что же мне, на картах погадать или заказать себе гороскоп? Или же, как это делают многие, попытаться угадать своё призвание по собственному почерку? Кое-что можно, кажется, распознать даже по форме черепа, а сколько к моим услугам различных предсказателей, повсюду видишь их вывески! О каких только пророках, целителях и курсах лечения не приходится слышать. Может быть, отказаться от мяса и питаться одними сырыми овощами или сменить ботинки на сандалии?..

«Вот оно, да, вот оно, наконец!» — передразнил я самого себя. — Почему ты не отрастишь себе усы, это чрезвычайно выгодно изменило бы весь твой облик, — советовала мне мать, и я действительно несколько раз пытался отрастить усы, чтобы выгодно изменить свой облик. Но пока ещё скудная растительность внесла только одно изменение в мой облик — она притягивала к себе мои руки, которые без конца пощипывали редкие волоски, и это было для меня выгодно в том смысле, что я нашёл, кроме карманов, ещё одно подходящее место для рук, избавив их от необходимости смущённо теребить пуговицы. Другого выгодного изменения в своём облике я не находил; кроме того, я опасался, что с годами щетинка на моей верхней губе превратится в похожие на белчий хвостик усища пресловутого воспитателя Ферча; щетинка уже

и сейчас приняла подозрительный рыжеватый оттенок и воскресла у меня привычку, пощипывая её, мычать давно позабытое «гм-гм-гм»... Матери тоже не давала покоя жажда перемен. И она пыталась чрезвычайно выгодно изменить свой облик тем, что перешивала старые платья и даже заказала одно новое. Если мне покупали новые ботинки или костюм, мать удивлялась: — Не понимаю, у тебя новые ботинки, а ведёшь ты себя всё так же.— Или:— Повидимому, даже новый костюм на тебя не повлиял... А я-то думала, в новом костюме он станет совсем другим человеком.— Мать и отцу купила несколько мягких воротничков, но это новшество не пришлось ему по вкусу, оно не вынуждало его так прямо держать голову, как того требовали высокие крахмальные воротнички, и он ещё выше, ещё судорожнее вытягивал шею, чтобы не потерять из-за мягкого воротника привычной выправки. Наконец мать, убедившись, что он, «видю, ни на что не сменяет высокие крахмальные воротнички», подарила мягкие воротнички дяде Оскару. Но мать не прекращала своих попыток вводить какие-то перемены, хотя и не раз заявляла, что уже давно покорилась своей судьбе. Однажды она решила поразить нас тем, что вместо колец для салфеток сшила конверты.— Что это значит? Опять лишние расходы? К чему эти новшества?— сказал отец, опасливо и нерешительно подходя к столу.— Неужели ты не видишь, что весь стол принял другой вид, и вообще как-то сразу всё изменилось к лучшему,— разочарованно отвечала мать. Но отец находил, что ничего не изменилось к лучшему и принялся свыше всякой меры расхваливать кольца для салфеток. Недовольным покачиванием головы встречал отец и всякую новую причёску матери, на что мать говорила всегда одно и то же:— Вы, мужчины, видно, не хотите, чтобы мир менялся!— Целыми днями велись разговоры о конвертах для салфеток и мягких воротничках, пока мать, в своей страсти к переменам, не придумывала опять какого-нибудь новшества, такого крохотного, что его никто не замечал, и она была очень довольна, потому что это новшество сразу всё меняло и притом без ведома отца и против его воли. Но меня она иногда посвящала в свою тайну, взяв с меня слово, что я буду молчать...

Бог его знает, как жить... Не высывывай далеко головы, милейший, не то тебе и в самом деле её оттяпают вместе со всеми твоими никчемными мыслями... «Как-нибудь обойдётся»,— от этого скверно пахло, как изо рта обер-пострата Нейберта. Быть может, случится что-то, что поставит меня перед готовым решением. Что-то случится. Что-то должно произойти. Что-то...

После уроков Фек подошёл ко мне:— Мне надо с тобой поговорить.— Говорить нам как будто не о чём,— попытался я уклониться, но Фек продолжал настойчиво, тоном заклинателя:— Я должен тебя предостеречь. Ты сбился с правильного пути.— Наверно, опять какие-нибудь тайны... Пожалуйста, я весь внимание,— сказал я недоуменно и иронически искривил губы.

— Никто мне этого не поручал,— сказал Фек, когда мы зашагали с ним по направлению к Английскому парку.— Но я знаю тебя. Я вижу, что с тобой делается.— Он описал мне, что со мной делается, и, хотя он то и дело пускал шпильки по адресу Гартингера, я всё же невольно изумился проницательности, с какой он разглядел мою растерянность.— Если ты собираешься изменить своей среде, пожалуйста! Но только раньше хорошенько взвесь всё значение этого и не рассчитывай на сочувствие.

Я хотел пойти по Принцрегенштрассе, но Фек как-то незаметно повёл меня к водопаду.

— Я даже могу понять тебя. Пожалуйста, не воображай, что мне твои настроения, если можно это так назвать, незнакомы. Наш брат уж не тот, что был прежде. Угрызения совести и прочая дребедень,— для таких переживаний существует некое укромное место... Но, но...

Фек направился прямо к скамье у водопада. Я не только не противился, как несколько минут назад, но, наоборот, пошёл вперёд и, подойдя к скамье, спросил:— Посидим немного, хочешь?— Туман не клубился, светило солнце.

Фек взглянул на скамью и отпрянул.

— Чего ты? Скамья тебе ничего не сделает! Места тут хватит для многих.

— Идём! Идём!— Фек взял меня под руку и быстро увёл из парка:— Мы там всегда сидели с Дузель...

— Что «ю-ю»?— спросил я немного погодя.

— Но... но мы должны утверждать своё господство во что бы то ни стало. Вот и всё! Такие, как мы, с гимназической скамьи должны показывать этому сброду когти. Ни на шаг не отступать, ни одной запятой не отдавать, не очищать ни сантиметра наших позиций! Место под солнцем принадлежит нам, и только нам, раз навсегда. Да, классы существуют. Я не так глуп, чтобы оспаривать этот факт, хоть иногда бывает целесообразно и отрицать наличие этого бесспорного факта. Но мы, господствующий класс,— понятие справедливости и произвола это чепуха, — обязаны и

должны охранять существующий порядок, и если понадобится, то железом и кровью... И ещё разреши тебе сказать: одновременно быть в том и другом лагере нельзя. Долго шататься из стороны в сторону ты себе позволить не можешь. тебя разμεлет. Ты должен притти к какому-нибудь решению. И точка! Вокруг этих вопросов разводят много болтовни. Говорится куча красивых слов, чтобы как-нибудь уйти от выводов. Верность правящей династии, любовь к отечеству. Всё вздор... Я тебе этого говорить не собираюсь. Ты, наверное, крайне изумлён. Ты думал, что Фек — мамелькин сынок, буржуа, тупица!.. Верно? Но тупости нашей, ручаюсь, пришёл конец. Игра идёт ва-банк... Говорю это тебе как товарищ. Ты знаешь моё отношение к вопросам товарищества. Итак, выправка прежде всего!

Фек не ждал от меня ответа, казалось, он выполнил свой долг, и только.

Он дёрнул меня за рукав:— Ну, до сих пор всё ещё соло? Вредно для здоровья, мой милый!

— Теперь я могу тебе признаться,— начал я, собираясь рассказать ему о Фанни.

— Валяй, только совершенно откровенно! Ну!— Фек приготовился слушать. Но я умолк.

— Нет, нет, ничего у меня не было,— отстранил я его и коротко попрощался.— Во всяком случае, спасибо.

На углу Терезиен- и Амалиенштрассе помещалось кафе «Стефани», по дороге в школу я каждый день проходил мимо него. Приближаясь к кафе «Стефани», я замедлял шаги и часто останавливался на противоположном тротуаре, наблюдая необычайное оживление за окнами кафе и удивляясь, как это я столько лет, не глядя, проходил мимо. Мне удалось уговорить Левенштейна пойти вместе в кафе «Стефани».

Мы несколько раз нерешительно покружили у дома, ни один из нас не отваживался войти первым, а между тем при посещении других кафе, кафе «Люипольд» или кафе «Фариг» на Нейгаузерштрассе, мы не испытывали ни малейшего смущения.

— Здесь бывает особая публика, в наших обыкновенных костюмах мы привлечём внимание,— запугивали мы друг друга.— А вдруг нас выкинут вон или поднимут насмех.

— Ты так смело прокладывал себе дорогу сквозь туман, почему же теперь ты робеешь, ведь ты опытный вожатый...

«Ты опытный вожатый...» Я невольно рассмеялся, подумав о том, как я спасовал, не зная, что ответить Феку, хотя слова его бушевали во мне, и о том, как теперь я вовлекаю Левенштейна в авантюру.

— Ну, что тут такого, подумаешь! — собрался, наконец, с духом Левенштейн и, споткнувшись на пороге, скрылся за вращающейся дверью, я же остался на улице и опять побрёл по Амалиенштрассе. «Не съедят же тебя там». Я решительно повернул и двинулся вслед за Левенштейном. От волнения я неловко ступил, и дверью защемило полу моего пальто.

Левенштейн сидел за круглым мраморном столиком в задней комнате кафе и потягивал через соломинку лимонад, а рядом, за длинным столом, рыжебородый человек играл в шахматы с сосредоточенным, углублённым в себя брюнетом. Рыжебородый был в тёмнозелёной рубашке, на спинке стула, рядом с ним, висели его огромная широкополая шляпа и суковатая палка. Сосредоточенный вздрогнул и высоко вздёнул плечи, когда к нему обратилась за папиросой худенькая, востроносая девушка. Глаза девушки покружили по комнате, минуя нас. Её медножёлтая копна волос погасла в полумраке, — девушка вернулась к своему столику, в противоположном углу. Там маленький человечек в вызывающе перекинутом через плечо красном кашне, в круглой шапочке, царапал что-то на мраморной доске.

Посетители сдвигали столы, передавали через головы стулья, менялись местами. — Сколько народу! Какое оживление! — восторгался Левенштейн, прихлёбывая лимонад. Мы одни с ним сидели, словно пригвождённые, среди этого всеобщего передвижения.

Сидевшие за столиком нередко ничего не заказывали, а те, что заказывали, вынуждены были выслушивать от кельнеров вежливое: «Простите, господа, я обязан получить вперёд». На это многие грозили, что с завтрашнего же дня они перекочают напротив, в кафе «Глазль». Но вот появился новый посетитель; кивая во все стороны, он, волоча ноги и как бы толкая что-то впереди себя, добрёл до красного плюшевого дивана и тяжело уселся на него, рядом с измождённым лысым субъектом в пиджаке с поднятым воротником, который то и дело доставал понюшку из спичечной коробки. Вновь пришедший обменялся с нюхальщиком несколькими словами и, пылливо разглядывая публику, стал кивками подзывать к своему столу всех новых посетителей. Слышно было, как он, заикаясь, произносил: «П-п-п-я-а-т-ть-ть п-п-п-ф-е-е-н-ни-г-гов, не найдётся ли у вас пяти пфеннигов, пожалуйста?!»

Вскоре я заметил, что взгляд попрошайки устремился на нас, и хоть мы укрылись за газетами, заика всё же протискался к нашему столику: — Простите, уважаемые, нет ли у вас пяти пфеннигов?!

Мы были очень польщены и охотно дали ему по пяти пфен-

пшгов, тем более что заика любезно пригласил нас к себе, на плюшевый диван.

— Ну, вот видишь! — торжествовал я, когда мы переселись на диван. — Я так и знал! — подтолкнул меня Левенштейн. Он поклонился и назвал наши имена. Заика только и сказал: «Присаживайтесь!», а измождённый, не обращая на нас внимания, раскрыл спичечную коробку и соломинкой зачерпнул оттуда свежую понюшку.

— Человеческая жизнь... Вы представьте себе: бесконечная снежная равнина, — с усилием выговаривал заика, повернувшись к нюхальщику. — Огромная белая пустыня. И на этом бескрайнем пустынном просторе точки, крохотные точки — мы. Эти точки движутся, собираются, растекаются, сталкиваются, образуют различные фигуры, точки исчезают, точки возникают, одни фигуры распадаются, другие вновь образуются. А кругом бескрайняя снежная равнина, белая, далёкая пустыня. — А точки, — продолжал мысль заики нюхальщик, — в каждой из них заключена такая же бесконечность, как в бесконечной снежной равнине... Точки заряжены огромной энергией, устремляющей их вон из далёкой, белой, необозримой пустыни... точки, точки, заключающие в себе миры.

— Кто платит, господа? — вопросительно оглядел нас кельнер, когда заика заказал для себя и своего приятеля по два яйца всмятку и по двойной порции кофе. — Не беспокойтесь, уж как-нибудь заплатим! — ответил нюхальщик, но кельнер настаивал: — Извините, господа, но я вынужден просить вперёд. — Тут я наступил под столом на ногу Левенштейну, мы сложили все наши деньги, оставив себе ровным счётом десять пфеннигов. Но и эти десять пфеннигов перекочевали к заике, когда мы час спустя распрощались с ним, вдоволь насмотревшись достопримечательностей кафе «Стефани».

— Ну, что, разве не стоило? Стоило, стоило! Только теперь начинается жизнь. Вот это люди! Настоящие революционеры! Доктор Гох, этот самый нюхальщик, и Стефан Зак — автор уже двух романов... И писатель вынужден клянуть по пяти пфеннигов... Скандал! Неслыханный позор! А Магда с жёлтой копной волос, до чего у неё порочный вид. Так это, значит, знаменитый анархист — тот, что за соседним столиком играл в шахматы, а этот маленький, в красном кашне, за одним столом с Магдой, и он неплох, а?.. Крейбих, да, Крейбих, художник, он ещё говорил, что собирается брать уроки бокса, потом снял пиджак, засучил рукава и спросил: «Кому показать, что такое нокаут?» Вот кто сбросил с себя оковы, вот это свободные

люди, в своём роде они совершенны. Даже Ведекинд бывает здесь...

Левенштейн не устоял перед натиском моих восторгов и согласился, что мы сегодня действительно имели счастье встретиться с незаурядными людьми, может быть, даже с гениями.— Человеческая жизнь... Вы только представьте себе: бесконечная белая равнина...— повторял я. На такую же бесконечную белую равнину взирал я перед собой, когда писал свои стихи и заполнял широкую белую пустыню письменными знаками.

Когда я в довершение поведал Левенштейну о моей встрече с Рихардом Демелем, он остолбенел от удивления и схватил меня за плечо:— Нет, ты скажи, кто же ты в конце концов? Отчаянный какой-то!— Я с удовольствием принял эту похвалу и тут же на улице громко продекламировал несколько своих стихотворений.

Ещё в уборной кафе «Стефани» я произвёл некоторые изменения в своём туалете. Мещанский жилет я снял и там же, в уборной, его и оставил. Обывательские подтяжки я собирался немедленно заменить ремнём. Говорили, что так одеваются апаши. Галстук я засунул за рубашку, но тут же, увидав на ком-то из посетителей кафе красный свитер, спохватился, что галстуки вообще вышли из моды. Воротник пальто я поднял, шляпу сдвинул набекрень и поглубже на затылок, пальто распахнул и засунул руки глубоко в карманы; придав своей походке порывистый и вызывающий характер и декламируя на ходу, я толкнул какую-то пожилую даму, потом зарычал в лицо почтенному толстяку так, что он обернулся, поднял палку и крикнул:— Свинья!— Я послал ему вдогонку громкий залп презрительного смеха, толстяк перебежал через улицу и подкатился к постовому полицейскому. Но что полицейский? Я мерил полицейских презрительным взглядом. Один вид их высоких шлемов вызывал во мне отвращение и насмешку.

Дома я, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. Даже ботинок не снял. Я вообразил, будто сплю под Богенгаузерским мостом или на скамье в Английском парке. Поднявшись утром, я не стал умываться, а за завтраком старался вести себя самым неподобающим образом: единым духом опорожнил чашку какао и сразу запихал в рот целый хлебец. Найдя, что походка моя ещё мало выразительна, я перепробовал самые разнообразные виды походок — от мечтательно заплетающейся до безоглядно решительной. Неожиданными, нарочито резкими движениями я рассчитывал смущать безобидных прохожих и нагонять на них «панику».

До сих пор я был до неприличия чистоплотен. Стоило мне вспомнить доктора Гоха, засаленные отвороты его пиджака, сплошь в пятнах, и тёмнозелёную рубашку анархиста, на которой не оставалось ни единой пуговицы, как мне делалось стыдно за мой мещански прилизанный вид. От меня прямо-таки разило мещанской благопристойностью. Всё моё поведение выдавало «хорошее воспитание», необходимо было показать, что я вырос из этих пелёнок. Что значит: «это неприлично», «это не подобает»? Почему надо вести себя «благоправно», а не «беспардонно»? Почему в комнате полагается снимать шляпу и нельзя класть ноги на стол? Только потому, что так меня учили мои родители, отец — матёрый чиновник и закоснелый мещанин, и мать — бедная, наивная провинциалка?!

Что касается стихов, то мне оставалось только снисходительно улыбаться при мысли о безобидности моих прежних опытов. В нарушение существующих норм и правил, умышленно и резко погрешая против всех литературных канонов, я написал специально изобретённым мною неразборчивым почерком новую поэму под названием «Город проклятья», в которой всякая, даже случайно прокравшаяся рифма немедленно заменялась трескучим ассонансом, лишь бы только ничто не напоминало традицию; я стремился внедрить в свой поэтический обиход такие выражения, которые до сих пор третировались как ругательства. Безмерно умножились восклицательные знаки. Двосточие властно утверждалось в начале фразы.

Теперь я уразумел то «непостижимое», вокруг которого поднимали такой вой старомодные посетители художественных выставок в Зеркальном дворце. Хаотическое нагромождение красок, эмоциональные зигзаги линий. Сожаление вызывали в соседних залах картины старых мастеров, еще скованных канонами формы. В «Трапезе богачей» вислощёкие людоеды с бычьими шеями сидели, оскалив зубы, за выпачканными кровью столами, а вддали грозно вставали путаным лабиринтом линий апокалиптические баррикады. Картина «Высший свет» состояла из одних цилиндров и фракков, и содержимое недостающих голов разливалось по полотну густыми потоками намалёванной мерзости. Проходя по этой «Галлерее образин», я опять словно видел патораму «Ад» и наблюдал, как посетители спасаются бегством от собственных образин, прикрывая его громким лицемерным возмущением.

Как только у меня накопилось несколько новых стихотворений, среди них «Марш воющих домов» и «Ария сумасшедшего дяди», я снова отправился с Левенштейном в кафе «Стефани». Сперва я прочёл ему стихи. Он был в восторге, сказал, что они «беспримерны» и «первозданны», что ритм и движение

являются в них самоцелью. «Рубленый, растерзанный стиль, такого литература ещё не знала...» Стефан Зак, сидевший на плюшевом диване рядом с доктором Гохом, сразу же поманил нас к себе. Левенштейн, основательно запасшийся деньгами, выложил пять пфеннигов и заказал для него и доктора Гоха по два яйца всмятку и по двойной порции кофе. Я громко, раскатиисто читал стихи, все в задней комнате столпились вокруг нашего стола, и, когда я закончил «Марш воюющих домов» градом восклицаний, все стали мне пожимать руку и поздравлять. Коротышка в красном кашне охарактеризовал мою «Арию сумасшедшего дяди» как вещь ярко неопатетическую, в которой мне, главным образом, удалась симультанность, ведь и у Гомера сравнения построены по принципу симультанности. Анархист вызвался напечатать одно из стихотворений в своём журнале «Мировой вестник».

А что бы «тот» сказал на всё это, «тот»?..

Я избегал произносить имя Гартингера в присутствии Левенштейна. Я уже называл его мысленно «тот» и говорил себе: можно прекрасно обойтись и без «того». Надо иметь собственную голову на плечах...

Обломком зубочистки доктор Гох зачерпнул щепотку белого поблескивающего порошка и отправил её в нос.

— Послушайте, господин хороший, у вас до неприличия здоровый вид, помассируйте себе для начала разок мозги кокаином, иначе мне придётся прервать с вами всякое дальнейшее общение. Пожалуйста, сударь, угощайтесь.

Я подумал о Гартингере, но тут же сказал себе: «Оставь его в покое, здесь ему нечего делать!»—и, согласившись с доктором Гохом насчёт «неприличного здоровья», взял понюшку. Отделился от себя, помахал рукой — «прощайте» — и исчез в кристаллически ясном краю счастья. Волна счастья понесла меня на себе, я сам стал качелями, которые качались, и стол прильнул ко мне, как живое существо, живой дышал на нём стакан воды, и я нежно обнял этот стакан. Благоговейно устремил я взор к Магде. Медножёлтые волосы Магды, присевшей к нашему столу, сияли нимбом.

— Этого ещё нехватало, — донёсся до меня, опьянённого счастьем, её чрезмерно хриплый голос. — Этот негодяй приведёт вас прямёхонько в сумасшедший дом... — С меня сразу соскочило опьянение. Я ощутил под тяжестью своего тела жёсткий, угловатый стул, с которого только что воспарил. Я чувствовал себя досуха выжатым. На столе с острыми краями, как тогда, в фанниной комнате, стоял стакан, излучавший холодный свет.

Мне противно было смотреть на Левенштейна, с таким жадным любопытством он спрашивал меня:— Ну как? Ну как?— Отчаянная мерзость, и ты, ты один виноват во всём.— Почему это? Ты сам отвечаешь за свои поступки.— И это после всего, что было! После всего! После всего! «Фу, до чего же он слаб,— думал я,— глядя исподлобья на Левенштейна,— как быстро он поддался моему влиянию!..» Мне казалось, словно «тот» выпустил мою руку из своих: «Попробуй идти один». Но он ошибся, я ещё недостаточно окреп. Надо же в конце концов узнать жизнь, пытался я себя утешить. Жизнь? Что общего у жизни с этой фальсификацией счастья, враждебно возражал я себе. Убирайся отсюда, здесь тебе нечего делать... — говорил я себе и продолжал сидеть.

«Что-то случится. Что-то...» Я сидел за столиком Магды. Витиеватым почерком поэт в красном кашне написал на мраморной доске:

Спрячь, глупец,  
Ты сердца боль  
И в лёд, и в смех...

## XLVI

Сокрушительные речи произносились на тарабарском языке, понятном только посвящённым.

Террористические акты и бомбометание мы поручили гигантам и взобрались на Гауризанкар, чтобы чинить суд над миром. Вот уже приговор над цилиндрами и фраками произнесён, и за обильными столами богачей пируют бедняки.

Плакаты с дом величиной. Через улицы протянуты транспаранты со строками наших стихов.

Луна лопнула и пролилась в ночь бульоном тусклого света, а от грома наших голосов во вселенной бушевал ураган.

На рекламных столбах пылали огненно-красные воззвания: «Поднимайте мятежи! Учиняйте скандалы! Мир становится тесен!» Одним движением руки мы сметали в море города, мы опрокидывали горы и громоздили их друг на друга.

Изрыгая строфы стихов, стояли мы на трибунах, стены огромных зал содрогались от рукоплесканий.

Потоки красных знамён. К дворцу, пенясь, катились грозные валы восстания.

Мы управляли громом и молнией, все боги прошлого слетались, чтобы славить нас, и новый мир увсковечивал нас в колоссальных статуях.

Землетрясение и взрывы должны были расшатать мещанский покой мира, ибо дух его, растленный культурой, гнил в музеях и в собраниях сочинений классиков.

Иступлённо провозглашался мировой пожар и массовое вымирание, дабы на руинах старого возникло новое человечество, поколение всевластителей.

Что-то должно случиться. Что-то... Жить среди опасностей. Грудью встречать опасности!

Блюстителю порядка нас не беспокоили, им недоступен был смысл наших иероглифов.

\* \* \*

Поэт в красном кашне страдальчески сутулился. Магда вся съёживалась в комочек. Я завёл себе задорную и вместе с тем испуганно жалкую, почти без полей шляпочку, чтобы не походить на обычных людей, в обычных шляпах... Доктор Гох зачерпывал свой порошок, Стефан Зак тянул абсент через соломинку.

Много лет прошло, пока он, наконец, настиг меня: «Марш воюющих домов» и «Ария сумасшедшего дяди» появились в «Мировом вестнике». Незаметно для меня он всегда торчал где-то рядом, сумасшедший дядя всё время гонялся за мной и вот теперь настиг меня со своими воющими домами. Я мог говорить, что хотел, так же непонятно, как он, не расставаясь при этом с уютом домашнего очага.

Роль толкователя и комментатора «непостижимого» взял на себя Левенштейн, он обладал паразитической способностью сообщать всему незначительному и случайному бездонную глубину. Он знал бодлеровские «Цветы зла» и свободно разбирался в феноменологии Гуссерля; он открыл мне Рэмбо, и я научился измышлять «небывалые словесные лигатуры».

Приходя в ателье к Заку, мы притаскивали кучу съестного, извлечённого из родительских кладовых.

Места в ателье было много, в огромные просветы окон вливалась беспредельная синева небес, но всю меблировку составляли две убогие койки, несколько стульев и хромоногий стол. Жена Зака переписывала от руки новый роман писателя, беспорядочно нацарапанный на клочках бумаги.

— Ешь медленно, бога ради! — останавливала она Зака, жадно набрасывавшегося на сыр и мозговую колбасу. — Ты отвык от еды, не глотай куском, прожёвывай как следует...

Ежедневно, с полудня и до двух часов ночи, Зак просиживал в кафе, писал и зорко посматривал вокруг; у каждого, кого ему

удавалось поймать, он кланчил пять пфеннигов. На опыте нескольких лет он пришёл к заключению, что выгоднее всего просить немного, не больше пяти пфеннигов, ибо в «маленькой просьбе» неудобно отказать. Двадцать раз по пять пфеннигов ежедневно, этого уж хватало на оплату квартиры. Жена Зака вставала в шесть часов и обходила соседние дома, воруя булочки и молоко, которые разносчики оставляли у дверей своих клиентов.

Зак писал лёжа в постели.

Он говорил: — Я должен обязательно дописать свой роман к концу месяца, а уж тогда начнётся настоящая жизнь...

Он слегка приподнимался и рисовал эту настоящую жизнь.

Настоящая жизнь предполагала трёхкомнатную меблированную квартиру — собственной мебели он не признавал — с видом на Английский парк, обязательно на пятом этаже, разумеется, с лифтом. — Моя трёхкомнатная квартира находится на Куфштейнерплац, иногда мы ходим туда гулять, правда, Лошадка, у нас замечательная квартира?

Лошадка, то бишь жена Зака, кивала, не поднимая глаз от своей переписки.

Настоящая жизнь включала также пишущую машинку, горничную, два костюма, непромокаемый плащ, тёплое пальто и «уж не будем скупиться, скажем: три пары ботинок».

С наступлением настоящей жизни в кафе «Стефани» можно будет заходить лишь время от времени, посидеть часок, не больше... — Чудесно, не правда ли, сидеть на мягком диване и предлагать каждому, кто входит: «Не нужно ли вам пять пфеннигов? Пожалуйста, вот вам десять!» А вообще можно целый день сидеть дома и писать на хорошей, широкой, гладкой, чистой бумаге, и жена немедленно всё перепишет на машинке, а потом можно съездить разок в Париж, разок в Берлин, — вот это жизнь, а? И до неё осталось самое большее два месяца...

Зак уже сидел на постели, подтянув колени к подбородку. Его обросшие щетиной щёки так запали, что, казалось, вот-вот они у него сростутся во рту. Он рисовал на стене план своих трёх комнат на Куфштейнерплац. Куфштейнерплац он не променяет ни на что в мире.

В дверь постучали. Это был доктор Гох.

Зябко поёживаясь, хотя был тёплый майский день, он сел на кровать в ногах у Зака. Склонив голову набок и втягивая носом порошок, доктор Гох прошелестел, обращаясь ко мне: — Эх вы, жалкий мещанин, вас в конце концов приговорят к смертной казни из-за ваших неразрешимых комплексов. — К счастью, между ним и Заком сразу же завязался разговор; поддерживая

и дополняя друг друга, они набрасывали картину будущего, в котором человечество будет жить по двупарной системе: двое мужчин и две женщины,— и, таким образом, оно не будет страдать от вытесненных желаний. Наступит райское житьё, не будет ни матерей, ни отцов, ни дочерей, ни сыновей, ибо все дети будут принадлежать обществу, и только обществу. С отменой матриархата общество вступило на путь вырождения, патриархат явился, в сущности, источником реакционности и кровожадности человека.

Приснившийся Заку сон был подвергнут анализу, и доктор Гох, искусный толкователь снов, извлёк из недр заковского подсознания солидный «материнский комплекс».

— Куфштейнерплац и трёхкомнатная квартира, которые вы рассматриваете как начало новой жизни, это, судя по всему, не что иное, как символ вашего возврата к матери. Мюнхен — это мать, к которой вы, каменщик-подмастерье, бежали из Пирмазенса, спасаясь от отца. Вы, следовательно, собираетесь сочетаться браком со своей матерью.

Зак бормотал, размышляя вслух:

— Чудовищные злодеяния совершаются в человеческом мозгу, неведомо для себя мы являемся жертвами чудовищных злодеяний. Ареной битв...

В поисках помощи я устремил взгляд в широкое окно и увидел плывущие облака...

— Давно пережитое прошлое, изменённое до неузнаваемости, караулит нас на привычных путях нашей мысли, хоронится в темноте и вдруг вспыхивает ярким светом... Всё сохраняется, бесконечно видоизменяясь... Ни один жест бесследно не исчезает в пространстве, и какое-нибудь подёргивание губ может рассказать о явлениях вековой давности. Прошлое повсюду составляет нам свои сети, чтобы удержать нас, оно захлёстывает нас арканом, чтобы вернуть к себе... Потому, потому... — и Зак внезапно умолк.

Совершённое на этих днях убийство доктор Гох объяснял детским переживанием убийцы.

На школьной прогулке учитель лишил мальчика стакана молока. Все пили молоко, а мальчик, в наказание за какую-то шалость, стоял в стороне и только смотрел на пьющих. Этот стакан молока потом дал о себе знать, невыпитый стакан молока, без ведома мальчика, давно о нём позабывшего, следовал за ним, десятилетие за десятилетием. И вот однажды он увидел его во время обеденного перерыва, на столе у своего начальника. Мальчик успел превратиться в добродушного папашу, таможенного инспектора, исполнительного чиновника с безупречным прошлым. А стакан молока превратил папашу

снова в мальчика.— Отдайте! — крикнул проснувшийся в нём мальчик, и тут начальник стал учителем, который отнял у мальчика стакан молока.— Отдайте! — с угрозой повторил мальчик. Начальник не испугался и единым духом осушил стакан. Он не знал, какое с ним произошло превращение. Он подумал, что его подчинённый позволил себе пошутить в несколько неуместной и неподобающей форме, «но ведь сегодня первое апреля».

Когда убийцу арестовали, он пил из пустого стакана, он пил, не отрываясь, он осушал целые реки молока и, опьянев от молока, он лишь постепенно принимал облик таможенного инспектора, но от мальчишеской улыбки и от удовлетворённого чмоканья он так уже и не отделался.

Доктор Гох говорил лихорадочно, сбивчиво, он то и дело к чему-то прислушивался и озирался по сторонам.— Слышите?— спросил он вдруг,— кто-то поднимается по лестнице, ручка в дверях... вот она шевелится, а кто смел раздвинуть стены, ведь все эти скотские рыла теперь уставились на меня?! Проклятые районные врачи, они расселись по крышам и следят за мной в подозрную трубу... Кто это колет меня иголками? Кто зовёт меня по имени? Не троньте меня, говорю я вам, руки прочь, или я буду стрелять...— Точно спасаясь от погони, он отбежал в самый отдалённый угол ателье, набросил на голову одеяло и жалобно заскулил: — Пустите меня! Я не хочу, я не пойду. Я не нуждаюсь в лечении. Я совершенно нормален. Я сейчас докажу это.

Зака, видимо, несколько не беспокоило поведение доктора Гоха.

— Лёгкий припадок мании преследования, он скоро придёт в себя...

«Нам есть что порассказать,— гордо переглянулись мы с Левенштейном.— Зачем нам «тот»? И без него у нас интересная жизнь».

Зак выпрямился, сидя в постели.

— Не думайте, братья, что и я захнул и что мои разговоры о настоящей жизни не серьёзны! Грядут новые времена, слышите, я говорю вам это. Мысли человека будут обнажены до самых тончайших извилин, чувства его будут взрыхлены до затаённых глубин. Многие бегут прочь от себя в поисках приключений. Между тем в нас самих разыгрываются самые фантастические приключения. С ложью о заурядном человеке покончено. Человек — это арена битвы... Кровавые противоречия... Чудовищные злодеяния...

Зак тоже посмотрел в окно, следя за плывущими облаками.

— Поэтому...

Он помолчал, усаживаясь поудобнее на сбившейся постели.

— Поэтому каждый из нас должен очень зорко следить за

собой, чтобы стать хорошим человеком... Никогда никому не отказывайте в стакане молока, никогда... Каждый из нас проникаем для другого, но и каждый из нас проникает в другого... Закон о сохранении энергии не только физический закон... и в психической сфере ничто не пропадает... Страшные последствия... новая мораль... Новая теория спасенья! Новое учение о человеческом счастье! Вот оно, да, вот оно, наконец!

Вот и Зак сказал: «Вот оно, да, вот оно, наконец!..» — и опять посмотрел в окно.

Так же смотрел в окно на пансион Зуснер, когда умирала фрейлен Лаутензак, и это бесследное исчезновение оставило вечный след.

— Но что-то должно произойти.. Так дальше продолжаться не может... Что-то, что вытянет нас из трясины...

Он словно искал это «что-то» на горизонте, где-то очень далеко.

— Какое-нибудь грандиозное событие! Чудо! — Опять он помолчал, потом быстро проговорил:

— Хорошо бы взрыв! Чтобы целый город взлетел на воздух. Безразлично, что бы ни произошло, лишь бы это было что-то из ряда вон выходящее, что разнесло бы вдребезги весь этот обман! Какой-нибудь грандиозный скандал! Грандиозная передерга! Или... или...

В ателье вдруг стало очень тихо. Из угла, где сидел, скрючившись, доктор Гох, доносилось тоненькое повизгивание и всхлипыванье. Жена Зака ни на минуту не переставала писать, слышно было, как бежит перо по бумаге. Беспредельный небесный простор, синевший в широком окне, казалось, приблизился, грозя забурлить океаном. Мы с Левенштейном старались не ёрзать на стульях, и всё-таки стулья под нами кряхтели и пол повсюду потрескивал.

— Не-не-нет, только не это, — скулил в своём углу доктор Гох. Зак уставился на одеяло, затем поднял палец.

— Или, или? Только — тс! тс! молчок! Знайте это каждый про себя... С трёхкомнатной квартирой на Куфштейнерплац надо проститься, — двадцать раз по пяти пфеннигов каждый божий день мне тоже уж не собрать... Лошадка, брось переписывать, всё это теперь ни к чему, слышишь? Дети, дети! Если бы вы знали то, что знаю я! Оно придёт, оно...

— Не-не-нет! Только не это! — отчаянно сопротивлялся чему-то в своём углу доктор Гох, потом послышался стон, и доктор Гох соскользнул на пол.

Зак посмотрел на нас горящими глазами.

— Вы не знаете? Не догадываетесь? Подите сюда, я скажу вам на ухо...

Я услышал, как он прошептал Левенштейну:

— Война.

Пришлось и мне наклониться, чтобы он шепнул мне на ухо:

— Война!..

Тем временем доктор Гох вышел из своего угла. Необычайно замедленным шагом шёл он через ателье. Стараясь двигаться, как нормальный человек, он с такой точностью воспроизводил каждую фазу шага, что, казалось, будто это какой-то призрачный танец, будто весь этот человек на проволоке, и кто-то, быть может один из тех, что засели на крышах, приводит его в это жуткое, замедленное движение. Торжествуя улыбаясь, доктор повернул лицо к тем, кто невидимо для нас наблюдал за ним, сидя на отдалённых крышах, желтовато поблескивавших в закатных лучах солнца. обстоятельно, разлагая и это движение на его составные части, он опустил на стул с намерением закурить. словно ему стоило мучительных усилий вернуться к нормальной жизни и словно ему впервые дали в руки спичечную коробку, пытался он, боязливо дрожа, зажечь спичку. Внезапно движения его ускорились, он повернулся спиной к окну, закурил и, с зажжённой спичкой в руках, стал жадно втягивать в себя табачный дым. Он протрезвел.

Потом обломком зубочистки снова зачерпнул щепотку белого порошка...

Когда мы спускались по лестнице, я тщетно старался освободиться от застрявшего в ушах шопота.

— Надо бы... Как ты думаешь, что «он» сказал бы на всё это?

Но Левенштейн предупредил меня:

— Говорю тебе, дело принимает серьёзный оборот... Не думаешь ли ты, что надо бы...

Мы взглянули друг на друга, словно в поисках поддержки.

Я был уже близко, совсем близко к ней, к новой жизни. Но волна страха опять отбросила меня далеко, далеко. «Только не он! Только не он!» — долбили мне дома, а Фек, пусть он и уродился плюгавым, пусть он и дрожал, увидев скамью, на которой сидел когда-то с Дузель, он всё же вырос со времени нашего разговора в Английском парке, он гигантски вырос, закованный в броню своей решительности, он командовал: «Стать смирно!» А я, здоровенный верзила, из-за своей нерешительности превратился в жалкую, ничтожную пешку... И Левенштейна увлёк в своём падении. Я, послушный раб, опять оттолкнул от себя Стойкую жизнь.

С чувством безнадежности опускались мы на дно лестничного колодца и, выйдя на улицу, быстро, не прощаясь, разошлись в разные стороны. Мы убежали друг от друга, словно могли, убежав от чужой слабости, скрыться от собственной. Я слышал самого себя: «Два потока страшной силы гонят меня, ввергая в водоворот, и я верчусь вокруг самого себя бессильной щепкой...»

Несколько дней спустя мы приняли участие в совместном выступлении художников и поэтов кафе «Стефани» против одного непопулярного в нашем кругу сотрудника «Мюнхенских новостей». Последний осмелился в своём «Литературном обзоре» усомниться в гениальности жрецов искусства из кафе «Стефани». Мы сочли своим долгом раз навсегда вправить мозги этому гонителю искусства. Мы объявили его самым закоснелым из мещан, оплотом тех, кого нам теперь часто удавалось доводить до белого каления; всякого, кто из этой братии попадал в кафе «Стефани», мы встречали градом свирепой ругани и бывали ужасно довольны, если дело кончалось потасовкой.

Всей оравой, предводительствуемые Крейбихом, — Левенштейн и я с важными минами замыкали шествие, — мы шумно двинулись на Зендлингерштрассе. Говорить от имени всех поручено было Заку, но, по мнению Крейбиха, разговаривать особенно было не о чем: надо действовать «ударными» аргументами. Швейцар повёл нас на второй этаж; нас не заставили ждать и тотчас же впустили в кабинет редактора.

Редактор, пожилой кругленький человек, поднялся из-за письменного стола и, приветливо улыбаясь, пожал каждому руку.

— Мы вас не задержим, — начал Зак. — Коротко говоря, мы требуем, чтобы в ближайшем номере вашей газеты вы сами же опровергли то мнение, которое вы осмелились о нас высказать. Извольте объясниться!

— Но, милостивые государи, — воспротивился редактор, — я надеюсь, что пока ещё никому не возбраняется иметь своё суждение... И именно вы, милостивые государи, больше всего...

— Нет, этого мы не потерпим! — выступил вперёд Крейбих, — этакий жалкий мещанин, и ещё рассуждает!.. Извольте молчать и подчиняться... Что это у вас здесь на письменном столе? Опять настрочили какую-нибудь гадость? Долой, к чорту!.. Скандал...

— Скандал! Скандал! — вместе со всеми вопил и я, это было излюбленное словечко у нас дома. Я освобождался в этом диком крике от гнёта вечных домашних скандалов.

Размашистым движением Крейбих смахнул на пол все бумаги, чернильницу и портфель.

— Это тебе первое предупреждение, прохвост, а в следующий раз мы тебя не так отделаем... Заруби себе на носу... Ну, пошли!

— Милостивые государи,— донёсся из-за письменного стола голос, полный сдерживаемого волнения,— не находите ли вы, что вы ведёте себя не как служители искусства, а скорее как пьяные корпоранты?!

— Что-о-о?— свирепо зарычал Крейбих, который уж было вывел нас за дверь.— Он ещё вздумал дерзить, этот коротышка! Зак схватил Крейбиха, собиравшегося броситься на редактора, за руку.— Не тронь его, не тронь!

— Десять марок штрафа на стол, да поскорее...

— Я отказываюсь вас понимать, господа! Вы, надо полагать, шутите... ведь это чистейший шантаж!

— Тут нечего понимать! Вытаскивай-ка бумажник, давай деньги...

— Давай деньги!— кричал я громче других. Передо мной был письменный стол, как у отца, письменный стол, на котором из года в год, до скончания веков, лежала перевязанная стопка «дел», приготовленная для курьера.

— Я и не знаю, господа, наберётся ли у меня такая сумма...— Голос у него дрожал, рука сама полезла в боковой карман.

— Он сказал «гунны», ты слышал: «гунны»...— толкнул я Левенштейна, но тот только помотал головой:— Не говорил он этого вовсе.

— Ах, господа, господа...— Редактор отсчитывал деньги под неотступным взглядом Крейбиха, грозно и несокрушимо стоявшего перед ним.

Словно после выигранного сражения возвращались мы в кафе «Стефани». Особенно превозносились заслуги Крейбиха, который нанёс редактору такой сокрушительный удар. Десять «марок Крейбих оставил себе, «внёс в фонд особого назначения».

Я оттащил Левенштейна в сторону.

— Он сказал «гунны», я совершенно ясно слышал.

— Что ты вбил себе в голову? Он этого не говорил.

«Начинай сначала,— думал я,— опять мы составляем банду».

Зак оглянулся, ища нас глазами, и остановился.

Меня удивило, что он участвовал во всей этой истории.

— Банда!— ругался он.— Банда!— Он рванулся вперёд, словно оттолкнул себя от нас.— Убирайся отсюда подобру-поздорову. Тебе здесь нечего делать!

\* \* \*

Магда пригласила меня в Королевский парк. Мы сидели на открытой веранде кафе «Аркады». В малом павильоне играл

военный оркестр. Закурив папиросу и затянувшись, я увидел себя в табачной лавочке у Костских ворот, ибо вчера, при закрытых дверях, началось слушанием дело грабителя Куника.

— Знаете что,— сказала Магда, заглядывая мне в глаза,— вы раньше писали гораздо лучше. Я даже знаю одно стихотворение наизусть. Вот, послушайте себя:

Срок настанет, друг,  
Станет поздно вдруг,  
Станет тихо вдруг  
На земле вокруг.  
Кликнет нас тогда  
Злое Никогда...

— Это настоящие стихи... А то, что вы теперь стряпаете... Ну, да ладно, что уж об этом толковать... Вот, доктор Гох приговорил меня к смерти за неразрешимые комплексы... Чего захотел! Нет, уж этому дураку я не дам торговать собой... Эх вы, толкователи снов, потрошители душ! В большом количестве это просто невыносимо, от этого кто хочешь полезет на стенку. Ах, полюбить бы кого-нибудь, попросту полюбить... По всем правилам мещанской любви, с гипюровыми салфеточками и фарфоровыми свинками: вот чудесная жизнь, а?.. Вот куда приводит ваше «неистовство»! Вы только не воображайте, что вы опасны! Вы безобидные, спятившие мещане... Уж мне-то вы очков не вотрётё, я родилась и выросла в деревне, мать моя прачка... Кому вы поможете своим кривлянием, себе уж наверное нет... Хоть бы что-нибудь стряслось, что образумило бы вас.. Зак — единственный более или менее стоящий человек во всей вашей компании. Он только прикидывается, будто он с вами заодно. Он пишет о голоде, о бедняках. И о новой жизни... Но почему именно вам я говорю обо всём этом? Сама не знаю. Вы несчастный глупец, вы...

Опять у меня что-то застряло в ушах.

«Спятившие мещане»,— сказала она.

Она отвела глаза на оркестр, отвернула голову.

— Подохнуть бы...

— Вы ещё в гимназии?— небрежно спросила она, внезапно меняя тон.

— В последнем классе... Через три дня выпускные экзамены.

— Интересно. Вы хорошо подготовились?

— Да, хорошо подготовился.

— Трудно, вероятно, а?

— В старших классах, конечно, трудно.  
— Вам нелегко даётся учение?  
— Таким, как я, конечно, нелегко. Я...  
— О, я вас понимаю. Я тоже бьюсь, чтобы заработать кусок хлеба. У меня ведь ребёнок.

— Вы поёте в «Осе»?

— На это не проживёшь. Я работаю теперь главным образом в роли материализующего феномена. Вызываю духов. У меня договор с профессором Штенк-Нотцингом.

— Ничего не понимаю.

— Ну, вот видите. Только такое надувательство и может прокормить нынче нашего брата. Но обещайте, что всё останется между нами, иначе вы лишите меня куска хлеба. Есть такая плёночка, которая складывается настолько, что её без труда держишь во рту. Профессор смотрит на меня вытаращенными глазами, это значит, что он меня гипнотизирует. Почему мне и не поддаться гипнозу, если профессору это доставляет удовольствие и он мне прилично платит за это? Потом я вызываю духа. Я расправляю незаметно вынутую изо рта плёночку, она величиной с человеческое лицо, явление духа фотографируется, и я получаю за сеанс пятьдесят пфеннигов... Я одна на сцене перед затемнённым зрительным залом, никто ко мне не лезет... Профессор запретил, чтобы во время сеанса кто-либо близко подходил к сцене, это, мол, смертельно опасно для феномена... Такова жизнь... Моя фотокарточка помещена в толстой научной книге. Я называюсь «феномен Ева».

Феномен Ева поднесла к тому самому рту, из которого на сеансах появлялись духи, сочный пончик. — Замечательный пончик, просто замечательный, прошу вас, возьмите, попробуйте! — Жуя, феномен спросил, — кусочек пончика упал при этом изо рта на тарелку:

— Вы сдадите свои экзамены, а потом кем вы будете?

— Кем я буду? Потом... кем буду?..

Мне почудилось, что меня спрашивает дух.

Глядя на тарелку, куда упал кусочек пончика, я ответил:

— Потом кем буду? Не знаю... Ничего не знаю!

На следующий день на перемене ко мне подошёл Фек.

— Мне, правда, никто не поручил контролировать тебя, но я вижу, что ты делаешь успехи. Перебесисы! Это хорошо! Каждый на свой лад. Только с «тем», ты знаешь, о ком я говорю, дела не имей. В общем: поздравляю. Продолжай в том же духе.

Он так сердечно тряс мне руку, что у меня нехватило духу отнять её.

Пришлось изобрести целую систему лжи и отговорок, чтобы находить время для моей новой жизни и постоянных отлучек из дому. Отец, который работал над книгой и которого ни в коем случае нельзя было тревожить, повидимому, не замечал моего превращения в бунтаря и скандалиста, мать же, правда, не раз выражала удивление по поводу моего странного костюма и вызывающих манер, но мне легко удавалось её успокоить, я уверял, что такова мода.— Издержки роста,— говорил я в своё оправдание, и мать улыбалась мне доброй улыбкой:— Где ты только этого набираешься!

Христина снова заходила ко мне в комнату в те вечера, когда я возвращался не слишком поздно, и принималась вспоминать, как я, бывало, заставлял её присаживаться возле моей кровати и рассказывать что-то и петь песни. Потом она спрашивала:— А что с вами, ваша милость?— Со мною? Ничего. Ровно ничего.

Она недоверчиво качала головой, перед ней словно вставала та далёкая новогодняя ночь, когда я пел у неё на кухне.— Не называй ты меня «ваша милость»,— повторял я свою просьбу,— уж лучше: «гунн» или «спятивший мещанин».— Христина опускала глаза, её губы шевелились, как будто она читала что-то в своём молитвеннике, как тогда, в палате у дяди Карла...

Христина постучала ко мне, словно в ответ на мой зов.— Войдите! Войдите!— обрадованно крикнул я.— Поздравь меня, Христина,— я провалился.

— Ох-ох-ох, что-то скажут господа!— зашептала она с испугом, и когда я ответил:— Знаешь, Христина, мне это совершенно безразлично,— она сказала:— Чти отца своего и мать!— и поспешила вон из комнаты.

Результаты выпускных экзаменов торжественно зачитывались в актовом зале... Когда представитель министерства просвещения дочитал до конца список выдержавших, по рядам прошёл шопот: Фек и я не были названы.— Не выдержали экзаменов...— строго и вместе с тем сочувственно повысил голос советник министерства. Он произнёс мою фамилию и фамилию Фека. Кое-кто из учеников зашипел:— Этого надо было ждать. Это легко было себе представить: достойная парочка!

Фек дожидался меня у ворот.

— Ну, что скажешь? Выкусил, ренегат ты этакий? У нас одна дорога с тобой, хотим мы этого или не хотим! Пойдём-ка напѣмся для духовного сближенья.

Он словно сказал: «Мы обязаны и должны охранять существующий порядок, железом и кровью, если понадобится»,— и я ответил:

— Благодарю. Ты убедил меня. Полностью. В противоположном.

Когда я заметил, как он от этих слов сразу утратил своё бронированное величие и снова превратился в плюгавого коротышку, каким и был от рождения,— я прибавил:

— Я знаю, с кем мне по пути.

Так я не разочаровал «того»: я сам с собой справился...

Недовольство отца обратилось против экзаменационной комиссии, которую он заподозрил в пристрастии, раз Фек тоже не выдержал. Он грозился, что напишет жалобу в министерство просвещения.

— В таком обществе,— сказал он,— не стыдно и провалиться. Бывают вещи похуже! — Он посмеялся над нашим провалом: — Вас, оказывается, водой не разольёшь! — и спросил: — Ну, не хочешь ли с нами в Гармиш-Партенкирхен?

— Но ведь к нему приятель приезжает,— ответила мать за меня. Отец, хорошо настроенный, положил мне руку на плечо.

— Ну, так приезжайте потом вместе. От всей души приглашаем вас... Тебя, вместе с твоим другом Феком и твоим гостем. Всех троих!

На следующий день родители уехали в Гармиш-Партенкирхен. Мать, уже выйдя за дверь, всё ещё договаривалась с Христиной, чтобы она хорошо кормила меня, а в моей комнате лежала на столе солидная сумма карманных денег с её записочкой: «Не приходи домой очень поздно!»

Для меня словно осуществилась мечта Зака о настоящей жизни. Кофе со свежими булочками, вместе с утренним выпуском «Мюнхенских новостей», подавалось мне на подносе в постель. Христина отчитывалась передо мной в своих покупках, потом я сколько хотел плескался в ванне, а обедал и ужинал с Христиной на кухне.

— Христина, спой мне ту песенку.

И снова Христина пела: «Если я, если я уйду в городок...»

Я брал руку Христины и раскачивал её в такт, как тогда, когда мы уносились в незнакомые края, в Букстегуде.

Мне казалось, что в таком пустынном доме обитает бог, хотя я давно уже не верил в бога.

Во время прогулок, которые я беспрепятственно совершал по всем комнатам, я расспрашивал каждую вещь, откуда она, и вещи, с тех пор как родители покинули дом, пробуждались, казалось, к собственной жизни. Я мог, не боясь, что сейчас откроется дверь, задерживаться в любой комнате, отдаваясь своим думам сколько душе угодно.

— Я от него избавился! Я от него избавился! Навсегда! — маршировал я под бой барабанов и пение труб, шествуя домой через триумфальную арку после победы над Феком.

Я садился на любимый бабушкин стул и рассматривал картины на стене, портрет дедушки и летающего ангела с лилией, похожего на Дузель, точно это Дузель, прыгнувший с моста, вознеслась над землёй. Мне казалось, что я чувствую тепло бабушкиной ласки. И в гостиную мне никто не запрещал входить, хотя мать её заперла и я обнаружил ключ лишь после долгих поисков. Я садился перед портретом матери и слушал портрет, и портрет рассказывал мне о незаметной, робкой жизни, тщетно заявлявшей своё «против». И я сказал портрету: — Когда-нибудь и я расскажу всё маме, всё, всё.

Не опасаясь быть застигнутым отцом, я достал с книжной полки первый том брокгаузовского малого словаря «А — К»: мне было строго запрещено читать этот словарь, ибо, как объяснила мне мать, в нём есть такие вещи, которые детям знать не следует. Запрет, по непонятной мне причине, остался в силе и после того как я, на мой взгляд, вышел из детского возраста. Я намеревался изучить словарь от доски до доски, с тем чтобы потом перед матерью донести отца трудными вопросами, но застрял на «Абигайли». «Абигайль — жена Набаля из Кармела в Иудее, впоследствии жена Давида, ум её вошёл в поговорку», «Абильгаард» (читай «Абильдгорд»), — этого уж я одолеть не мог, усердие моё иссякло.

Неутомимо искал я в словаре «Социализм», «Государство будущего», «Бебель». Я таскал по ночам толстые томы в кровать и до утра, за холодным какао и булочками, изучал их.

И альбом для марок я мог спокойно рассматривать. Увы, значительная часть марок была вырезана и обменена на солдатиков, все гельголандские марки исчезли, и гордость альбома — чёрная баварская марка-уникум, легкомысленно на что-то вымененная, — тоже уплыла. О, что это было за страшное воскресенье, когда отец обнаружил «скандал с марками». Как я ни призывал землетрясение, оно не произошло и не помешало отцу открыть альбом, чтобы с гордостью показать мне «сокровище своей юности». Я уже давно тайно растаскивал это «сокровище юности», хоть и с большим трудом снимал со шкафа огромный альбом. Отец перелистывал страницу злополучного

сокровища за страницей, а я сидел, как пригвождённый, под градом сыпавшихся на меня пощёчин.

Рядом с альбомом стояли шахматы, почти все фигуры были обезглавлены. И вот я сижу в отцовском кресле за письменным столом и массивной пробковой ручкой царапаю и царапаю что-то на листе бумаги, пока перо не ломается.— Мы переменились местами, милостивые государи! Нас не проведёшь,— крикнул я громко. Я положил ноги на содрогнувшийся в ужасе письменный стол, потом водрузил на него свой драгоценнейший зад и сплюнул на ковёр.

— С тобой-то я уж справлюсь,— пригрозил я всей комнате, восседая на отцовском столе:— Уж я тебе покажу! Хо-хо-хо!— смеялся я грозным смехом Ксавера.

И вдруг я затих. Осторожно соскользнул со стола. На обеих руках принёс «Семейную хронику» и положил её на письменный стол, на самую середину. Я открыл её на первой, вырванной странице и начал, стоя, читать из хроники, как из Книги книг:— Вначале было...

— Вначале было,— и я повысил голос,— вначале была воля к новой, Стойкой жизни. С тех пор поколение за поколением честно трудились над тем,— продолжал я, перелистывая хронику,— чтобы эту волю предать забвению, изменить Стойкой жизни и на её месте утвердить рабскую жизнь. И поколениям это до сегодняшнего дня удавалось.

Мопс был прав: молиться можно и стоя.

— Простите, вы не...— решился я подойти к молодому человеку, с которым мы остались одни на перроне.

— Давненько это было,— сказал Мопс.— Да, немало утекло воды,— откликнулся я.

— Ха-ха-ха! — смеялся Мопс, идя рядом со мной, а я откликался, как коллега юнца, которого мы когда-то встретили на прогулке:— Хе-хе!— У вас действительно великолепный вокзал, этого нельзя не признать,— на что я только и мог ответить:— Да-да, в Мюнхене немало достопримечательностей, Мюнхен стоит посмотреть.— Потом я спросил:— Что поделявает охотничий домик?— Спасибо за внимание,— ответил Мопс, и только когда он упомянул имя директора Ферча, которого он случайно встретил на учительском съезде в Нюрнберге, Мопс по-настоящему приехал. Я поздоровался с ним:— Здорово!— и понёс его чемодан.

Небольшого расстояния от вокзала до Гессштрассе, которое мы проехали в извозчичьей пролётке, оказалось достаточно,

чтобы снова заморозить нас. Я показывал ему: Вилла Ленбах, Пропилеи, Базилика, и монотонно, голосом гида, говорил затвержённые фразы.

Распаковывая свои вещи, Мопс спросил, не поднимая головы:— Ты веришь в бога? Я верю ещё больше.— А я стал завсегдатаем кафе «Стефани»,— похвастал я в ответ.— Ну что ж, ведь ты давно уже сочинял стихи,— пренебрежительно сказал Мопс и с видом превосходства стал рассказывать о попойках членов буршеншафта «Франкония», к числу которых он принадлежал.— Лесоводство, которое я изучаю в Эрлангене, довольно сложная наука...— Мой отец состоял в корпорации,— не утерпел я.— А я... О, нет, такие вещи, как лесоводство, это не по мне, я изберу область поинтереснее.

В моей маленькой комнате нас разъединяло огромное расстояние. «Давай, бросим это»,— хотелось мне сказать. Но я пошёл вперёд, как отец или мать, когда они принимали гостей:— Прощу!— позвонил Христине и разыграл гостеприимного хозяина.

Что-нибудь должно произойти. Опустевший дом ждал...

— А гости не опоздают?— весь день тревожилась Христина и сразу же после обеда поторопилась накрыть стол для приглашённых на вечер гостей.

Гартингер пришёл точно в назначенное время.

Я повёл его по всем комнатам и в столовой предложил ему вертящуюся табуретку, на которой обычно сидел отец.

— Что нового? Как живёшь?

— Я провалился...

— Жаль... А ещё что?

— Ничего... Ничего особенного...

При торжественном появлении Гартингера всё, что было со мной без него, сразу словно обратилось в бегство, а ведь этот только что бежавший мир я пригласил сегодня на вечер вместе с Гартингером.

— Я как-то видел тебя в «Кафе маньяков», тебя и Левенштейна...

— Да, мы иногда бывали там...

Но он не допрашивал:

— А у меня всё времени не было, не то и я почаще заходил бы туда.

Я заглянул туда, в кафе «Стефани», словно через много лет. Только Магда и Зак оставили по себе добрую память, мы поздоровались, мы попрежнему были друзьями.

— Я пришёл к определённомому выводу,— сказал Левенштейн, подойдя ко мне.— И я тоже пришёл к определённомому выводу,— ответил я, и мы поняли друг друга. Левенштейн продолжал:

— Эта история с редактором больше чем озорство. Я бы никогда не поверил, что способен на такую низость. Это было то же самое, что тогда с Вальдфогелем. Гнусная трусость! Такими вещами мы на порядочных людей впечатления не произведём. Напротив, совсем напротив... Вообще, это кафе «Стефани»... Пора покончить со всем этим...

— Да,— сказал я твёрдо,— да!

Гартингер словно не слышал нас. Тем временем пришли Зак, доктор Гох, Крейбих и Магда. Я притащил Мопса, который упирался, так как это; мол, общество не для него. В ту минуту, когда я уговаривал его, вдруг снова воскресли времена охотничьего домика. Рука об руку вошли мы в столовую.

Магда сидела на письменном столе, Зак стоял перед портретом на мольберте, Крейбих подвергал уничтожающей критике портрет дедушки, называя его «ремесленным подражанием Лейблю». Доктор Гох расположился на софе и горячо спорил с Левенштейном. Христина подавала ужин, бормоча какое-то библейское изречение, я опустил шторы: «чтобы родители не...»

«Этот Гартингер, этот, как его там»,— смеялся я над собой; а между тем этот Гартингер сидел на отцовском месте, и я, расшалившись, вертел его во все стороны на вертящейся табуретке, устраивал ему «карусель»; так я когда-то тайно играл, когда оставался один. Весело, со всех сторон, показывал я его испуганной мебели...

Доктор Гох утверждал, что нового человека можно осуществить в себе независимо от внешних событий, надо только освободиться от комплексов, дать волю своим инстинктам, изжить всё неосознанное, загнанное внутрь. Он отвергал деление человеческого общества на классы, о котором говорил Левенштейн, так как самое это деление имеет в своей основе тяжёлый комплекс, точно так же, как и все освободительные идеи объясняются комплексом неполноценности, и надо, чтобы эти врачеватели человечества прежде всего занялись самоанализом; стоит им исцелиться, как у них пропадёт всякая охота переделывать мир.— Классы! Классы!— таявал доктор Гох.— Не забудьте, сударь, что дух не знает классов, но вы ведь отрицаете духовное начало, ладно, ладно, отрицайте...— Голос Левенштейна с усилием прорывался сквозь хаотические обрывки разговоров. Левенштейн доказывал, что нападки Гоха направлены не против социализма, а против карикатуры на социализм, которую он, верно, состряпал, чтобы легче было с ним расправиться. Никогда учителя социализма не говорили,

что духовного начала не существует и что миром движут одни только материальные интересы. Духовное, конечно, играет огромную роль, и подлинному социалисту никогда не придёт в голову отрицать влияние идей, но...

Но Крейбих загремел:

— Ваш рабочий класс... бессловесная толпа...

— Подумайте, что вы говорите...— попытался возразить ему Левенштейн, но Крейбих в ужасе замахал руками.

— Что вы! Что вы! Этого одолжения я вам не сделаю; я и не подумаю думать. Не желаю, вот и всё. Я не позволю вам заставить меня думать. Это безобразие, которое кончается самоубийством.

Мопс пытался доказать, что вообще никакой материи нет и что всё берёт своё начало в духе... Бог...

Тут Зак разгорячился:

— И пяти пфеннигов не дам за вашего бога...

Доктор Гох, повернувшись к Левенштейну, пронзительно визжал, стараясь перекричать всех:

— Знаем мы! Знаем! Можете сколько вам угодно напускать словесного тумана! От меня вы своих комплексов не скроете, сударь! Ваш брат только потому и бунтует, что ему мешают до поры до времени осуществить свою мечту: стать в свою очередь самодовольным, откормленным мещанином. Вы, сударь, и вам подобные только заражаете мир новыми смертельными комплексами... Расскажите мне какой-нибудь из ваших снов, и я заставлю вас содрогнуться перед самим собой...

— Пустомели! Пустомели!— кричала Магда, сидя на письменном столе и болтая ногами. Зак, единственный из всех, проголодался и жадно набросился на еду.

Гартингер, Левенштейн и я уселись в сторонке. Мы втроем.

— Я думал о непостижимом,— сказал Левенштейн, обращаясь ко мне.— У кого нехватает мужества мыслить, тот ищет спасения в непостижимом и гибнет в этой трясине. Всё это тёмное, колеблющееся, безудержное тянется за нами из глубины нашей истории. Сознательно отказаться от мышления, обречь себя на слепоту— это может кончиться только очень плохо. Только тот, кто презирает человека, может поклоняться непостижимому, завидовать бессознательности животного... Человеческое начало как раз и проявляется в упорядоченности и простоте, в стремлении внести ясность в неясное. В постижении загадочного.

Ведь было время, когда мы всё это уже знали. Туман, водопад... И — забыли.

Левенштейн, казалось, говорил для Гартингера. Гартингер молчал. Это было естественно сегодня вечером. Но присутствие его было нужно. Оно сообщало стойкость.

— И я думал о многом,— сказал я, но лишь в этот вечер, оттого что Гартингер был тут, мне всё это пришло в голову.

— Всё, что мещанин утверждает, я отрицаю, и наоборот. Но теперь мне это кажется глубоко неправильным, это только приводит нас к новой зависимости, к зависимости с обратным знаком. Когда двое говорят одно и то же, то это далеко не юдно и то же. «Да» и «нет» может вытекать из различных предпосылок и предусматривать различные выводы. Многое из того, что утверждает или отрицает мещанин, и мы утверждаем или отрицаем, но мы исходим совсем из других соображений. Мы должны искать истину и провозглашать правду, независимо от того, кто и как об этом думает.

В эту минуту мне казалось, что если бы я снова встретил Рихарда Демеля, я бы внимательно слушал его, не отвлекаясь игрой собственного остроумия. Он сказал мне тогда много хорошего, а что до его предостережений, то пусть нас рассудит будущее...

— Ну, друзья, пора и честь знать! Набили брюхо как следует? А теперь пошли! — Зак встал. Доктор Гох между тем вышел на балкон.

Мопс брезгливо отошёл от Крейбиха, который кричал ему вслед:

— В чувстве любви нет ничего духовного, клянусь вам. Ровно ничего, верьте мне! Я был дважды женат. Первый раз на солидном текущем счёте в банке, а второй — на толстых ляжках.

— Довольно болтать! Пошли! Пошли! — сердито торопил Зак.

— Какие вы все страшные, страшные! — Спасаясь от Крейбиха, Мопс жался к Гартингеру. — Что вы думаете о боге?

— Человечество настолько шагнуло вперёд, — хотел было ответить Левенштейн, но его остановил хохот Крейбиха:

— Человечество шагнуло вперёд... Человечество шагнуло вперёд...

А Зак добавил, заикаясь:

— Ни на пять пфеннигов не шагнуло! Ни на пять пфеннигов! Пошли! Пошли! Пошли!

Тут Крейбих вышел на середину комнаты.

— Слушайте все! Говорю вам: мы — пороховая бочка. Что мы намерены взрывать? Неважно. Мы ненавидим всякий смысл! А пожарик мы зажжём надиво — огонь заплещет в жилах! Зак приставал к Магде.

— Я хочу короновать тебя!

Магда вырвалась от него.

— Не стыдно тебе? Сумасшедший! Зюзя!

— Знаешь,— отвёл я Гартингера в сторону,— есть приятная новость: я избавился от того. От Фека.

— Вы отпая скотина! — крикнул Левенштейн и сплюнул Крейбиху под ноги.

— Как ты думаешь, будет война?— обратился я к Гартингеру, но тут всё наше внимание устремилось к тому, что происходило на балконе.

Той же бесконечно замедленной поступью, то выпрямляясь, то приседая, доктор Гох размеренно двигался по балкону; ритмически балансируя в воздухе руками. Он монотонно декламировал, скандируя каждый слог:

Всю ночь я жду друзей, весь день с утра.

О новые друзья, ко мне! Пора! Пора!

Каждый из всех тех, кто оставался в комнате, повторил за ним:— Пора! Пора!— и это прозвучало общим хором.

Мы стояли молча.

— Кто со мной?— встрепелась Магда, вспугнув тишину.— Без десяти двенадцать. Мне ещё сегодня выступать в «Осе».

— Пошли все вместе,— скомандовал Крейбих.

\* \* \*

В «Осе» было шумно и людно. С трудом, все врозь, мы нашли места. Потом один столик освободился, и Гартингер, Левенштейн и мы с Мопсом уселись за него. Доктор Гох и Крейбих встретили знакомых и сели отдельно. Зак рыскал глазами по залу, присаживался то к одному столику, то к другому, и мимо нашего столика он прошёл, чтобы шепнуть мне на ухо:— Ни на грош не верю я в мир в этом мире... Ни на грош...

Последним номером программы выступала Магда.

Магда пела песенку о «Верзиле Франце», когда хозяйку позвали к телефону.

С Францем в танце ты пройдёшь,

Всю тебя бросает в дрожь,

С головы до пят, бывает,

Вся я изнываю...

Телефонная трубка повисла на длинном шнуре, что-то потрескивало и шумело там, точно важная весть нетерпеливо рвалась к слушающему уху. Хозяйка, вытирая руки о передник, подошла к висевшему на стене телефонному ящику

и, раньше чем взять трубку, посмотрела на часы в гардеробной: половина третьего... Серdito подняла трубку. Едва она приложила её к уху, как на лице её появилось выражение досады и нетерпения, она словно спрашивала: «Что вам нужно от меня в такой поздний час?» Она закрыла глаза, чтобы лучше слышать, и склонила голову набок, словно для того, чтобы рывающий голос по ту сторону провода мог глубже проникнуть в ухо. Внезапно она выпрямилась. Вислощёкая глыба с двойным подбородком как будто получила приказ.

...С головы до пят, бывает,  
Вся я изнываю... —

хором подпевала публика...

— Господа! — Хозяйка остановилась посреди зала. — Господа! — она глотнула слюну и сделала несколько шагов вперёд, чтобы опереться о спинку стула, — мне только что сообщили...

— Внимание! — загремел кто-то, — слово имеет достопочтенная хозяйка!

С Францем в танце ты пройдёшь,  
Всю тебя бросает в дрожь.

Акомпаниатор яростно захлопнул крышку пианино, Магда продолжала стоять на эстраде, вытянув губы, подняв руки, оцепенев.

— Это просто чорт знает что! — ругался акомпаниатор.

— Господа, — хозяйка всхлипнула, — эрцгерцог Франц-Фердинанд и его супруга...

— Внимание! К нам жалуют высокие гости! — крикнул кто-то под всеобщий хохот.

— Однако, господа, я вас не понимаю, выслушайте же меня, дайте договорить!

— Тише! Тише!

Многие застучали ложечками о стаканы.

— ...пали от руки убийцы...

— Bravo! — прорычал чей-то голос из угла.

— Вот так номер! — раздался ещё чей-то благодушный голос, но несколько других голосов раздражённо крикнуло:

— Прекратить безобразие! Кто крикнул «bravo»? — и за одним из столиков громко затаянули: «Германия, Германия превыше всего...»

— Эй вы, банда, встать! — скомандовали сидевшие за этим столиком, но тут появился полицейский.

— Господа, по случаю убийства австрийского престолонаследника и его супруги предписано немедленно закрыть все увеселительные места.

Хозяйка всхлипывала в носовой платок.

Крейбих встал из-за стола, за которым пели «Германия, Германия», и подошёл к полицейскому.

— Арестуйте негодяя, крикнувшего «браво».

Публика ринулась к выходу, только Магда всё ещё стояла на эстраде. Наклонив голову вперёд, она словно напряжённо вслушивалась в неизвестное, пока занавес, медленно и беззвучно сдвигаясь, не скрыл её.

— Пойдём, пойдём,— потянул меня Гартингер за руку. Крейбих и на улице не отставал от полицейского, который всё повторял:— Кого вы подозреваете? Не могу же я ни с того, ни с сего арестовать человека.

Мимо нас, прижимаясь к стенам домов, прошмыгнули, словно они спасались от погони, доктор Гох и Зак. На угловом доме вывешен был экстренный выпуск «Мюнхенских новостей». Названо было имя убийцы: Принсип.

— Да здравствует Принсип!— крикнул я. Несколько человек, стоявших возле нас, в ужасе разбежались.

Мопс отпрянул:— И ты ещё смеешь называть себя немцем! Стыдись!

...Интернат святого Иоганна. Охотничий домик... Как часто он, бывало, говорил: «Стыдись!»

И я улыбнулся Мопсу.

Но Гартингер схватил меня за руку.

— Ну, довольно сумасшествия! Пошли!

## XLVIII

С жадностью слушал я Гартингера, который рассказывал об антивоенных рабочих выступлениях во всех странах.

— На этот раз военная гроза прошла мимо,— уверенно сказал Гартингер, и я снял с полки путеводитель Бедекера, чтобы наметить план интересной летней поездки. На этот раз мы собирались поехать на озеро Гарда. Гартингер водил пальцем по маршруту: Инсбрук, потом вдоль Форальбергской железной дороги до Ландэка, оттуда в Этцталь, Боцен, Меран, Риволи, или: Инсбрук — Бреннер — Триент. Палец Гартингера остановился на озере Гарда, а я прочитал вслух из приложения к Бедекеру: «Вода в озере большей частью густо-голубого цвета».

— Слышали?— крикнул с улицы нам в окно Мопс.— Перед казармой на Тюркешштрассе расхаживают солдаты в походной форме защитного цвета.

— Защитного?— так и подскочил Гартингер.— Защитного! Ну, наконец-то! — вырвалось у меня.

— Я хочу пойти добровольцем,— снова крикнул Мопс, дождавшийся нас внизу.

«Вода в нём большей частью густо-голубого цвета»... На столе всё ещё лежал раскрытый Бедекер...

Перед широкими воротами казармы толпились солдаты лейб-гвардейского пехотного полка в походной форме.

— Что случилось?— спросил, подойдя к одному из солдат, Гартингер.

— Ничего не случилось! Война случилась!— благодушно рассмехался солдат и возобновил разговор с товарищем.

На казарменном дворе раздались слова команды, часовые взяли на караул, и отряд, возглавляемый лейтенантом, вышел на Тюркенштрассе. За марширующим отрядом сомкнулась безмолвная толпа любопытных, время от времени в это удаляющееся безмолвие падала глухая барабанная дробь.

— Сейчас, верно, будет объявлено, что мы вступили в состояние войны,— сказал за моей спиной запыхавшийся толстяк.

Кругом делились новостями: в Обервизенфельде пойманы два сербских шпиона, переодетых монахинями. Эти разбойники, эта сволочь, намеревались отравить колодцы... Над Нюрнбергом уже видели вражеский самолёт... Да, да, это верно, в Восточную Пруссию ворвались казаки. Неожиданно Мопс повернулся к нам.

— Наконец-то пришло великое единение. Наконец-то все мы — единый народ... Я иду добровольцем...

Раздалась барабанная дробь, и лейтенант объявил о введении военного положения. Многие в толпе нерешительно сняли шляпы. И ещё долго, после того как отряд покинул площадь, люди, точно пригвождённые, не двигались с места.

Под перезвон курантов по Бринерштрассе шёл заступать свою смену караул. Громовое «ура» прокатилось по площади. Оркестр играл «Стражу на Рейне». Мопс запрокинул голову и пел, пел. Когда я дотронулся до него:— Пойдём!— он отвернулся:— Мне с вами говорить не о чём... Для вас нет ничего святого...— Пенне всё больше удаляло от нас Мопса, что-то непроницаемое окутывало его, так что до него не доходил ни один из наших доводов.— Послушай, ведь всё это не так, да ты слушай же...— пытался я переубедить Мопса, но он оттолкнул мою руку:— Брось! Смысла нет начинать теперь разговоры... Всё равно мы не поймём друг друга...

На некоторых домах уже развевались флаги. Люди смыкались в группы, то тут, то там раздавалось «да здравствует!» и

«ура!» Автомобиллям, в которых сидели офицеры, прохожие махали руками, шляпами. К офицеру на трамвайной остановке подошла, ковыляя, старушонка и поцеловала ему руку.

Многие шли, точно на крыльях.— Что нового?— спрашивали незнакомые люди и говорили друг другу «ты». Война как будто всех сроднила.

— Война! Наконец-то! — радостно кричал парикмахерский подмастерье толстой женщине, укреплявшей на балконе второго этажа чёрно-бело-красный флаг. Трамваи были украшены флажками.

— Воодушевление всё-таки хорошая штука,— нерешительно сказал я Гартингеру.

— Конечно, хорошая, но при всём желании я не могу найти ничего хорошего в том, чтобы французский и немецкий рабочие убивали друг друга и умирали смертью героев за интересы своих хозяев. Нет, в этом ничего хорошего нет.

Это было сказано с такой ненавистью, что я позавидовал Гартингеру.

— Ну, что, антимилитаристы,— весело встретил нас старик Гартингер. На столе лежало разостланное и размеченное мелом сукно защитного цвета, готовое к раскройке. Два новеньких мундира висели на вешалке. Мать Гартингера сидела за швейной машиной.— Ну, и работы привалило, доложу я вам... Сегодня же надо будет присмотреть себе второго подмастерья. А что, не примерить ли нам этот новенький мундирчик?..

Мы молчали, но старика это не смутило.

— Да, да, уж раз мы воюем, то теперь другой разговор. Авось наши ещё окончательно не потеряли совесть, утихнут и пойдут воевать!.. Ведь вот не сумели предотвратить войну! Я и сам непрочь, взяли бы только меня на фронт, вылез бы я из этого старого болота, повидал бы божий свет. Со времени моих странствий, вот уж двадцать лет, я всё сижу на этом столе, да и старуха,— верно, старая, а?— была бы довольна.

— Конечно, если бы вы, мужчины, убрались, я бы отдохнула...

— Ладно, подождём, что скажут наши вожди, хотя, думаю, против войны у них руки коротки. Иначе с ними расправятся, как с Жоресом. Пиф-паф!— Он поднял руку и сделал вид, что нажимает курок.— Я это всегда говорил...

Он засвистал «Стражу на Рейне» и защёлкал ножницами.

В коридоре было темно. Гартингер, казалось, заблудился в собственной квартире. Я взял его за руку.— Осторожней, не

ушибись! — Я сразу нашёл в темноте дверь и вывел Францля на лестницу. Как только мы вышли на улицу, он быстро распрощался со мной и ушёл.

\* \* \*

Невольню зашагал я в ногу с незнакомцем, шедшим впереди, тот тоже равнялся по прохожему, который был перед ним, вся улица шагала в ногу. Знакомые здоровались, уже не снимая шляпу, а козыряя. Многие уступали офицерам дорогу и чуть ли не становились во фронт.

Внезапно, с криками и гиканьем, сбегалась толпа, преследуя шпиона. Кто-то видел автомобиль, доверху гружённый золотом.

«Наконец-то! Наконец!» — маршировал старый Любитель игры в войну. «Наконец-то! Наконец!» — следовали за ним Палач и Трус, Чемпион и Скучающий болван. «Наконец-то! Наконец!» — торжествовал Беснующийся хам, а на украшенном флагами балконе стоял Фек, перегибался через перила, махал руками и хлопал в ладоши: «Наконец-то!»

«Наконец-то, наконец всё переменится», — ликовала война.

«Наконец-то, наконец», — возгласил старый социал-демократ, и «Наконец-то, наконец!» — сказал я, гуляя по берегу озера Гарда: вода в нём большей частью густо-голубого цвета.

Я попробовал переменить шаг. Пойти медленнее, как доктор Гох, словно каждый шаг теперь был на счету.

Но стремительный поток увлёк меня с собой.

Почему вы так торопитесь? Куда вы спешите?

Что могло бы заставить эти миллионы людей на земле, невредомо куда торопившихся, ещё раз остановиться и взглянуть на плывущие в высоком, бесконечном небе облака: «Ради чего? Куда?»

В кафе «Стефани» анархист с начальственным рывкашём в голосе читал манифест, в котором и он, анархист, клялся защищать свою родину, Германию. Зак брезгливо отмахнулся и сплюнул.

Впорхнула Магда.

— Кто напишет для меня пару симпатичных патриотических куплетиков? — завертелась она по кафе.

— На сегодняшнем сеансе я вызову дух Бисмарка. Феноменально, а? — прошла она, приплясывая, мимо меня.

— Магда, Магда! — позвал её Зак, но она уже выпорхнула в дверь и только на пороге обернулась: — Война покончит с этой повальной ложью... Наконец-то! Урра! Да здравствует война!

Доктор Гох, скользя вокруг бильярда, доказывал необходимость вторжения немцев в Бельгию, при этом он залихватски

размахивал кием и вдруг взял кий на плечо, как винтовку.— Война — это могучий акт освобождения человечества, целительное избавление от массовых комплексов...— Смир-р-но! На караул! — насмешливо скомандовал Крейбих, и беспомощно, иснуганно орудуя кием, доктор Гох, ко всеобщему удовольствию, машинально выполнил команду.— Ружьё к ноге! •Вольно! На караул! Сомкнуть строй! Шагом марш! — и доктор Гох продефилировал перед Крейбихом. Хозяин кафе, облачённый в длинный сюртук, подошёл к Гоху.— Господин доктор, поздравляю.— Кельнер склонился перед ним в поклоне:— Чисто сделано, господин доктор.— Фрейлейн, стоявшая за буфетной стойкой, кивала доктору Гоху:— Bravo! Чудно! — Крейбих переходил от стола к столу:— Ну, разве Германия не победит, когда даже такое дрянцо...— И только Зак всё отплёвывался:— Тьфу! Тьфу! Тьфу! — Поэт в красном кашне подсел к Заку.— Я, знаете ли, решил пойти добровольцем, ведь это тоже род самоубийства.— Убирайтесь к чорту, — заорал на него Зак, и тут перед Заком, поигрывая бицепсами и наступая на него, вырос художник Крейбих:— Эй вы, господин хороший, что вы здесь плюётесь без конца, на кого или на что вы плюёте? Мы, люди богемы, не ударим лицом в грязь на поле чести, или вы, быть может, другого мнения? Так скажите!

Щёки Крейбиха побагровели и вздулись, всё лицо его было, как злокачественная опухоль.

— А вы, молодой человек, — смерил он меня враждебным взглядом, — как я имел случай убедиться, страдаете заторможенностью движений? Не беспокойтесь, уж вас поставят на ноги...

— Идёмте, Зак! — Я силком вытащил его из кафе. Крейбих прогремел нам вслед:

— Изменники!

— А у нас гости! — встретила меня Христина, пугливо озираясь на дверь гостиной.— Кто бы думал — господин Гуго с Явы! Он привёз с собой жену, вот такую...— Христина показала на пятно сажи у себя на фартуке, — и таких же двух малышей. Они все в гостиной, ждут вас, я сначала не хотела их даже пускать...

— А вот и он, мой племянник!

Дверь из гостиной открылась, и дядя Гуго обеими руками пожал мне руки.— А мы в самую войну попали, — благодушно посоветовал он, входя со мной в гостиную, и представил мне пышную чернокожую даму; моя новая тётя, в розовом тюлевом платье, сидела рядом с портретом матери и разглядывала меня в узорчат. Два негрятёнка при моём появлении сползли с кресел.

Дядя Гуго был настолько высок, что головой доставал до

люстры; таких огромных людей я видел до сих пор только на осенней ярмарке, на представлениях, где показывали великанов. Клетчатый сюртук мешком висел на нём, образуя складки, и лицо его тоже состояло из одних морщин и складок; трубку, которая была бы мне по грудь, он небрежно держал в углу рта.

Белое припудренное лицо матери на мольберте, отсвечивающее лёгкими розовыми тонами, с изумлением смотрело из золотой рамы на свою чернокожую соседку, дядя же между тем говорил:— Меня-то война не коснётся, я подданный нейтрального государства; я принял голландское подданство... Захотелось вот повидать старушку Европу...

Люстра закачалась, когда дядя Гуго со всей своей чернокожей семьёй, осмотрев нашу квартиру и узнав важнейшие семейные новости, стал прощаться.

— Очень рад, дорогой племянник, познакомиться с тобой. Мы остановились в «Баварском подворьи» на Променаденплац.

— Что мне делать,— сказал Левенштейн, зайдя ко мне на квартиру,— мать пригрозила, что если я не пойду добровольцем, она не впустит меня больше в дом, а у самой на ночном столике роман Берты Зутнер «Долой оружие!» Нечего сказать, сюрпризец... Колбасная горбушка...

Я осмотрелся в своей комнате так, словно мне вот-вот предстоит её покинуть и надо подумать, что взять с собой, уходя. На дне глубокого ларя лежал строительный набор, железная дорожка с паровичком, крепость, пушки, оловянные солдатики, несколько комплектов «Германской молодёжи» и призы за плаванье.

— Ваша милость! — постучалась Христина.— Я совсем забыла, ваш товарищ уехал. Велел благодарить за гостеприимство.

— Наши депутаты голосовали за войну,— сказал подросший Гартингер,— и всех, кто против войны, они объявляют попросту сумасшедшими. Все сообщения из-за границы проходят через жестокую цензуру. Неизвестно, что там происходит. Война, значит, совершившийся факт...

Только в это мгновенье война — так показалось мне — стала реальностью. Стрекоца, как во сне, звонил — как давно это было! — телефон в «Осе». Как во сне, шёл я по городу, борясь с желанием шагать в ногу. Словно во сне, маячило передо мной кафе «Стефани», где доктор Гох, беспомощно орудуя кием, брал на караул, и, словно во сне, я присутствовал на сеансе, где Магда вызывала дух Бисмарка. И разве не во сне это было: я выводил Гартингера из темноты коридора, когда он заблудился в собственной квартире?

Разве все это не приснилось мне, только приснилось...

Я уже не говорил больше:— Ну, наконец-то!

— Ты прав,— сказал Гартингер Левенштейну,— я тоже считал, что война немыслима после того, как все рабочие организации высказались против войны. А мой отец, представьте себе, старый социал-демократ, рассказывает трогательнейшие истории из времён своей военной службы, словно он по меньшей мере член военного ферейна... Вчера вечером к нам заходил тот самый старик, сборщик партийных взносов. И хотя у отца полно заказов, они до поздней ночи играли в карты, только и слышно было что «пиф-паф» да «хлоп-хлоп». А потом они пели «Стражу на Рейне».

— Ну, Христина?

— Да, война, война... То-то я смотрю, у меня всё руки сохнут... И вам, молодые люди, верно, тоже скоро придётся идти на войну... Господин майор Боннэ приходил прощаться, он кланяется вам... Господин обер-пострат Нейберт уже вывесил флаг, а наш я никак не найду, целый день проискала, он, верно, на чердаке... Да, да, я всегда говорила...

— С флагом можно повременить, Христина. Приедут отец и мать, тогда вывесите.

— Но ведь повсюду флаги...

Мы стояли на балконе. Втроём.

«Друзей должно быть трое,— думал я,— по крайней мере один-то уж сохранит мужество. Двое — это мало, так легко заразить друг друга страхом, а из трёх — один, словно на сменном дежурстве, сохраняет присутствие духа и бодрствует.

— Прощай, поэзия,— сказал Левенштейн,— *inter arma silent musae*<sup>1</sup>. Теперь у нас дела поважнее...

— Почему прощай? — возразил Гартингер. — Именно теперь, на мой взгляд, стихи особенно нужны. Ведь стихи на то и существуют, чтобы напоминать нам о человечности... Они помогут хоть что-нибудь спасти в той страшной катастрофе, какой является для человечества война. Я именно в последнее время читаю особенно много стихов.

Тогда Левенштейн, за минуту до того собиравшийся распрощаться с поэзией, заговорил о стихах. Он говорил о том, каким драгоценным даром становится для человечества каждое хорошее стихотворение, как оно способно сделать человека счастливым и стойким, как неожиданно освещает по-новому самые будничные и привычные вещи, как хорошее стихотворение, даже если оно повествует о глубочайшей муке, вливает в нас жизненные силы и повышает для нас ценность жизни,— больше того, хорошее стихотворение знаменует преображение, новое рождение мира,

<sup>1</sup> Когда гремит оружие, музы безмолвствуют (лат.).

наступление новой жизни... И Левенштейн, очевидно, кивая на меня, закончил тем, что муза, как сказал один великий человек, всегда охотно приходит к поэту, но вести его не умеет... Поэтому...

Я понял его «поэтому».

Я протянул руку Левенштейну, Гартингер положил мне руку на плечо, мы вопрошающе глядели вдаль.

Кто же из нас в эту минуту был сильнейший духом? Этим сильнейшим оказался Левенштейн. Он стал тихо насвистывать: «Вставай, проклятьем заклеименный».

Гартингер и я подхватили, и долго мы втроем насвистывали эту песню, ибо она делала нас сильными.

Гартингер вслушивался в ночь.

— Кто знает,— сказал он,— что нас ждёт?

И тут сильнейшим оказался я.. Я сказал:

— Я видел корабль...

Название корабля я опять забыл.

## XLIX

Кто же это играет на гармонии?

Проснувшись поутру, я услышал гармонь.

Во дворе, на лавочке у конюшни, сидел Ксавер. Он был в штатском. Возле него стояли сундучок и картонка. На шляпе торчал пучок цветов.

Тогда я вынул скрипку из футляра,— ту самую, ни в чём неповинную — все струны были целы, её только надо было настроить. Я настроил скрипку и заиграл вслед ушедшему учителю Штехеле и навстречу гармонии Ксавера «Грёзы» Шумана. Мне казалось, словно я играл Песнь песней о Новой жизни, хоть это была и не та мелодия, которую пропел мне Левенштейн у водопада в Английском парке.

И гармонь играла что-то своё, но разве не играли мы с Ксавером в лад? Разве не играли мы одно и то же?

Христина постучалась:— Господин майор отправляется на войну.

Ксавер вывел из конюшни коня. Его гармонь лежала на лавочке.

Майор махнул рукой — вольно! — стоявшему перед ним навытяжку Ксаверу и, не обращая внимания на «ура», которым провожал его обер-пострат Нейберт, поскакал за ворота, на улицу..

Ксавер заметил меня у окна.

— Эй,— крикнул он,— кто это там смотрит в окошко?! Что же вы не пожалуете на минуточку вниз?

Ксавер возился у себя в каморке.

— Будьте как дома, без церемоний! Со вчерашнего дня даже кайзер не признаёт никаких партий, и все немцы равны. Только надолго ли, это мы увидим... А вы, господин, когда же вы в поход?

— Мне некуда торопиться. Когда призовут...

— Ах, так вот вы какой! Ну, тогда нам легче сговориться! Мне эта война тоже не по душе, я только женился, уже и ребёночка, верно, не долго ждать; мне, можно сказать, неплохо жилось, когда они нагрянули со своей мобилизацией, и я ответил им по-свойски... Но, подумал я, война ведь не надолго, а покажется она мне долгой, так вы ведь знаете, я скажу ей, поцелуйка ты меня...

«Фу, Ксавер, и не стыдно тебе, куда ты только показываешь пальцем?» — бранил я его тогда...

Я сидел у ног Ксавера на скамеечке, как в былые времена, скамеечка уже стала низка для моих длинных ног. Ксавер взял в руки гармонь.

— Чего только вы не придумаете, молодой господин! Мне-то что, я готов, хотя теперь, раз даже кайзер не признаёт никаких партий, так, верно, и наверху не будут против, если наш брат маленько поиграет?

— Отец и мать... отец и мать уехали,— произнёс я тихо.

Ксавер прижал к себе гармонь, наклонил голову и, как бы лаская инструмент, стал нежно перебирать клавиши:

Если я, если я пойду в городок...

Уж очень болела душа от этой песенки, поэтому мы, лишь тихо, без слов, подпевали, и Христина вышла на балкон и стала глядеть на улицу; быть может, она всё ещё не потеряла надежды, что вот-вот покажется её фельдфебель...

Через год, через год,  
Как созреет виноград,  
Созреет виноград...

Ксавер отвернулся, отвернулся и я: мы прятали друг от друга слёзы.

— Хватит! — сказал Ксавер, но машинально всё перебирал и перебирал лады.

— Ну вот, значит, пришла пора расставаться. Для всех приспел час разлуки. В городе все празднуют проводы, куда ни повернись, только и слышишь: «Счастливо оставаться! Про-

щай! Не забывай!» Завтра вечером и мне в поход, поеду догонять майора, он опять взял меня к себе в денщики, здорово, а? Вот, значит, и мы устроили маленький прощальный концертик! Спаси тебя бог, можешь опять спокойно говорить мне «ты».

Во дворе кто-то громко звал:

— Алло! Куда ты там запропастился?

— До скорой встречи, Ксавер! — сказал я и вышел из его каморки.

...Если бы он знал, Ксавер, где я видел его! Он был ведь на корабле, на Благословенном корабле!..

Фек и Фрейшлаг искали меня по двору.

— Чудак, где это ты пропадаешь? — раскричался Фек. — Старуха наверху сказала нам, что ты где-то здесь, во дворе. Ну и компания же у тебя, нечего сказать... С конюхом знакомство завёл...

— Чем же плоха эта компания, — вскинулся я на них. — Воевать они хороши для вас, эти конюхи? А может, вы собираетесь вести свою войну собственными силами, эй вы, спесивая сволочь?

— Вот так-так! Это что за песня? Ведь теперь война, а революция, ты как будто спутал эти две вещи, — кипятился Фек. Но Фрейшлаг сказал примирительно: — Мы пришли сообщить тебе, что в случае добровольной явки в армию можно досрочно сдать выпускные экзамены. Поедем с нами сейчас в Обервизенфельде.

— Так он добровольно и пойдёт в армию! Плохо же ты его знаешь! — глумился Фек. — Да он напустит в штаны задолго до первого выстрела. Трус! Импотент! — Фек вытягивался во весь свой короткий рост.

— Феконька, прохвостик, — я угрожающе поднял руку, — поостерегись, а то как бы чего не вышло! Слышишь! Ты — гунн!

— Как бы чего не вышло! Как бы чего не вышло! Он ещё грозит нам! И над кайзером смеётся! — обратился Фек к Фрейшлагу. — Тот сказал только: — Я ухожу! — и повернул к воротам.

— В таком случае я сам с ним рассчитаюсь... — Фек наступал на меня, потрясая кулаком перед моим носом.

— Остроумный мальчишка! Слюняйка! Козёл похотливый! — ругался я. Но меня разбирал смех от этих неистовых ругательств, и я не мог изловчиться, чтобы как следует ударить его. А я хотел ударить его за Дузель и за Фанни. Зубы хотел я выбить ему.

В окошке своей каморки показался Ксавер.

— Если ты немедленно не уберёшься, жаба ты слюнявая, гад ты атакый, я тебя сейчас съезжу вилами!

— Слышал ли ты когда-нибудь, жалкий ты карлик, о Гулливере?— сказал я, кивая на Ксавера.

Фек зарыл свой кулак глубоко в карман и отступил. У ворот он обернулся:

— Мы ещё поквитаемся! Ах ты... ты... палач!

Хорошо рассчитанный удар попал в пустоту.

Я дотронулся до лба.

— У тебя, верно, не всё дома,— и я откашлялся, собираясь сплюнуть, выплюнуть Фека вон.

— Поквитаемся! Поквитаемся!— кричал, захлёбываясь, Фек.

— Поквитаемся, можешь быть уверен!— крикнули мы с Ксавером в один голос.— Хо-хо-хо!— рассмеялся я, как Ксавер.

Фек подтянулся на цыпочках и крикнул через ограду:— Я и забыл тебе передать поклон от фрейлейн Клерхен, я с ней вчера познакомился.

Я бросился за ним. Но догнать его уже не мог.

Левенштейн между тем побывал дома и вернулся оттуда с чемоданом.

— Со стариком я было кое-как договорился, но мать, ну как тебе это нравится, родная мать... Она заладила: «Либо ты добровольно явишься на призывной пункт, либо не показывайся мне на глаза! Мы, евреи, не позволим, чтобы нас упрекали, будто мы недостаточно хорошие немцы». Подумай только, и это мать, родная мать... Тебя ещё тоже ждёт всякое... Когда я уже уложил вещи, старик велел позвать меня: «Поезжай в Берлин учиться,— сказал он мне,— я буду ежемесячно посылать тебе деньги»,— и он тут же дал мне на первый месяц.

— Значит, дело обернулось совсем неплохо. Поздравляю...

Левенштейн говорил, глядя в окно:— Чтобы мать, родная мать... Как это так... Колбасная горбушка, колбасная горбушка... А может быть, следовало бы в угоду матери?!

\* \* \*

Уже с Одеонплаца всё было запружено густыми, тесно сбившимися толпами. На ступенях Галлерей полководцев высокой плотной стеной стояли люди. Тысячи людей молчаливо вперили взоры в ночь... Внизу, у арки Победы, горели бесчисленные огни факелов.

Как только мы, с трудом пробившись, подошли к оцепленной со всех сторон Дворцовой площади, на которой должен был происходить парад частей мюнхенского гарнизона, с Галлерей полководцев грянул баварский марш.

Во втором этаже королевского дворца засветился ряд окон. На балконе, с балюстрады которого свешивался огромный баварский герб, широко распахнулись двустворчатые двери.

Подул тёплый, лёгкий ветерок. На смоляных факелах заколебались языки пламени.

Всё ближе и ближе подкатывал медный гул духового оркестра, сопровождаемый грохотом литавр и барабанов.

Передние ряды факельщиков повернули влево, заглушая четкой поступью звуки фанфар и барабанную дробь. Военные части в серой походной форме и серых шлемах стали заворачивать на площадь.

Казалось, самая способность мыслить растаптывалась этим звенящим шагом; от медных всплесков литавр во мне словно опять зашевелилось то, что влекло меня к чеканному шагу и к полному слиянию со всеми. Пасть от пули, шагая в атаку, заслужить геройскую славу, — насколько это лучше жалкой смерти в одиночестве. Барабаны звали к прекрасной, священной смерти на людях. Открывалась возможность самому приблизиться к себе неминуемое, вместо того чтобы тянуть ляжку долголетней жизни, похожей больше на медленное, мучительное угасание, чем на жизнь.

Короткая команда. Неожиданно, на середине такта, музыка оборвалась. Тишина стояла бездыханная. Такая тишина, что слышно было лёгкое потрескивание факелов, а раздавшийся где-то плач ребёнка с необычайной гулкостью разнёсся по площади.

Я затаил дыхание. Все стояли, затаив дыхание. Я не решался в этой тишине повернуть голову. Мне казалось, что становится всё тише, словно тишина ложится на тишину. Я был поражён тем, какая бездыханная тишина может воцариться на переполненной людьми площади. Я невольно смотрел туда же, куда были устремлены взоры всех.

В просвет балконной двери вступила тень... Король подошёл к балюстраде балкона. Совсем тихо, приглушённо, словно из-под земли, звучал военный оркестр среди величественной бури человеческих голосов, певших под эту музыку «Стражу на Рейне». Люди пели всем своим взбудораженным существом. Многие плакали. Женщины падали на колени. И я снял шляпу. Непреодолимая сила водила моей рукой. Я не знал, пою я или не пою. Я снова затаил дыхание и услышал, что пою. Я чувствовал, как дрожь, охватившая Гартингера, передаётся мне, он, как и я, переминался с ноги на ногу. Ему тоже стоило больших усилий не поддаться общему порыву, устоять.

Король заговорил. Неразборчивые обрывки слов сеялись над площадью. Можно было снова надеть шляпу. Оцепенение, которое

только что сковывало людей, исчезло. Многие перешёпты-вались.

Король кончил речь.

Снова вспыхнула буря человеческих голосов:

«Германия! Германия превыше всего!»

Я не снял шляпы.— Шляпу долой!— угрожающе зарычали на меня со всех сторон. Гартингер наступил мне на ногу:— Сейчас же сними шляпу! Что это с тобой?— Не желаю. И всё тут.

— Вздор!— И Гартингер сдёрнул шляпу с моей головы.

\* \* \*

Я завидовал Левенштейну, что он так, без всяких разговоров, может сесть в поезд и куда-то уехать, далеко — в Незнакомое, в Неизведанное — в Букстегуде!.. «Пустые мечты,— зло сказал я самому себе.— Так дёшево ты у меня не отделаешься».

Уже когда поезд тронулся, Левенштейн протянул мне из окна книгу:— Чуть не забыл. Бери скорее. Это Гельдерлин.

— Нам с тобой по дороге,— сказал Гартингер, когда мы, проводив Левенштейна, направились домой. И опять Пропилеи, Вилла Ленбаха, Луизенбадский бассейн — всё тот же наш старый школьный маршрут.

Нам по дороге, нам по дороге.

В Луизенской школе были расквартированы солдаты. Мы замедлили шаги. Гартингер взял меня под руку.

— Впредь, пожалуйста, изволь снимать шляпу. Такими фокусами ничего не добьёшься.

— Ну, я уже совсем перестал что-либо понимать. Этим ничего не добьёшься, говоришь ты. А чем добьёшься?

— Придёт время, узнаешь. А пока возьми себя в руки и не разыгрывай невменяемого... Очень уж ты торопишься...

— Тебе хорошо говорить. Тебе не над чем раздумывать. Для тебя наперёд всё ясно и просто.

— Не допускаю, чтобы ты говорил это серьёзно. Так плохо ты разбираешься в людях? Ну, так знай же, и ты, и вы все... Мне пришлось тоже сперва научиться думать... А научившись, я много дум передумал... Кто не думает, в том не может быть настоящей стойкости... Отец мой рассказывал, как однажды,— это было во времена закона против социалистов, когда он жадно набирался знаний и много, без разбора, читал,— он спросил старшего, опытного товарища:— Послушай-ка, товарищ, скажи мне, как ты относишься к смерти?— Отец много думал о смерти, и собственные выводы, к которым он приходил, не удовлетворяли его.— Как я отношусь к смерти? К смерти?— Опытный товарищ

смеялся чуть не до колик, но, успокоившись, совершенно серьезно сказал:— На такой вопрос я не отвечаю. Как мы относимся к смерти? Да никак не относимся. У нас и вопроса такого не существует.— Разумеется, отец этим ответом не удовлетворился и продолжал размышлять над проблемой смерти, точно так же, как я о ней думаю часто, часто... Ведь мы страшно изголодались,—мы жадно глотаем всякую мало-мальски ценную крупинку знаний, мы изголодались, словно голодали с сотворения мира... Случилось так, что тот самый, опытный товарищ попал в тюрьму. Его обвиняли в том, что он устанавливает связь между товарищами, оставшимися в Германии, и теми, кто эмигрировал за границу. Следовательно спросил у него, известны ли ему имена товарищей, которые занимаются тем же, чем и он? Опытный товарищ промолчал. Его снова отвели в подследственную тюрьму. На следующем допросе следователь пустил в ход угрозы. Сначала он пригрозил пожизненной тюрьмой, потом расстрелом. Он с такими подробностями излагал законопроект об усилении репрессий, якобы прошедший в рейхстаге, что угроза показалась опытному товарищу вполне реальной, он дал себя околпачить и запугать и, после многочасового допроса, назвал имена всех известных ему товарищей. Позже этот предатель написал жене такое письмо: «Прости меня! В первый раз в жизни я был поставлен лицом к лицу со смертью. И так как я никогда не думал о смерти, я не устоял». Так обстоит дело с необходимостью думать. Вот тебе мой личный пример: когда отец, этот старый противник войны, изменил своим убеждениям, я в первое время был совершенно растерян. Да мало ли таких вопросов, когда не справляешься сам и нужна помощь товарищей.

Я сказал, помолчав:

— У меня нет товарищей. Только ты один.

— Да что ты во мне увидал особенного? Таких, как я, множество... У тебя будет много товарищей.

— Где же они, эти «много»? Почему они прячутся? Как их найти? Покажи мне их!

— Они сами придут к тебе.

— Когда? Когда?

— Когда они понадобятся тебе и когда наступит для этого время!

— А что же сейчас делать?

— Учись! Думай!

«Я не хочу думать»,— чуть было не сказал я, но, вспомнив Крейбиха, проглотил эти слова и ответил:— Один я ни до чего не додумуюсь.

— А ты не ленись. За тебя никто думать не обязан.

— Домашняя обстановка душит меня.

Мы стояли против аптеки на Терезиенштрассе. Я часто бегал сюда за порошками от мигрени для матери.

...А может быть, следовало бы в угоду матери... Для этого нужно быть титаном... Тебя ещё тоже ждёт всякое...

Гартингер пожал мне, прощаясь, руку, но всё не уходил.

— Сразу ничего не бывает просто и ясно. Всё берётся с боя. А с домашней обстановкой ты уж как-нибудь сам справишься.

Я не мог не сказать ему:

— До чего же вы трезвы!..

Гартингер выпустил мою руку и спросил:

— Ты что хочешь сказать этим?

— О, если бы можно было загореться таким же прекрасным воодушевлением против войны! О, если бы явился гений, социалистический вождь, который кликнул бы клич! Ведь тысячи людей жаждут подвига, тысячи готовы принести нечеловеческие жертвы. А он, великий, объявил бы войну войне, и все мы пошли бы на эту войну, священную, справедливую... Голос его услышали бы все народы, по всей земле. Миллионы откликнулись бы и последовали за ним. Мы увидели бы развёрнутые знамёна, реюющие над нами, услышали бы мерный шаг миллионов, от музыки которого сильный стал бы сильнее, слабый обрёл бы уверенность, а враг затрепетал бы от страха. О, почему мы так скромны? О, почему мы так безгласны? С нас многое спросится. Человек стремится к величию. Он стремится выйти за пределы себя. Он стремится жить в будущем! С нас спросится всё, что делает человека свободным, сильным и прекрасным! Ведь должен же родиться новый мир, новая любовь, новая дружба, новая правда, новая справедливость! Ведь должен же родиться новый человек! Герой, побеждающий голод и войну! Ведь должно же родиться новое учение о жизни, о смерти и о бессмертии! Помнишь, ты сказал однажды: «Товарищ, отваживайся мечтать!»

— Но ведь существует и сегодняшней день,— нерешительно возразил Гартингер, помолчав.

— А разве то, о чём я говорю, не сегодняшней день! Кто не отваживается подняться выше требований дня, тот, по-моему, не поспеет и за повседневными потребностями... Очень возможно, что мне ещё много, много следует учиться и что мне меньше, чем кому бы то ни было, к лицу критиковать и давать советы. Но я знаю одно: то, чего я так страстно хочу, спросится с нас. Спросится! Сегодняшний день — это война, и нам необходимо загореться воодушевлением против войны! Укажем людям светлый путь разума среди всего этого безумия. Самое великое,

из того, что живёт в сознании человечества, спросится с нас — с нас!

Гартингер крепко пожал мне руку.

— Ты многое сказал, товарищ! До свидания! Мне хочется подумать над всем этим.

\* \* \*

В кафе «Стефани» было пусто.

Реяли флаги, всюду попрежнему реяли флаги. Время подошло к полудню. Я сел у окна.

Кельнер принёс газеты и сказал:— Сейчас пройдёт полк Листа.

Во время спектакля в Мюнхенском камерном театре Ведекинд выступил с патриотической речью. В газете было напечатано воззвание анархистов, снабжённое благожелательным примечанием редакции, оно было озаглавлено: «На зов кайзера откликнулись все, все».

«Что же такое эта война?»— спрашивал я себя с новой тревогой и, чтобы рассеять собственную неуверенность, ответил себе словами Гартингера: «Борьба идёт за рудный бассейн Лонгвей, народы вынуждены проливать кровь за новые рынки сбыта и сверхприбыли капиталистов».

— Так что же, значит, мы не должны обороняться, даже если враг нападёт на нас?

— Перечти речи кайзера за последние годы, вспомни хотя бы о «прыжке пантеры» и подумай — кто же этот враг: русские или французские рабочие и крестьяне?.. Стой твёрдо на своём! Не сдавайся! Не позволяй сбить себя с толку!

— Но это ещё не всё. Это ещё не вся война, тут ещё многого не хватает. Надо исследовать войну. Но начать надо с исследования не войны, а мира. И с ним уж далеко не всё ладно...

— Идёт полк Листа!— крикнул кельнер, стоявший у двери. И вот уж гремят литавры, бьют барабаны и оркестр играет: «Был у меня товарищ...»

Всё, что до этой минуты двигалось по улиц в разных направлениях, вдруг дружно устремилось в одну сторону. Окна с шумом распахнулись, переполненные до отказа балконы свесились вниз, в подъездах у ворот толпились мужчины в рабочих блузах, женщины в передниках...

Меня точно выбросило из кафе на улицу. Надвигался, тесня меня к стенам домов, поющий людской вал. В центре его высились винтовочные дула, из которых торчали цветы.

Вверх-вниз — чётко двигались палочки барабанщика, словно без этих чётких взмахов вверх и вниз не было бы и музыки. Мерный шаг солдат сметал всякое сопротивление.

— Вот они, наши добровольцы, совсем ещё дети, вот она немецкая молодёжь!— всхлипывал рядом седоволосый старик и мерил меня укоризненным взглядом.— Лево! Лево! Лево!— рывкал он мне, чтобы я шёл в ногу. Только на углу я с трудом остановился.

Словно увенчанный лаврами, шёл полк по Тёрезинштрассе, вот он свернул на Тюркенштрассе, заставляя всех подхватывать свою песню:

В лесу пели птички,  
Так чудно пели надо мной:  
О родина, о родина,  
Вновь встретимся с тобой...

Вдруг блеснуло знамя; его сопровождали два солдата с прикинутыми штыками.

Слава нам, слава нам,  
Слава и победа нам!  
Грудью, душой  
За край родной!

Только на одно мгновенье увидел я его лицо из-за бело-голубого шёлкового полотнища. Потом уж я видел одно только развевающееся знамя.

Это он, Мэпс, шёл впереди с полковым знаменем.

Я хотел снять шляпу, но нет, оказывается, я стоял с обнажённой головой, а знамя плыло уж далеко-далеко... Там шёл он...

Я громко пел. Пусть он там, под уплывающим знаменем, слышит, что я тоже пою.

И вырван был он с кровью  
Из тела моего...

Ещё раз, уже издалека, донеслось:

Ты не пожмёшь мне руку,  
Но в вечности, в фазлуке,  
Будь верным другом мне...

Тогда и я помахал рукой на прощание. Но я махал, повернувшись совсем в другую сторону, туда, где стоял охотничий домик, где стоял осиянный лес, и я попрощался с Мопсом: «Вернись поскорей!»

\* \* \*

— Пять пфеннигов! Нет ли у вас пяти пфеннигов, пожа-  
луйста...

Зак взял со стола пять пфеннигов и уставился на пустой мраморный столик.

— Дикая неразбериха, а? Тут надо разобраться.. Видели бы вы сегодня Крейбиха! Его точно подменили. У доктора Гоха просил прощения, а потом ко мне подошёл: «Простите за всё, Зак, я вёл себя, как мерзавец! Иду на фронт и там всё искуплю». Магда же, наоборот... Представьте, не раскланивается со мной, дуется. И всё потому, что я отказался сочинить для неё патристические куплеты... А доктор Гох, который славит войну как величайшее событие, заявил, что он больше не будет толковать сны, ибо толкование снов — это насильственное вторжение в психический механизм, а он принципиально против всякого насилия... Вот и надейся на людей! О, вы, толкователи снов, исследователи комплексов!.. Слова, мысли — зовы в снежной вьюге! Деяния — следы, следы на снегу...

— Я видел корабль,— начал я и рассказал всё сначала...

Я рассказал о том, кем я был когда-то,— о Другом.

Другой стоял в новогоднюю ночь на балконе, и в час наступления нового столетия он — Лгунишка и Проказник — трижды поклялся зажить по-новому. Но, не найдя в новом веке никаких следов новой жизни, он стал Зловредой и Пакоствником, украд из бабушкиного старинного шкафчика золотой и заставил своего товарища ртом ловить монету. Он, этот Другой, входил в шайку, которая преследовала нищую голь, и получил кличку «Палач». С годами он становился всё зловреднее, он посещал «Школу низости», где научился всему, что могло ему понадобиться в той жизни, к которой готовили его воспитатели. Правда, в нём постоянно жило глухое беспокойство, что-то восставало в нём, и часто, когда его заставляли стоять навтыжку, он буянил и упирался, но так как к тому времени в нём развились уже все свойства Малодушного и Труса, то выдержать искуса он не мог. В конце концов он задумал бежать от себя и устремился к Забвению. Но не нашёл его. Чемпион по плаванию волей-неволей вернулся к себе. Чего только не делал этот упрямый болван, чтобы всё оставалось по-старому. Он готов был броситься с Гроссгесселозского моста в Изар, только бы не стать хорошим человеком. А Стойкая жизнь засылала к нему своих Вестников, Вестники тормозили его, не давали покоя, без устали наседали на него. О, как этот Другой оборонялся от них, чего он только не делал, лишь бы ему оставили его удобную жизнь! Долго, очень долго боролись друг с другом Смирный и Стойкий, и то один брал верх, то другой, они пускали в ход все приёмы борьбы, они уподоблялись один

другому так, что часто их нельзя было отличить. Оба они были сильными, грозными противниками...

— А теперь послушайте, Зак, что произошло в Английском парке, у водопада...

— Да, что же, что же услышал Другой в Английском парке у водопада?— прервал меня Зак.— Правда, однажды вы мне об этом уже говорили, но сейчас всё приобретает совсем другой смысл,— и без всякого перехода спросил:

— Вам приходилось голодать?

— Нет, до сих пор; я всегда наедался досыта. Но... но жила была колбасная горбушка...

И я рассказал историю о колбасной горбушке, причём эта история случилась якобы с Другим, ибо, рассказывая о жизни Другого, я не всегда придерживался точности. Дело было не в точности...

Пока я рассказывал о себе в лице Другого, Другой несколько раз снимал шапку и кланялся мне, словно прощаясь.

Фрейлен Клерхен сидела с Другим в Беседке счастья, она тоже была одним из Вестников, которых засылала к нему Стойкая жизнь. И Весёлый гуляка явился к Другому. Нет, я был не в силах перечислить все те превращения, в которых являлась Другому Стойкая жизнь.

...Её звали Фанни...

«Ты хочешь сказать эта Фусс,— сказал Другому его отец.— И уж, конечно, не фрейлейн Фусс». Настоящее имя Христины тоже не было Христина, её только так прозвали.

В гостиной на мольберте стоял портрет, и бабушка говорила с Другим после своей смерти.

Был такой Гартингер, который вёл Другого и временами выпускал его руку для того, чтобы Другой сам научился ходить по правильному пути.

И вот, наконец, он нашёл в себе силы избавиться от Стоящего навязяжку. Трудно таким, как он..

— Кто был этот «он»?— спросил Зак, подняв голову.

— Другой. Другой.

— Да, Другой,— согласился Зак.

Рассказ о Другом заканчивался тем, что Другой нёс бело-голубое знамя. На знамени белые облака плыли по высокому, голубому, бесконечному небу, и оно реяло над полем битвы.

Тут Другой и я спять слились воедино и я замолчал...

Зак положил пять пфеннигов на середину стола. Сильно перегнувшись через стол, он вытянутым пальцем сверху вниз тыкал в монету. Впечатление было такое, словно он собирался показать фокус.

— Послушайте теперь меня! Вы думаете, что я... когда-нибудь освобожусь от этих пяти пфеннигов? Доктор Гох приговорил меня за это к смерти... Итак, слово предоставляется приговорённому к смерти!

Он откинулся на спинку дивана, и тот самый Зак, который обычно сидел здесь сутулый, согбленный, настороженный, втянув голову в плечи и скрестив руки на груди, теперь распрямился, вольно вздохнул всей грудью и поднял голову таким движением, которое словно говорило, что этому человеку нечего скрывать, что он хочет свободно высказать свои сокровеннейшие мысли. Он не запинаясь на отдельных словах, его заикания как не бывало, он говорил легко и связно.

— Вы одолели его в себе, хоть он, конечно, будет к вам возвращаться. Что поделаешь — человек подвержен закону инерции. Великое в противлении! Да, конечно, можно подняться над самим собой... Мне тоже только ещё предстоит справиться с моим Другим! Наши дороги скрестились. Именно в этой точке они встретились. Скажу яснее. Я был стоек — не знаю, смею ли я это утверждать, — до сегодняшнего дня. Если вы, счастливец, можете сказать: «Жила-была колбасная горбушка», то я, проклятьем заклеянный, должен сказать о себе: «Да... но был голод!» Голод дома и голод потом, ничего, кроме голода... Я голодал много и долго, доголодался до того, что уже не удерживал пищу. Во сне я поедал целые булочные, целые колбасные магазины, я ел дюжиной ртов, только бы наесться досыта. Я смотрел людям в рот, чтобы увидеть кусок, который они прожёвывали. Я смотрел им в утробу, в кишки, следил, как переваривается пища. Если кто-нибудь переставал жевать, я не верил, что у него во рту ничего нет: открой, мол, пасть, посмотрим, чем набит твой пустой рот... Я изучал поваренные книги всех времён и народов, о, я такое меню мог бы составить вам, дружок! Я знаю давно позабытые рецепты... Двадцать лет я голодал... Двадцать! Я бродил около кухонь всяких ресторанов, вдыхал в себя их запахи. Стоял у дверей «Баварского подворья», у «Погребка ратуши», у «Четырёх времён года». Я зывал к тем, кто входил туда, входил уже с полным желудком: «Возьмите меня с собой! Покормите хоть раз досыта!» Они протягивали мне пять пфеннигов... Я дожидался на улице, пока они выйдут. — «На здоровье господам!» — Я надеялся насытиться их сытым видом. Они, эти толстопузые, отрыгивали мне в лицо, — хоть бы они вытерли жир с усов, неужели там нет салфеток?! Их утробы были набиты доверху, словно они сожрали все меню, а я — я с поклоном открывал перед ними дверцы машин, но толстопузые узнавали меня: — Этому мы уже раньше дали несколько пфеннигов. — Желудок

мой урчал, кровоточил, корчился в судорогах, словно затем, чтобы я кусочками выплюнул его к ногам этих господ.— Будьте великодушны! Хоть раз накормите человека досыта...— Но никто меня не накормил, я голодал и голодал... Эти пять пфеннигов здесь, на середине стола, говорят:— Приумножь меня в сто тысяч, в миллион раз, и тогда ты не будешь знать голода!— Но всё равно, я буду голоден, всю свою жизнь — слишком страшен был тот голод.. Пожизненный голод.. Пусть бумажник в моём кармане будет туго набит, я всё же буду просить у всех встречающих: «Нет ли у вас пяти пфеннигов, пожалуйста». Как разбойник с большой дороги, буду я нападать на всех, чтобы вырвать из их портмоне пять пфеннигов: «Помоги, я умираю от голода!» Нет такой подлости, на которую я не пошёл бы. Я всегда могу успокоить свою совесть: «Помоги, я умираю от голода!» Я отрекись от своего рода и племени, я изменю своим взглядам, перейму аристократические манеры, стану кавалером с головы до пят. У лучшего портного буду заказывать себе костюмы, трёхкомнатная квартирка на Куфштейнерплац в Мюнхене вырастёт в двенадцать комнат на Курфюрстендамме в Берлине, во дворец в Тиргартене: «Помоги, я умираю от голода». Что я буду писать? Всё, что приносит деньги. Мне нужны миллионные тиражи. Я жажду денег. Я хочу иметь огромное состояние, чтобы похоронить под ним память о пяти пфеннигах. Всё, только не голодать, только не это! Никогда больше! Никогда! Я не буду плевать, когда какой-нибудь Крейбих заставит доктора Гоха маршировать под его команду. Мне наплевать будет на войну. Пусть себе убивают друг друга. Пусть люди голодают, пусть умирают от голода, мне никакого дела нет,— только бы я утолил свой голод, только бы я нажрался. Трепещите, обжоры, я один властвую над всей жратвой в мире. Я завожу самые аристократические знакомства, обедаю с университетскими профессорами, с советниками, министрами, я устраиваю себе каждый день великолепные пиршества, и всё же меня преследует безумный страх. Кошмары душат меня — мне снится, что я умираю от голода.. Если я, проезжая по улице в собственной машине, увижу вас, идущего пешком, в потрёпанном костюме, я остановлю машину и подзову вас: «Нет ли у вас пяти пфеннигов, пожалуйста. Помогите, я умираю от голода..» А потом придёт день,— слушайте: придёт день, и я начну играть. Со страху я буду играть на неслыханные ставки. Я буду проигрывать сказочные суммы. И вот наступит минута, когда я подсчитаю, что у меня осталось ни больше, ни меньше, как пять пфеннигов!.. Эти самые пять пфеннигов!.. Вот, тот Другой, который грозит мне. Мой Другой!

Зак смахнул со стола на пол пять пфеннигов.

— Видите ли, у меня есть деньги. Я получил сегодня деньги... Я тоже должен освободиться от своего Другого.

Он заказал для нас двойную порцию кофе и по два яйца в стаканах. Потом заказал ещё по двойной порции масла. Кельнер принял заказ, с надеждой взглянув на меня. Когда всё было съедено и выпито, Зак сказал:

— То, что вы рассказали мне о Другом,— это роман. Роман с приключениями. Напишите его! Вы напишите его когда-нибудь, быть может, через много, много лет. В этом романе не только вы проститесь с самим собой, таких, как вы, немало, и все, все они понадобятся, и такие, как вы, тоже... «Прощание» — следовало бы его назвать, «Прощание. Немецкая трагедия»... Вы напишете о себе, но это «я» не будет биографическим в обычном смысле слова; это будет образ, как и всякий другой, связанный с действительными событиями только той или иной малозначащей деталью. Но так как вы из этого одного образа выведете все остальные, а он, в свою очередь, возникнет из совокупности образов, то в первой части, вашей исповеди, развитие образов будет по необходимости связанным, тогда как во второй части, где исповедь займёт второстепенное место, это развитие будет совершенно свободным... Вы воздвигнете памятник Стойкой жизни. Стойкие люди будут жить в своих делах. Они будут говорить со страниц ваших книг, когда уста их умолкнут навеки... Огни в тумане, спасительные вехи среди снежной вьюги... Вы рисуете Скотскую образину во всех её разновидностях... Углубляйте! Возвышайте!.. Творите! Я не решаюсь выговорить слово, которым нынче так сильно злоупотребляют, очень плохо понимая его: поэзия... Поэтически осмысленные человеческие отношения, поэтически осмысленные образы... Вы крикнете тем, кто в бурные времена захочет бежать в прошлое: «Возврата нет! Не верьте в (идиллии) прошлого! Прошлое — темно и ужасно». Вы будете жить... Вам будет отпущена большая порция жизни, целая гора... Вы забудете, что вы поэт. Но не навсегда. Однажды прожитое предстанет перед вами, оно нахлынет на вас своими образами. И жизнь ваша с этих пор будет творчеством... Запомните только вот что: неинтересных, скучных людей не существует. Неинтересные, скучные люди — это вымысел неинтересных, скучных писателей, которые, как люди, тоже представляли бы интерес, если бы от их бездарности не веяло скукой. Человек, даже самый незначительный человек — это чудо, это многосложность человеческих существ... Это — беспредельные просторы, неизведанные миры. Что ни шаг, то новый пейзаж, чудесный, незнакомый, уютные лощины, зелёные лужайки, высокие горные цепи, скалистые утёсы, изрытые непогодой,

глухое бездорожье... Пустыни безумия, реки мудрости, сушь и плодородие... Подземные ущелья и неожиданно раскрывающиеся широкие светлые дали... И мы, поэты, искатели кладов, глашатаи нового, человеческого, учения, мы открываем новое в человеке, завоёвываем миры... Вот всё, что я хотел вам сказать... Вот вам мой совет.

Я встретил поэта, указавшего мне великое.

— Пошли! Пошли! Пошли! — позванивал Зак ложечкой о стакан, окидывая взглядом пустое кафе:— Одни мертвецы ещё обитают здесь. Нам здесь нечего больше делать...

— Кельнер! — победоносно позвал он, повернувшись к буфету:— Я плачу!

— Вот он, наконец, наш доброволец!

Отец встретил меня с распростёртыми объятиями ещё в передней, поцеловал в лоб и сразу потащил в столовую. Мать распаковывала чемодан, она тоже поцеловала меня и продолжала копаться в вещах. Только время от времени она искоса поглядывала в мою сторону, точно искала во мне чего-то нового.

Чтобы сказать что-нибудь, я спросил:

— Ну, как, хорошо ли отдохнули? Я тоже неплохо себя чувствую. И домой приходил не поздно...

Отец потирал руки и поглаживал усы. Даже усы, казалось, как-то лоснились от удовольствия и радовались вместе с отцом.

— Наконец-то! Наконец-то! — говорил отец, приятно потягиваясь.— Кто бы мог подумать!

Глаза его ласково поблескивали сквозь стёкла пенсне, так приветливо смотрят на прохожего выставленные в витрине хорошенькие вещицы. Отец хлопал себя по ляжкам, как тогда, в Гогеншвангау, и вертелся вокруг самого себя на вертящейся табуретке.

— ...Как же нам благодарить бога за то, что он даровал нам это. Каждый день дивишься всё больше и больше. Только господу слава, только господу благодарение, что в своей неисчерпаемой милости он позволил нам дожить до этого... Уже у многих — каюсь, порой и у меня! — ослабевала вера в исцеление, мы теряли надежду, что наш народ вернётся в лоно своих былых духовных добродетелей. О мы, малoverы! Война совершила чудо! Она показала, что явления упадка коренятся неглубоко, что они лишь маска, которую срываешь с себя с величайшим омерзением, если того требует серьёзность момента... Боже, это тебе мы обязаны тем, что начинается новая жизнь, новая, совершенно новая...

Отец сложил руки на груди и воззрился на потолок, а мать между тем, как ни в чём не бывало, рылась в своих чемоданах.

Мебель! Мебель! Только бы она молчала!— строго обоудил я взглядом комнату, словно боясь, как бы та или иная вещь не выдала тайны о встрече, которая была здесь, в родительском доме. Особенно зорко следил я за вертящейся табуреткой, она вела себя, как сумасшедшая и, пока отец говорил, швыряла его из стороны в сторону.

— Что с ней такое! — с досадой попридержал её отец, и тут же он как будто и на письменный стол рассердился, на котором всё пришло в беспорядок.— Кто тут опять писал моей ручкой?— прервал себя отец на полуслове,— сколько раз я просил ничего на письменном столе не трогать.— Ковёр иронически ухмылялся. Хоть бы балкон молчал,— я повернул голову к балкону, к балкону, на котором мы стояли втроём и который поднимался и опускался передо мной, как капитанский мостик,— взор мой не проникал так далеко, чтобы увидеть, где пристал Благословенный корабль... С балкона словно доносилась песнь о новой жизни.

— Кто бы ожидал! Нет, человеческое воображение бессильно! Кто упрекнёт меня за то, что я ошибался...— и отец открыл дверь в гостиную, ему нужен был простор...

— Честь им и слава! Когда пробил решительный час, они привели под наши знамёна немецких рабочих. Этого и сам Бисмарк не мог бы предвидеть. Убедительно прошу тебя, пригласи к нам Гартингера, молодого господина Гартингера, в один из ближайших дней. Я хочу загладить свою ошибку, я не стыжусь открыто признаться, что я заблуждался на его счёт. Да, нынче мы по праву можем гордиться ими, нашими социал-демократами, все они, как один, откликнулись на зов нашего кайзера...

Отец взял меня за руку и подвёл к матери, словно хотел представить ей меня.

— Ты посмотри, мать, это наш сын, наш милый, милый сын. Как он вырос за последние годы! Какой он большой стал, сильный! Это всё от плаванья, от горного спорта. Но я о другом хотел сказать... Мне кажется, сейчас, когда он отправляется на войну, я увидел его впервые... Только сейчас я почувствовал, по-настоящему, что у меня есть сын. Что было, то было. Всё забудется, всё простится... Кто, как не сын, воплотит в жизнь мечты отца или... как это выразить лучше... завершит дело, начатое отцом... или ещё лучше: то, чего не достигли родители... В общем, он знает, что я хочу сказать... Для этого сыновья и существуют, это их назначение.

Отец подошёл ко мне вплотную. Он положил руки мне на плечи, снова поцеловал меня в лоб и громко заговорил, глядя на меня в упор, так, что я чувствовал на себе его дыхание:

— Какие возвышенные чувства это должно рождать в молодом человеке... Кстати, для вас, волонтёров, установлен ускоренный срок получения аттестата зрелости...—Я покосился на мать, юна как раз вынула из чемодана пару носков и обратилась к отцу:

— Оставить тебе эту пару сверху?

— Не мешай нам сейчас, мать, оставь нас в покое с носками, на-днях сын твой уходит на фронт, а ты пристаёшь с какими-то носками... Ужасно важно это...

— Кстати, пока я не забыла,—продолжала мать,—завтра же надо похлопотать относительно Христины. Слуги ведь тоже люди. Скоро пятьдесят лет, как она служит у нас. Я уже всё разузнала. Если хозяева входят с ходатайством к обер-бургмистру, то слуги, прослужившие в одной семье пятьдесят лет, получают золотую медаль. И тогда Христина, потеряв трудоспособность, сможет рассчитывать на частичное содержание в богадельне. Ну, а остальное,—у неё есть сберегательная книжка, и кое-что мы прибавим. Как ты думаешь?

— Оставь! — раздражённо отмахнулся отец.— Ну, время ли теперь в самом деле толковать о твоём хозяйстве! Нам совсем не до него! Какие вы, женщины, прозаические существа!

Мать взяла с письменного стола карандаш.— Можно? Я только на минутку возьму карандаш и сейчас же положу его на место.— Она что-то высчитывала на клочке бумаги.

— Совершили вы какую-нибудь интересную горную прогулку?— начал я снова, но отец не дал мне договорить:

— Какой энтузиазм это должно вызвать в таком молодом человеке, как ты! На войне человек поднимается выше себя, на войне у каждого своё место и назначение; умереть геройской смертью за отечество даже на самом безвестном посту—много лучше, чем ни разу в жизни не испытать великого счастья отдать себя целиком и пожертвовать всем, что у тебя есть. Да, можно прямо сказать: о, как скучно, смертельно скучно изо дня в день знать только один путь— в канцелярию и из канцелярии. Теперь другое дело, настало время, когда мужчина может себя показать, когда каждый чего-нибудь да стоит, в том числе и ты.../Через каких-нибудь три недели, самое позднее,— мы в Париже, а поход в Петербург— это просто увеселительная прогулка. Полмира приберём мы к рукам... Пошады не давать. Пленных не брать. Мы низринемся, как гунны. Да-да! Мы, пангерманцы!

Пыхтя и отдуваясь, он расхаживал по комнате и уничтожал врагов Германии. «Прекрасное воодушевление» последних дней, от которого я едва уберёгся, исчезло бесследно. «Гунны! Гунны!» — звенело вокруг, и разукрашенный флагами, преображённый воодушевлением город оделся в чёрное, готовясь к приёму мертвецов. Дома выли. Зак звонил ложечкой о стакан, звон стоял такой, словно все звонки мира вопили: «Тревога!» По всему пути от Амалиенштрассе до вокзала, по которому проходил, словно увенчанный лаврами полк, мёртвые лежали в четыре ряда, мёртвые заполнили и Максимилианплац, там они лежали в штабелях, — война кончилась, и все они вернулись. Бело-голубое знамя торчало из груды тел, и только одна рука высунулась наружу... «Ты не пожмёшь мне руку...» Я взмахнул в воздухе окровавленной культяпкой... Вернулись и другие, они были живы, и всё же смерть сразила их до глубины их существа. Они продолжали жить под градом снарядов и среди штурмовых атак, они всегда были наготове: стрелять или замахнуться ружейным прикладом. Среди них были бесстрашные, беспримерно храбрые люди, достойные славы герои, если бы дело, за которое они честно сражались, было правое, справедливое дело... А ведь мы все, все участвовали в этом: мы жаждали, чтобы что-нибудь случилось, что-нибудь... ну, наконец-то... Зато Фек и Фрейшлаг верхом на рослых конях проскакали через Триумфальные ворота, волоча за собой пленников — Гартингера, Ксавера и меня... И трубы трубили, трубили: тра-та-та! тра-та-та! А кое-кто из тех, кто вернулся, будут ещё годы спустя посиживать на могилах и играть в карты: хлоп, хлоп, хлоп.

Отец, войдя в азарт, не мог остановиться, он жертвовал всё серебро и золото в обмен на железо. Всё столовое серебро, золотую брошь, браслет и ожерелье матери, все кольца, за исключением обручальных; не пожалел он и позолоченный канделябр. Всё это приносилось в дар отечеству. — Такая вещь! Ведь это фамильная драгоценность!.. — восклицала мать всякий раз, как отец называл ту или иную вещь. — Столовое серебро? Нет, ни за что! — Но отцу, повидимому, доставляло радость отдавать вещь за вещь, он с восторгом опустошил бы весь дом. Превратив, наконец, всё золото и серебро в железо, он стал отбирать назад то одну, то другую вещь. — Ты права, столовое серебро лучше сохранить, и золотую брошь тоже, браслет и ожерелье дороги тебе как память, ну, а канделябр и кольца — это такая мелочь, что и возиться не стоит. Пускай отдают своё золото в первую очередь те, кто носит массивные золотые часы и — вот уж неповзвонительная роскошь! — золотые запонки. Нам за ними не угнаться, мы никогда не опоздаем, успеется...

Но он всё-таки не успокоился и всё спрашивал:—А может быть, хоть канделябр отдать?—Но затем овладел собой и решительно сказал:—Я ещё раз хорошенько подумаю. Торопиться нам некуда.

Мать положила карандаш на место и сказала, глядя в свою бумажку:

— Я подсчитала. Нет никакой необходимости прибавлять что-нибудь к сбережениям Христины. Ей хватит того, что у неё есть. Ведь ей не сто лет жить.

— Я тоже так полагаю,— вскользя бросил отец.

И обратился ко мне:

— Так в какой же полк ты определился и когда вы выступаете? Надо ведь знать, чтобы и проводы отпраздновать и дать матери время собрать тебя.

Я почувствовал, как за моей спиной мать тоже застыла в вопросе.

Знали бы они, как я весь дрожал. Поэтому я так вызывающе и развязно держал себя. Только мать, видно, чуяла что-то.

— Дядя Гуго приехал! — сказал я в ответ.

— Ка-ак? — крикнул отец.

— И семью привёз с собой. Жёну-негритянку и двоих чёрных ребят.

— Ка-ак? — ещё раз крикнул отец. Крышка пустого чемодана и отец крикнули вместе.

— Где же он поселился, этот мошенник?

— В «Баварском подворьи».

— За наш счёт, ну, конечно, за наш счёт!

Отец так задыхался, что мне даже жалко его стало.

— Да нет же, он привёз с собой кучу денег, к тому же он подданный нейтральной страны, за это время он принял голландское подданство. А какой он великан, ты просто не представляешь себе, отец. Он должен был сильно, сильно согнуться, чтобы войти в наши двери. На люстру он смотрел сверху вниз... Да-да, великаны ходят по земле, и духи являются из преисподней.

— Оставь эти глупости... Это не моя родня! — выразительно сказал отец, повернувшись к матери, которая вынырнула из-за чемоданов.

— Боюсь, что у нас нет оснований упрекать друг друга, — загадочно бросила она ему в ответ.

— Ах, теперь у нас будут самые неприятные осложнения. Жёна-негритянка, дети-негритята, да ещё голландец, подданный нейтральной страны, — что за бестактность являться сюда в самый разгар войны! На карту поставлена семейная честь... За мою родню мне краснеть не приходится...

— М-да...— слышалось со стороны матери. Голос её звучал спокойно, слегка иронически.

— С тех пор целые поколения в нашем роду честно трудились...— Тут отец, настороженно и точно уже подозревая меня в чём-то, вторично спросил:

— Итак, в какой же полк ты определился и когда вы выступаете?

— Вы действительно хорошо отдохнули?

Отец резко ответил:

— Наш отдых теперь дело десятое. О нём после... А почему, скажите, у нас флаг не вывешен?

— Христина уже ищет его,— сказали мать и я одновременно.

— Немедленно вывесить флаг! — скомандовал отец.— Скандал! Этого ещё не хватало!..— Он стал во фронт, я тоже сделал над собой усилие: руки вытянулись по швам, грудь выпятилась колесом.

В боковом кармане у меня не было сокровища, которое надо было охранять, на верхней губе не было щетинки, которую можно было бы подёргать. Куда же девать руки? Карманы, как убежище, не годились, слишком часто я зарывался в них руками. Ничего удивительного, что руки мои так охотно опускались по швам: «Рад стараться!» Нельзя ведь было непрерывно проводить рукой по волосам и лбу или поправлять галстук. Вертеть пуговицы руки мои отказывались и ни за что не хотели складываться на молитву. Хорошо бы закурить папиросу, тогда и губам была бы работа. Скрестить руки на груди или подбочениться было бы неплохо для рук, но в данный момент могло показаться неуместным. Руки тяготили меня, угнетали меня. Что же делать с ними, с проклятыми?.. С трудом оторвал я их от швов и просто опустил, сжав в кулаки... Наконец-то!

«Не разводи таких церемоний, эх ты, изнеженный барчонок! — подгонял я себя.— Вперёд, ты, не ведающий страха! Вперёд, ты, преодолевающий страх!»

Мать стала так, чтобы видеть моё лицо.

— Так когда же ты выступаешь?— в третий раз спросил отец.— Отвечай же!

«Вперёд»,— подталкивал я себя, и трубил — «в атаку!»

— Вы оба, очевидно, решили разыграть меня...— Отец зло посмотрел на мать. «Вы оба» — придало мне мужества, ведь теперь надо было и за мать вступить.

Для уверенности я сначала вытянул губы, слозно собираясь засвистать: «Вставай, проклятьем заклеимённый», и сунул кулаки в карманы; тут отец закричал так, точно я скрывал ужасную тайну:— Говори же, наконец!

— Я не собираюсь идти на войну, нет, в вашей войне я не участвую, это я твёрдо решил.— Голос прозвучал несколько глухо, но в нём была ненависть, та самая ненависть, которая заставляла меня завидовать Гартингеру.

Широко расставив ноги, я стоял, как Кохельский кузнец на фреске в Зендлингенской церкви. В мире есть великое. Я боролся во имя великого. Я буду, как ты,— и я вообразил себя на месте Гартингера в садоводстве Бухнера. Плюйте же в меня, секите крапивой. Я устою.

Но отец не грозил мне муравьиной кучей, он грузно шлёпнулся на табуретку и судорожно ухватился за сиденье, словно кто-то с головокружительной быстротой вертел его вместе со стулом.

— Что?.. Я не ослышался? «В вашей войне я не участвую?» Повтори это ещё раз, посмей-ка!

Я стоял твёрдо, как тогда, на большой каменной плите в Констанцском соборе, я чувствовал себя высоким, как огромный дядя Гуго, я даже втянул голову в плечи, чтобы не коснуться потолка.

Я торжественно повторил:

— Я не собираюсь идти на войну. В вашей войне я не участвую. Я не пойду на войну несправедливую, бесчестную...

— Негодяй!..— сорвалось с его губ, и ещё раз:— Негодяй!— Он повернулся к матери:— Пойдём, я больше не могу!— Мать положила ему руку на лоб и подала мне знак:— Уходи! Живо!

— Нет, пусть он останется, этот мерзавец. Наконец-то я с ним рассчитаюсь!

Отец уже снова овладел собой.

— Держу пари, что за этим опять кроется какая-нибудь юбка. Да, да, разве ты не помнишь, мать, эту штучку — фрейлейн Клерхен! Но этого мало, да, ты послушай, мать, до сих пор я скрывал это от тебя, этот поганец жил с уличной девкой, с грязной проституткой...

Теперь дай волю кулакам!

— Эй, ты! — рванулся я всем телом.

— Она много сделала для меня. Она и тебе спасла твоё имущество... Она отдала свою жизнь за наше столовое серебро, за ковёр... Ничего вы не знаете...

Опять пронизала меня сладкая горечь: брусника.

— Да, я повторяю: с проституткой, с грязным животным!

— Эй, ты! — и я поднял кулаки.— Ещё слово, и... Проклятые гунны!

— Эй, ты! — отец тоже занёс кулак.— Ещё слово, и...

«Ты» нашло на «ты»; негодяй, мерзавец, собака! — глухо скрежетало в этом «ты».

— Он поднял руку на отца!

Мать заставила отца сесть в кресло и оттащила меня назад.

— Вы с ума сошли! Разве можно так горячиться!

В полной растерянности мать бормотала:

— Какие вы гадкие оба... Не надо, Генрих!

— Гадкие? Ты это, называешь гадкие? Ну, знаешь ли!.. — выходил из себя отец. — Генрих! Я больше не кроткий Генрих... Вам бы это было наруку...

— Он просто не умеет вести себя как следует. Он никогда не научится хорошим манерам. Разреши мне как матери сказать тебе, Ганс, ты ведёшь себя неприлично.

Мать составила пустые чемоданы, — казалось, она нуждается в движении, чтобы притти в себя...

Отец сбавил тон:

— ...Он завёл знакомство с уголовным преступником, с убийцей Куником, которого король недавно помиловал. Что, славный сынок? Даже директор Ферч с ним не справился. Вот уж когда можно позавидовать бабушке, она по крайней мере почила в мире.

— Оставь в покое бабушку! — кротко сказала мать.

— Ты, ты бросаешь тень на свою собственную мать! Что касается моей родни, то целые поколения честно трудились... и всё ни к чему. Можно подумать, что этот пащенок не сын мне...

— Это можно доказать, — сказала мать, направляясь к шкафу.

Мать сняла «Семейную хронику» со шкафа и протянула её отцу.

— Здесь нехватает одной страницы!..

— Это бунт, революция! — завопил отец. — Разве я не говорил всегда, что тот, кто обкрадывает бабушку и приносит домой дурные отметки... Ни одной ночи больше не проведёт этот мерзавец под моей крышей... И он ещё носит моё имя, этот пащенок...

— Недостающая страница будет написана наново и дополнена, — сказал я таким густым, идущим глубоко изнутри басом, словно в эту минуту я постиг искусство чревовещания.

— Ганс! Ганс! Ганс! — взмолилась мать и вдруг напустила на себя строгость: — Не будь же таким невоспитанным, бога ради! Это прямо невыносимо! Ужас!

Наступила тишина, всё словно ждало, что будет дальше.

Я переступал с ноги на ногу, как тогда, на Максимилианплац, мне хотелось повернуть голову к матери, но вся комната повелевала: «Тише! Тише!»

От этой тишины, казалось, всё вокруг меня провалится сейчас в бездну, и я только тем удержал это безудержное падение, что, пробормотал про себя, словно заклинание!

«Плывите, облака, в высоком, бесконечном небе. Зажгитесь, огоньки, в пумане. Озарись сиянием, лес. Плыви сюда, корабль, целый корабль, и пусть твоя команда поёт песню о новой жизни».

Отец, между тем, словно посовещался с протоколами, лежавшими на его столе. Он повернулся на своей вертящейся табуретке ко мне и в бешеном припадке ярости произнёс свой приговор:

— Вон из Германии! Вон! Либо я, либо ты!

Мать заткнула уши и убежала в гостиную к портрету, который стоял на мольберте...

— Нет, ты посмотри только, как он идиотски ухмыляется! «Ваша война»,— так действительно может сказать только умалишённый... Ты что, не слушаешь, что ли, где ты витаешь?! Дезертир несчастный! — отец схватил меня за руку.— Этот прохвост способен смеяться, даже если мы подойдем все у него на глазах. Да это прямо какой-то блаженный!

— Отец! — произнёс я мягко, вспомнив, с каким нетерпением он каждое новогоднее утро ждёт газеты со списком награждённых.— Отец, ты не хочешь смотреть правде в глаза. А иначе ты подошёл бы ко мне, дал мне руку и сказал: Ступай! Спасай себя! Плохи наши дела. Ничего хорошего не ждёт нашего брата.

— Отец? Я не отец тебе! — замахал он обеими руками.

— Мама! — вопросительно склонился я перед матерью, которая вышла из гостиной; теперь она была поразительно похожа на портрет, стоявший на мольберте.

— Поговори с ним! Постарайся понять его! — сказала мать и снова положила руку на лоб отцу, но тот, с гадливостью отёрнул голову.

— Говорить с ним? Понять его? Нет, пусть лучше он поймёт, каково это самому пробивать себе дорогу, пусть узнает, что такое голод! Он не меняется. Его место в сумасшедшем доме. «Ваша война» Он говорит: «Ваша война»,— заметь себе это, мать... Нет, этого так оставить нельзя. Надо изменить все в корне, война — это только начало... Пощады не будет...

А я между тем, пытаюсь укрыться за неуязвимой бронёй, непрерывно повторял про себя:

«Прошли времена голубцов и супов с клецками, мне уж не видать, как тают разрушенные отцом башни из мороженого... Этаким старым гуни... Прощайте нюрнбергские медовые пряники!»

В дверь постучали.

— Флаг нашёлся, нашёлся.

Но никто не откликнулся.

Дверь чуть приоткрылась, и Христина просунула флаг в щёлку. Он качался из стороны в сторону, словно хотел показаться нам во всей красе и приветствовать нас своим чёрно-бело-красным полотнищем.

Так как никто не сказал Христине «войдите», она быстро заговорила в щёлку:— Ваша милость, ваша милость,— вы, верно, уже слышали? Господи, благодарю тебя, что ты сподобил меня дожить до этого, как жаль, как ужасно жаль, что моего господина фельдфебеля нет в живых, теперь начнётся совсем, совсем другая жизнь, я побегу сейчас наверх к господину обер-пострату Нейберту, может быть, он ещё не знает, а господин майор — ах, да, верно, ведь он же уехал, а я чуть было не побежала вниз...

Дверь широко открылась, но Христины с флагом уже не было.

— Закройте дверь! — хотел было строго сказать отец, но это прозвучало как просьба.

— Закройте дверь! Закройте дверь! — ещё раз попросил он. Но никто так и не закрыл двери.

Медленно пятился я к открытой двери, точно считая каждый из этих последних шагов и раскланиваясь во все стороны. Так меня учили: когда покидаешь хорошее общество, иди к двери пятясь, и тогда ты ни к кому из присутствующих не окажешься спиной; при этом следует слегка раскланиваться во все стороны.

Несколько шагов мать, казалось, прошла со мной. Потом она в нерешительности остановилась на середине комнаты.

Обратившись к стулу, на котором, скорбившись, сидел отец, она сказала.

— Я против!

— Замолчи! Ты сама не знаешь, что говоришь! — откликнулся отец, совсем не сердито, а скорей устало, очень устало. Он как-то сразу сильно постарел.

— Конеч. Всё кончилось. Всё.—Он снял пенсне, прижал ладони к глазам. Ещё раз посмотрел на меня близоруким взглядом.

— Я всегда желал тебе только добра. Бог свидетель.

Словно он уже мысленно пустился на поиски блудного сына, рука его, лежавшая на письменном столе, поползла за мной.

—Я молчу, как всегда молчала в угоду тебе. Но я против. Отец ничего не ответил.

Все двери стояли настежь, точно их распахнул таинственный ветер. Даже входная дверь. Христина оставила их

открытыми. Она прибежала от обер-пострата Нейберга и промчалась мимо меня, волоча за собой флаг.

— Христина! — Но она не слышала.

Я уложил вещи, они все разместились в небольшом чемодане. В доме было тихо, словно он опустел.

В эту пустоту, в эту тишину вошла музыка прощания. Что это? Гармонь? Но ведь Ксавер уехал. Кто это играет мне на прощанье серенаду?

И вырван был он с кровью  
Из тела моего.

Вдали звучала песня о Добром товарище.

Готовься в путь! Не забудь ничего хорошего, что было здесь,— сказал я себе и тут же предостерег себя:— Будь начеку, проверь, что ты берёшь с собой. Час великого прощания настал...

Я окинул взглядом комнату — не забыл ли я чего-нибудь.

В ларе лежали оловянные солдатки и призы за плаванье, и «Искусство чревовещания» попало мне в одном из ящиков. Со скрипкой пришлось проститься: все струны натянуты, смычок спущен и смазан канифолью, сурдинка и камертон на своих местах.

На столе раскрытый путеводитель — озеро Гарда: «Вода в нём большей частью густо-голубого цвета...»

Посмеиваясь над своим суеверием, я надел всё же пояс «Геркулес», который как-то купил себе, потому что пояс этот, как обещала реклама в «Вечерней аугсбургской газете», удесятерит силу человека. Купальный костюм с выцветшей голубой звездой и гимнастическое трико я сушил обратно в шкаф.

На полу я нашёл записочку, писанную рукой матери: «Не приходи домой очень поздно».

Я положил её в карман.

Всё вокруг меня качалось, словно на качелях... Гроссгесселозский мост? Нет, есть другой мост, мост, ведущий через пропасть. Мерцающие огни в тумане. Осиянный лес. Поющий корабль... Да, вонстину есть новая жизнь...

— Нет, до сих пор я всегда наедался досыта,— сказал я тихо и стал упрямиться:— Нет ли у вас пяти пфеннигов, пожалуйста...

Дом, в котором все двери стояли настежь, и ветер, словно дух, беспрепятственно разгуливал по всем комнатам, показался мне обиталищем смерти, откуда надо поскорее бежать. Слово глядя на него из далёкого будущего, из тех времён, когда Благословенный корабль давно уже причалил к берегу, я указывал на это кладбище и, показывая его себе, говорил: «Здесь

и играли, когда были детьми... Далёкие, далёкие времена!.. С Другим мы тоже раскланялись, он оставался, я уходил:— легко нам с тобой жить, не тяжело, да... Ну, что ж, желаюдачи. Желаю удачи.

В передней было темно. Я заблудился в темноте. «Гансхенрошка...» Как некстати привязалась эта глупая песенка! В открытую дверь я увидел портрет матери, стоявший на мольберте гостиной. Точно выступив из рамы, мать подошла и сунула мне руку золотой.

— Из старинного бабушкиного шкафчика.

Она взяла меня за руку — так всё я Гартингера:— Осторожней, не ушибись!— и проводила до лестницы.

— Как же звали её?— спросила она.

— Фанни. Её звали Фанни.

— Фанни... Фанни,— повторяла мать и кивала ей, называя её по имени.

— А другую? О я знаю, знаю. Это ей ты... тот чудесный букет альпийских роз?..

— Фрейлейн Клерхен...

— Фрейлейн Клерхен,— улыбнулась мать невозвратному.

Тихо, беззвучно закрыла она за мной дверь.

— Прощай, отец!— сказал я почтовому ящику, точно слова мои, прощальные строки, могли сохраниться в нём. Когда я рассказывал тебе, отец, не в тебе вовсе было дело. Ты был тут совершенно ни при чём. И когда ты меня допрашивал, отец, не тебе было дело. Это относилось вовсе не ко мне.

— Прощай, отец!— сказал я медной табличке с именем отца, вытер её носовым платком, так что она снова заблестела.

...Дядя отец тоже устраивал себе игры. Разве взрослые играют? Отец играл, уносясь далеко, очень далеко. Он играл в помещика, которому ему очень хотелось бы быть. Расхаживая по столовой, он с улыбкой разглядывал ковёр: тучная земля, а на обоях зеленели виноградники... «Пооригинальничать захотелось парню, только и всего»,— услышал я в себе, словно издавека, голос отца. Потом он сердито пропыхтел: «У меня в глазах темнеет, как только я вспомню про Гуго!»— «Вот видишь, какой вид!»— рассеянно бросила мать. «Ты тоже хороша»,— прогудел отец знакомым голосом дровосека. «Преданная душа»,— снова вспомнила мать о Христине, словно она чувствовала за собой какую-то вину. Так отец и мать говорили во мне. «Пооригинальничать захотелось»,— я насторожился...

Мне вдруг показалось, что отец позвал меня: я почувствовал лёгкое головокружение и ухватился за перила, как отец тогда,

во время нашей горной вылазки, ухватится за трос. Но она не сказала: «Я не мать тебе». Я видел её далеко, она сидела среди кладбища, освещённая полосой света, и была на стороне.

\* \* \*

Я выбежал на улицу.

По небу, по высокому, бесконечному небу тихо ползли облака. «Ура! Лютих пал! Ура!» — хрипло донеслось с балкона. На балконе стояла Христина и размахивала чёрно-бело-красным флагом.

*Редактор Р. Гальперина*

---

Подписано к печати 16/VIII 1944 г.	А-7909.	Тираж 10000
191/4 печ. л.	12,78 уч.-авт. л.	Зак. № 436. Цена 6 руб.

---

б-я типография т-реста „Полиграфкнига“ ОГИЗа при СНК РСФСР  
Москва, 1-й Самотечный, 17.